

БИБЛИОТЕКА БЕЛОРУССКОЙ ПОВЕСТИ

Виноватый

Переполох на загонах

БИБЛИОТЕКА БЕЛОРУССКОЙ ПОВЕСТИ



Платон Головач

ВИНОВАТЫЙ



ПЕРЕПОЛОХ НА ЗАГОНАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»
МИНСК 1973

Бел 2
Г 15

Перевел с белорусского Николай Горулев

Г $\frac{0733\text{-}170}{М\ 302(05)\text{-}73}$ 40-73

ВИНОВАТЫЙ



Часть первая

Когда очередь дошла до Шавца, он подал в окошко свои документы, всунул, насколько возможно было, туда голову и приготовился что-то сказать. Но человек за окошком, не глядя на Шавца, неторопливо рассмотрел документы, глянул в алфавитную книжку, зевнул, широко разинув рот, и, не отрывая взгляда от бумаг, возвратил документы.

— Ждите...

Шавец хотел что-то объяснить человеку за окошком.

— Товарищ! Я у вас уже был на той неделе, вы говорили...

— Я говорю ждите. Я выясню...

Мужчина, стоявший в очереди за Шавцом, просунул руку в окошко и отодвинул Шавца.

Кто-то со стороны спросил:

— Ну, как у тебя?

— Ничего. Сказали почему-то обождать.

Шавец вышел из очереди, оглянулся на незнакомых людей, заметил свободное место, подошел, прислонился плечами к стене и так стоял.

Слева от его ног, у стены, на полу, сидят двое взрослых мужчин. У обоих большие русые бороды. Один, который ближе к Шавцу, втрое переломился сидя, ноги коленками к груди прижал, на колени положил обе руки и, наклонив голову, как будто дремлет. На нем грязная, некогда розовая рубашка. Ворот рубашки расстегнут, и под ней видны Шавцу черная от пыли и пота, обросшая волосами грудь и такой же черный от загара и пота затылок. Шавец переводит взгляд на другого. У того в руке толстая самокрутка. Он глубоко вздыхая, затягивается дымом, потом так же задумчиво выпускает его клубочками через рот и двумя струйками через нос, после каждой затяжки откашливается и сквозь зубы плюет перед собою на пол. Пол загажен песком, заплеван, забросан окурками папирос. Под потолком в комнате плавает клубами беловатый дым и постепенно тает. С дымом плывет по комнате острый едкий запах преющих ног. Болит голова. Боль обостряется от беспрерывного говора, брани и криков в очереди. Все это утомляет Шавца, мешает сосредоточиться, нарушает последовательность мысли. Он все еще, вот уже вторую неделю, живет надеждой на работу. Ему вспоминаются далекий город и последние дни жизни в нем: голодные, бесквартирные. Там он зарабатывал кое-что по случаю и ночевал по очереди у знакомых, друзей, а то и в саду. Неприятно вспоминать: слишком обидно становится от воспоминаний. Шавец закрывает глаза и заставляет себя думать о другом, о том, как ехал сюда.

... Вагон медленно подрагивал, гремел колесами. Отплывал все дальше и дальше и скоро пропал в далеком густом тумане и сумраке город с огнями. Стало жаль города. Понял, что оставил его навсегда, и от этого прижался плотно горячей щекой к стеклу вагонного стекла, напрягал зрение и вглядывался туда, где пропал город. А к окну с другой стороны так же плотно прижалась темная ночь. Она не отстает от поезда. Тих-та-тах! Тих-та-тах! Бежит стремглав

поезд, и рядом, махая полами черной одежды, сея удивительные шорохи, мчится ночь. Вдоль окон вагона навстречу летят маленькие огоньки, тьма испуганных, угасающих в холодной густоте ночи, искорок от паровоза. Паровоз теряет в поле клубы сизого дыма, дым стелется по земле, и кажется,— поезд дымом следы за собой заметает. Кажется, что поезд не по рельсам мчится, а в воздухе среди облаков и звезд. Тих-та-тах, тих-та-тах!.. Гур-р-р, гур-р-р!.. Шу-ш-ш-ш, шу-ш-ш-ш! В вагоне прохладно. Бежит стремглав поезд, а за ним наперегонки катится над лесами, над полями встающее солнце. Навстречу поезду у дороги мелькают непрерывными полосками краски: желтые, синие, белые и, переплетаясь с густой зеленой травой, ткут красивые цветастые белорусские пояса. Навстречу поезду выходят из-за холма молодые ольхи, дубы, сосны, мчатся сперва в одиночку, потом сходятся густой стеной, подходят близенько к поезду, заглядывают в окна, кивают ветками, провожают поезд звучным шорохом и пропадают позади за новыми холмами. За ними, навстречу поезду, стелятся полевые однообразные просторы, и на них всплывают соломенные крыши, серые стены хат и хлевов...

Тих-та-тах, тих-та-тах... С грохотом и лязгом мчится поезд, и уже нету в памяти далекого города с огнями...

От дыма, смрада и шума болит голова. Ноют ноги. Глаза не хотят раскрываться. Поташнивает от жары и оттого, что не позавтракал. Ноги подгибаются, дрожат, а плечи все плотней и плотней прижимаются к стене. Шавцу хочется медленно, не раскрывая глаз, осунуться вниз и сесть на пол, пусть на грязный, заплеванный, забросанный окурками. И когда голова невольно стала склоняться на грудь, кто-то подошел и тихонько тронул за плечо. Шавец поднял голову, глянул и сразу узнал старую хозяйку, у которой жил на квартире.

— На вот, прочитай, наверное, казенное что-то, потому штамп на пакете,— сказала хозяйка, протягивая белый конверт.

Шавец взял у хозяйки конверт и торопливо начал разрывать его. Пальцы дрожали, и порванный уголок конверта все ускользал, и пальцы долго не могли поймать его. Из конверта вынул небольшой, сложенный вдвое, клочок бумаги, и, рассматривая, никак не мог прочесть того, что было напечатано на бумажке густым синим шрифтом машинки. Перед глазами прыгали большие отчетливые буквы

слов, напечатанных сверху. Выписка... ЦКК... Они то отдалялись, то вырастали, становились громадными и заслоняли все дальнейшее. А глаза стремились скорее туда, дальше, хотели сразу схватить колонку густых, тусклых синих букв и увидеть, что скрыто в их словесном сплетении.

Волновался. От волнения дрожали руки и часто, и звучно билось сердце, что-то угадывая. Вглядываясь в напечатанное, Шавец вышел из биржи на улицу. На тротуаре остановился, дочитывая. Кто-то, проходя мимо, толкнул Шавца локтем, и из его руки выпал конверт. Ветер подхватил его, сбросил с тротуара на мостовую и погнал потихоньку по улице. Шавец посмотрел вслед конверту и сошел на мостовую. Радостно-взволнованным взглядом смотрел он в лица людей, шедших по тротуару, хотел, чтобы они угадали его радость, а сам шел по мостовой, вслед за конвертом, держа в руке полученную с пакетом бумажку.

«Значит, правильно, правильно... я недаром надеялся...»

Улица звенела трамвайными звонками. Гудели авто. Кто-то сзади кричал: — Берегись!

Шавец остановился, оглянулся на извозчика и опять шагнул на тротуар. По тротуару шли торопясь люди. Они обходили Шавца, задевали его локтями, просили прощения и уходили, а он шел молча и радостно-взволнованным взглядом скользил по их лицам.

По мостовой ветер гнал вместе с пылью белый конверт. Где-то на стройке перерубали рельс; стучала сталь о сталь, и рельс звучно звенел.

* * *

Денис Смачный, тридцати семи лет мужчина, служит в одном центральном учреждении. Он каждый вечер точно в половине двенадцатого ложится спать, обязательно перечитывая последнюю страницу местной газеты, и за чаем беседует с женой о последних новостях, о дневных событиях в городе и в своем учреждении. Утром в восьмом часу он встает, пьет чай с домашним (изделие жены) печеньем и идет в учреждение, в котором служит. В пять минут десятого он уже в своем кабинете.

Чином Смачный не то чтобы велик, но все же служит в центральном учреждении и имеет свой собственный кабинет. А в кабинете стол из лесбеловского магазина, за сто

сорок рублей, четыре венских стула оттуда же, два простых, вешалка в углу, справа от двери, и его кресло широкое, сделанное так, что можно положить руки на подлокотники, когда отдыхаешь.

В кабинете Смачный просматривает какие-то бумаги и бумажечки, время от времени принимает посетителей, а в минуты между бумажками и людьми кое-что думает. Мало ли в человеческой голове мыслей?

17 марта 192... года Смачный был здоров и потому, как всегда, когда был здоров, пришел в учреждение. В коридоре, недалеко от двери его кабинета, стоял старик, лет шестидесяти, крестьянин. Он поклонился Смачному и отошел к стене.

Когда Смачный разделся и, отхаркавшись над плевательницей, сел за стол, крестьянин оглянулся вокруг в коридоре, подошел ближе к двери, погладил еще раз бороду, постоял минуту, переступая с ноги на ногу, потом решительно снял с головы шапку, взялся за ручку и осторожно, чтобы не стукнуть дверью, открыл ее и вошел в кабинет Смачного. Поклонился еще раз и подошел ближе к столу.

— Вырос ты как! А я ж тебя, Дениска, еще совсем маленьким помню, совсем еще маленьким...

Смачный всматривается в лицо старика, в его седую бороду, лысину пожелтевшую, морщинистую и не узнает, никак не может припомнить, кто это такой.

— Садитесь. Да, да, я был маленьким дома, совсем маленьким. Садитесь...

— Мы привыкши, благодарим... К тебе я, Дениска, с делом одним, с большим делом одним, с большим делом...

— С каким?

— Мне дома посоветовали. Езжай, говорят, к Денису, он все может, так я прямо к тебе, как к своему...

— Ага...

— А было это... ехал я в позапрошлом году к дочке Арине, что в Липовичах замужем. На вокзале, пока ожидал поезда, захотел есть. Ну, зима, так-я в рукавицах был, где ж оно без рукавиц зимою. Я, это, снял рукавицы, чтоб они сгорели, можно б их и под мышки взять, и положил их на стол, где чай продают. Вынул это я хлеб, чтоб отломать ломтик, а меня и заштрафовали на три рубля: зачем, говорят, рукавицы положил на стол?.. Спросили, кто я, ну, я сказал, а адреса не назвал своего, а на Любаничи показал, не думал, что так будет. А в этом году меня нашли и

еще за обман оштрафовали, да пени, и всего на 10 рублей и 43 копейки... А где же их взять? Разве я заработаю? А сыновья не хотят платить... Я думал, может, люди шутят, потому что рукавицы того стола не съели, аж они еще и за обман... Так помоги уж, что мне делать?..

— А ты откуда, дядька?

— Из Саёнич я, мы с твоим отцом, бывало, в делянках лес валили... Отец Арины...

— Ага...

— Так что же мне делать?..

Старика беспокоил штраф. Из-за него старик прошел пешком семьдесят километров в город к своему человеку в надежде, что это поможет. И теперь он ждал ответа, стоял перед столом Смачного, моргал глазами, пытливо смотрел ему в лицо. Смачному стало смешно от рассказа старика.

— Ха-ха-ха! Штраф за рукавицы! Ха-ха-ха!..

— Неужто за другое,— за рукавицы...

— Ха-ха-ха!.. Хорошо. Хоть меня и не касается это дело, но я уже сам возьмусь, не стоит вас посылать в соответствующие учреждения, будете ходить, ходить и ничего не выходите... В наших учреждениях, дедушка, трудно добиться чего-нибудь... Я сам возьмусь, дело это интересное. Факт типичного бюрократизма. Штраф за рукавицы!.. Ха-ха-ха!..

— Конечно... За рукавицы...

Старик с некоторым удивлением смотрел на Смачного и не знал, смеяться и ему или нет. А Смачный тем временем сменил выражение лица на серьезное, взял ручку и начал записывать что-то себе в блокнот.

— Хорошо... Будьте здоровы!.. Всего доброго... Я сам возьмусь. Я запишу вашу фамилию... Та-ак... Всего доброго!

— Будь здоровенек! Вот благодарю тебя, Дениска! Хорошо, что люди посоветовали...

Крестьянин тихонько, боком, держась спиною к стене, отошел к двери и осторожно, но плотно прикрыв их за собой, исчез неслышно. Смачный прошелся по кабинету в угол возле двери, где стоит плевательница, прицелился и плюнул в самую середину ее, потом вытер платочком губы и опять сел за стол.

Было желание думать, отдаться размышлениям:

«Странно! Не понимаю!.. Как можно дойти до такой степени самодурства, чтобы штрафовать крестьянина только за то, что он положил на буфет свои рукавицы? Ох, этот

наш транспорт!.. Этот факт заставляет думать. Об этом надо кричать, чтобы слышала вся общественность! Это типичное, образцовое, если можно так сказать, проявление бюрократизма на нашем железнодорожном транспорте!..»

И потом, когда в кабинет вошел беспартийный деловод, худой, сутулый мужчина, Смачный с возмущением подробно передал ему историю с рукавицами крестьянина. Свой рассказ он закончил нарочито подчеркнутыми, высказанными с некоторой иронией словами.

— Это может быть только у нас! Только у нас, в России... Такой смешной и возмутительный, позорный факт!

Деловод смотрел на него, склонял голову в знак согласия, улыбался. Потом положил перед Смачным стопку бумаг и вышел.

В половине одиннадцатого Смачный просматривал свою почту. Он перебирал присланные пакеты и личные письма, перечитывал адреса, всматривался в штамп или печать на конверте и откладывал пакеты, пока не читая. На одном из конвертов узнал знакомый почерк.

«Опять что-нибудь?..» — подумал он.

Оторвал полоску от конверта и на узком листочке бумаги, густо исписанном, прочитал свое имя:

«Денис!»

Так начиналось письмо. Смачного это непрочитанное письмо почему-то беспокоило.

«Ну, что он еще хочет?.. Пишет... Одни лишь неприятности...»

При этих словах Смачный скривился и поднялся с кресла. Но читал письмо дальше.

«Я в недоумении, почему ты за все время не ответил мне ни на одно письмо? Я спрашивал знакомых, думал, может, ты в отъезде. Я послал тебе четыре письма, а от тебя ни слова. А мне сейчас так хотелось услышать хоть одно слово от тебя, близкого друга, старшего товарища. В таком положении, как мое, твое слово особенно ценно. Ты же коммунист! А может, мои письма неприятны для тебя? Может, и ты, как некоторые другие из моих бывших друзей, считаешь меня чужим, примазавшимся? Это неправда! Конечно, ты так не можешь думать, ты ж меня знаешь с самого детства, как комсомольца и как партийца. Я в одном письме просил тебя сходить и поговорить по моему делу, так ты не ходи, потому что, наверное, нехорошо тебе идти и говорить... Мне все почему-то думается, что ЦКК уже реши-

ла мой вопрос и подтвердила то решение. Неужели так? Это страшно. Я ничего не понимаю. Это дико, дико! Я оказался чужим, изгнанным, а за что? Я спрашиваю тебя: за что? Неужели надо признать и оправдать мотивы педсовета, апелляционной комиссии? Я посылаю тебе выписки, скажи, неужели это правильно? Это равносильно тому, что оправдать голый, ничем не оправдываемый формализм... Я еще не знаю, что со мной будет, но я совсем не жалею, что всегда, начиная с ученической скамьи, интересовался и участвовал в активной общественной работе, что много читал, что не жалел своих сил и здоровья для этой работы. Ты ж помнишь, как мы работали, наверно, помнишь, как я в одной рубашке, босой ходил с отрядом по лесу в засады на бандитов? Я много и преданно работал и последние три года. И вот после всего этого, ты понимаешь, как это дико,— меня так легко обозвали чужим, карьеристом, примазавшимся и, когда был решен мой вопрос в ячейке, некоторые говорили: ага, его карьера кончена! И это после того, как, ты же знаешь, Денис, я отдавал работе все, все силы, способности... Меня назвали пролазой, от меня отвернулись некоторые из тех, кто ходил в лучших друзьях, когда я был в профкоме. Они сторонятся меня, боятся меня. Почему так? Неужели это надо? Неужели это правильно? Что ж мне еще сделать? Знаю, меня от партии и от союза никто не оторвет, никогда, но как же это? Вот почему я, очутившись без квартиры, без куска хлеба, бросил все и уехал, куда глаза глядят...»

Смачный дочитал письмо, свернул его и сунул в карман:

«Эта история вредит моим нервам. Что он от меня хочет? Должен же понимать, что вступиться за него я не могу, я коммунист, партиец, а он оказался социально чужим... Не могу я. Я партиец».

Посидел немного так, рассуждая, может или не может чем-нибудь помочь своему бывшему другу. Друга своего Смачный хорошо знал, и потому на миг у него появлялось желание вступиться за друга, но на смену этому чувству шли холодные рациональные рассуждения, и Смачный приходил к совершенно обратному выводу. Рассуждая так, Смачный просматривал бумаги, перечитывал их и позабыл о письме.

Быстро летит время. В коридоре часы прозвонили три раза. Смачный посидел еще немного, сложил бумаги в ящик стола, оделся и пошел домой. На улице Смачный ловко об-

ходил людей, идущих впереди, ловко расходился со встречными. Оттого, что скоро будет дома, у него было приподнятое, радостное настроение. Но, перейдя улицу, он твердо ступил с мостовой на тротуар. Плитка на тротуаре под ногой осела, и из-под нее струей брызнула на колошину брюк холодная вода. От этого сразу изменилось настроение. Всплыло в памяти и неприятное письмо.

«Беда и только от таких друзей. Черт его знает, привязался и... Оно немного и жаль, но ведь партийный долг...»

После этого рассуждения с самим собой у Смачного опять появилась удовлетворенность, что он, коммунист Смачный, мог поставить звание партийца, революционера выше отношений дружеских, пусть самых близких.

Ожидая обеда, Смачный достал из кармана письмо и показал жене.

— Вот, опять! Что он от меня хочет, я не понимаю. Я член партии, я не могу.

Жена сидела напротив, подперла щеку рукою, поднялась со стула.

— А может, ты... Жаль его очень, молод еще...

— Ты не понимаешь. Я не могу. Я не могу пойти против своей партийной совести... У меня прежде всего чувства общественные, партийные, а потом все другие.

— Нет, я ж не упрекаю тебя, не...

Смачный вытер платочком рот и замолчал. Он считал, что убедил жену в правильности своих рассуждений, и чувствовал себя поэтому совсем оправданным за то, что не вступается за друга. Письмо друга он порвал и бросил клочки в печурку.

* * *

За окном тихо шептала последними листьями старая липа. Она выросла совсем близко у окна и заслонила его густыми ветвями.

Никита пишет домой письмо. Он то и дело смачивает кончик карандаша кончиком языка и выводит на бумаге ровными буквами ряды слов. Слова строчками друг за другом, с каждой новой строкой ползут вверх наискосок по бумаге. Никита устал, он останавливается на минуту, думает, что же писать дальше, перечитывает написанное и продолжает:

«Ты пишешь, дорогая жена, что отелилась лысая коро-

ва. Я думаю так, чтоб не продавали вы теленка, а чтобы растили его для себя, потому лысая хорошая корова, много молока дает, а теленок, как ты пишешь, в нее пошел. Пусть лучше растет...»

Опять остановился, отложил в сторону карандаш и начал перечитывать еще раз письмо жены. В письме, в первых его строках, писала жена о том, что дома все, слава богу, живы и здоровы, чего и ему желают. Дальше жена передавала поклоны от отца, сестер, всей родни и знакомых. За поклонами сообщала, что в то воскресенье, когда ехал отец из города, кобыла на гвоздь копыт пробила и хромает, и никак нельзя на ней ездить из-за этого. А затем было написано, что в среду отелилась лысая корова. Вышла замуж за Таренту Агапа Прузынина.

И письмо, и липа за окном, и узоры, написанные солнцем и тенью ветвей липовых на полу, напомнили родную хату. От написанных кривыми буквами слов пахло свежим сваренным молозивом лысой коровы, пахло старым унавоженным хлевом. Забыл о ссорах дома с отцом и иногда с женой, представлялась тихая мирная жизнь в хате. Почему-то видел всю семью у стола за ужином и на коминке свет от смолистой лучины.

Чем дальше друг от друга люди, тем лучше они друг о друге думают, забывается зло, и люди больше друг друга любят.

Никита сидел и думал о доме. В это время к нему пришел вестовой от ротного.

— Их благородие приказали сейчас же прийти.

Вестовой козырнул, повернулся и ушел.

Никита за хорошую службу был произведен в ефрейторы. Служил он уже давно, скоро домой возвращаться, но Никита еще не решил для себя, пойдет ли домой или останется на сверхсрочной службе. Он вложил письмо в конверт, надел шинель, затянул ремень, поправил складки шинели сзади, оттянул ее потуже на груди и, поправив шапку так, чтобы она была больше на правом боку, пошел за вестовым. В комнату к ротному он зашел, постучав в дверь. У двери взял под козырек и остановился.

— Приказали явиться, ваше благородие?

— Да... Хочу я поговорить с тобой... Ты скоро отслужишь?

— Так точно, ваше благородие!

— Ну и куда думаешь после службы?

— Не знаю еще, ваше благородие.

— Домой хочешь или послужишь еще? А?

— Оно нечего и домой ехать.

Так, не думая, неожиданно для себя решил Никита, что домой не поедет.

— Правильно. Семья твоя, наверное, голодает дома, работников там без тебя, наверное, хватает и ртов, чтобы поесть, тоже полно. Я хочу помочь тебе за хорошую службу. Хочу пристроить тебя куда-нибудь.

— Благодарю, ваше благородие! Никогда не забуду...

Ротный переложил левую ногу на правую, стряс с папиросы пепел, оторвал зубами кусочек папиросы и выплюнул его на пол под ноги Никите. Никите стало неловко. Он переступил с ноги на ногу, глянул на выплюнутый ему под ноги кончик папиросы, потом опять перевел взгляд на ротного и молча ждал, что он скажет еще. Ротный глянул на окно, ловко метнул пальцами окурок папиросы в сторону окна, и окурок упал в горшок с цветами. Никита перевел взгляд на горшок и вежливо улыбнулся ротному, одобряя его ловкость. От непогашенной папиросы медленно поднимался беловатый дымок и обволакивал листья и веточки цветов. Ротный продолжал.

— Служил ты добросовестно, ничего с тобой такого не было... Такие люди из народа и нужны родине... Если ты согласен, я спишусь с одним знакомым, он начальник секретной канцелярии полиции в В. Подумай об этом, а потом скажешь мне... Можешь идти...

— Я буду рад, ваше благородие... Благодарить век буду. Дома наша жизнь какая? Темная, немытая...

— Ну, так я напишу...

— Рад стараться, ваше благородие.

Никита взял под козырек, ловко повернулся кругом и вышел.

* * *

В очередном своем донесении от 27-го июля 190... года «Его Превосходительству Г. Директору Департамента Полиции» полковник Всесвятский, начальник В... охранного отделения писал:

«Как я имел честь сообщить Вам, город В. изобилует евреями, мастеровыми и социалистами, в результате чего здесь часто происходят нарушения порядка. Вчера к поме-

щению Дворянского Собрания подошла вооруженная толпа числом более сотни рабочих. Мною немедленно были приняты надлежащие меры для ареста руководителей, но толпа скрыла их, и когда полиция во главе с надзирателем стала добиваться выдачи главных злоумышленников, из толпы открыли огонь по полиции. Из чинов полиции злоумышленниками, сумевшими скрыться, ранены пулевыми ранениями постовой городовой Аржевский в ногу и околоточный Пятницкий в ляжку. Кроме этого, стрелял в писаря штаба Н-ского полка Усевича из револьвера заготовщик Абрам Гуранц, задержанный на месте преступления.

После этого мною были вызваны солдаты Н-ского Драгунского полка, быстро рассеявшие толпу. В итоге ранено семеро штатских. По выяснению всех обстоятельств мною, для прекращения ■ будущем таких беспорядков, осуществлены следующие мероприятия: 1) отдано распоряжение об аресте и заточении в тюрьму 12 назначенных из толпы; 2) отдано распоряжение об отправлении в тюремную больницу раненых и, кроме этого, приняты меры для раскрытия и ликвидации существующей в городе тайной, преступного характера, организации...»

Когда полковник Всесвятский писал это донесение, ему сказали, что к нему желает зайти какой-то ефрейтор с личным письмом. Полковник приказал впустить.

— Пусть зайдет.

Чиновник, сообщивший о ефрейторе, вышел, и в дверь вошел Никита. Он по привычке остановился посреди кабинета и взял под козырек. Потом подал полковнику пакет.

— Поручение от ротного командира, ваше благородие!

Всесвятский взял пакет, разорвал конверт и начал читать. Никита, не двигаясь, стоял и следил за взглядом полковника. Его пугала роскошь убранства кабинета, он боялся, что принес сюда с сапогами грязь и запачкает пол. Стоял, как вкопанный, чтоб не шевельнуть ногой, чтоб не обсыпать с сапог на пол подсохшую грязь. Полковник прочитал письмо, глянул на Никиту и указательным пальцем левой руки легонько нажал на столе белую пуговичку. За плечами Никиты появился какой-то чиновник. Полковник, не обращая на него внимания, заговорил с Никитой.

— Ты из роты Солнцева?.. Молодец, молодец! Работать будешь у нас, мы тебя зачислим сегодня же...

Потом сказал вошедшему:

— Сделайте надлежащее распоряжение от моего имени.

Полковник склонился над бумагами. Никита взял под козырек, повернулся кругом и пошел вслед за чиновником. В соседней комнате тот вызвал к себе другого чиновника и указал на Никиту:

— Начальником предложено зачислить на службу. На первое время дайте мелкие задания по канцелярии и прикрепите его к Зубковичу, как более опытному.

Новый знакомый Никиты повел его в канцелярию, взял документы, что-то выписал из них, занес в книжку и отдал Никите вместе с его документами еще один новый. К нему предложил завтра же принести две фотографии. Показал и столик, за которым должен был сидеть Никита в канцелярии. Тут же сидели еще двое: в углу молодой, курносый, с вьющимися волосами, помощник и в мундире, со сверкающими медными пуговицами, пожилой уже начальник канцелярии. Никита получил документы, осмотрел комнату канцелярии и пошел в город.

Утром на следующий день с ним долго беседовал начальник канцелярии. Объяснил внутренний распорядок службы в отделении, как вести себя в городе, а потом дал Никите синюю картонную папку с делом Михаля Шклянки, мещанина из города Борисова, и показал, что оттуда выписать. Никита этим начал службу свою в охранном отделении. Он внимательно перечитывал подчеркнутые синим карандашом места на пожелтевших страницах дела мещанина из Борисова и переписывал их на белую свежую бумагу. Этим начиналось новое дело мещанина Шклянки и новая жизнь ефрейтора Никиты.

Через час Никиту вызвал к себе тот самый чиновник, который привел его вчера в канцелярию, и познакомил с молодым красивым бритым мужчиной.

— Знакомьтесь. Тебе, Зубкович, поручается ввести его в курс работы и привлечь к исполнению непосредственных заданий.

— Приспособить, значит, надо? Добро, добро, постараемся! Если господин ефрейтор будет послушным и старательным, мы приспособим быстро...

Он смерил Никиту взглядом, скривился и захохотал.

— Почему это господин из ефрейторов да в жандармы? Что, не было надежд в офицеры выйти? У нас, господин ефрейтор, не легче, чинов не наберешь...

Это не понравилось Никите. Тон нового знакомого обижал его. А тот не умолкал.

— Можно приспособить, любого можно. А я вижу, что он кое-что кумекает. Сделаем, одним словом, из него человека.

— Ты где жить будешь? — обратился он к Никите.

— Пока в гостинице в номере.

— В номере нашему брату не совсем удобно. Живи у меня, комната — на пятерых.

Никиту немного пугало это приглашение Зубковича, но отказаться он не посмел, чтобы не обидеть его.

Жил Зубкович на окраине города у «старого кладбища». Когда они шли с Никитой на квартиру, Зубкович словно переменился, говорил уже по-другому.

— Ну, вот и будем жить. Веселей и мне будет, лучше вместе. А то я все один, брат. Понравился ты мне, правду говорю. Ты из каких мест?

— Из-под Минска.

— А я минский. Отец лавку небольшую держит там. Подучил он меня грамоте и приспособил, я еще в Минске служил в охранке, а сам салом занимается. Ты из мужиков?

— Из мужиков.

— А много этой самой земли дома?

— Так, малость... На одиннадцать душ четвертина.

— За хлеб пошел служить?

— Мне лишь бы куда пойти было, а ротный сюда посоветовал, написал письмо начальнику, рекомендацию дал...

— Что ж, хорошо. Будем служить.

Шли по тротуару. Зубкович впереди немного, Никита слева. Зубкович повеселел, он нашел хорошего слушателя, нового, неопытного, который ничему не перечит, всему удивляется. И Зубкович давал своему ученику первую лекцию.

— Оно так: поступил — значит, будешь служить. Я уже шестой год служу, на многих операциях побывал. Ого! Служба наша, брат, нелегкая и хитрая очень... Были и дела, уга! Ловкость нужна прежде всего, и хитрость, голова, чтобы, делая что-нибудь, самому не влипнуть... Тяжело. В людях такое пошло, что не любят нас. Приходилось. Хитрость нужна и чтобы без души ты был, когда на это идешь. В нашей службе без души надо. Ты из солдат, вымуштрован, насмотрелся, а когда кто свеженький приходит, да если жалостливый он, потом ночи не спит... Без души надо. Если жалостлив и человека жалеть бу-

дешь, так и не сделаешь ничего, а у нас не за это деньги платят. Жалостливое сердце — девкам надо, у нас его не уважают. У нас надо, чтобы не верить человеку. Видишь человека, кажется, что хороший он, а ты не верь, не верь... И со мной это случилось. Ходишь по улице, и много людей на ней. Все они, старые или малые, хорошо смотрят на тебя, у каждого из них то ли веселье в глазах, если хорошо человеку, то ли злость, если неудача какая, и ничего не увидишь ты, думает ли человек что-нибудь такое недозволенное. А надо видеть, надо прочитать это в глазах у него. Прочитать в глазах у человека, кто он такой. Я уж, брат, научился этому... Идет человек по улице, как и другие, идет, не торопится, не то чтобы медленно и будто ничего у него от других людей не скрыто, а ты угадать должен, что у него. И я могу. Я отличу его от других. Я прочитаю. Один такой момент бывает. Идет он и вспомнит, что на нечистое дело идет, недозволенное думает и, бывает, как-нибудь мигнет или без всякой причины голову в сторону повернет так, глянет, я и угадываю, и за ним, и за ним, и смотришь, оно так и есть, найду кое-что. Потом сам думаешь и удивляешься, такое иногда откроется. Вот, брат!

Никита внимательно слушал и ни единым словом не перечил. Зубкович заинтересовал его. Только, когда Зубкович замолчал, Никита спросил:

— И много их ловят?

— Бывает! И ловят, и ссылают, и вешают, а они все есть... Если бы их не было,— пофилософствовал он,— и нас бы не было, ни к чему бы мы тогда...

* * *

Спустя двенадцать дней в канцелярию к Никите пришел Зубкович и позвал его с собой. Одет Зубкович был нарядно, по-праздничному.

На улице они зашли в харчевню, и там, когда на столе появились две бутылки с пивом, Зубкович сказал:

— Сейчас на вокзал поедем, первая наука тебе на практике.

Никита прислушался.

— Приезжает сюда одна панночка из их компании. Чего? Неизвестно, но на примете она уже давно, и нам поручено проследить. Может, у тебя рука счастливая, тогда бы здорово вышло.

Выпили пива, наняли извозчика и поехали на вокзал. По пути Зубкович вынул из портмоне карточку девушки и подал Никите.

— Это — она.

Никита видел на карточке девушку в шапочке, пальто, чем-то озабоченную. Смотрела она куда-то в сторону. Никита догадался, что сфотографировали девушку без ее согласия.

— Она? Чего ж такая?.. Молодая...

— У них бывают такие, все больше молодые. Иногда добрые...

— Из каких она?

— Дочь одного местного доктора или ученого какого-то.

Карточку Зубкович опять спрятал в портмоне. На перроне, куда пришли Зубкович и Никита, людей было еще мало. Никите стало неловко. Ему почему-то показалось, что все на перроне подозрительно присматриваются к нему и Зубковичу и догадываются, кто они такие и зачем пришли. Никита нервничал, не знал, как себя держать. Он ходил по перрону вслед за Зубковичем, сбивался с ноги, не знал, о чем говорить. А на перроне тем временем появлялись новые люди, и Никите все казалось, что каждый из них прежде всего оглядывает его и Зубковича. Появилось желание удрать отсюда, скрыться.

Когда показался приближающийся поезд и люди бросились к платформе, Зубкович тронул Никиту за руку и повел вслед за толпой.

— Она, наверное, будет проходить здесь, наверное, кое-кто встретит ее, а мы посмотрим и потом...

Поезд в последний раз звякнул буферами и остановился. Из всех вагонов пошли: мужчины в черных новых пальто с чемоданами, портфелями, дети, крестьяне в лаптях, армяках, мастеровые с инструментами, женщины, поразному одетые, с детьми, узлами, чемоданчиками. Их встречали люди с перрона. Толпа смешивалась, росла. Никита уже думал, что они никак не смогут в такой толпе узнать ни разу не виденную женщину. В этот момент Зубкович осторожно тронул его за локоть и тихонько шепнул.

— Вон! Из пятого вагона идет. И еще одна... Их встречает какой-то хлопец... Незнакомый... Ишь... Чтобы глаза отвести...

И Никита узнал сразу молодое красивое девичье лицо, увиденное на карточке. Вот они прошли совсем близко возле Никиты. Он почувствовал запах духов, попытался идти вслед. Но Зубкович придержал.

Когда те трое сели в коляску и поехали, Зубкович махнул своему извозчику и приказал ехать вслед за коляской. У него было радостное приподнятое настроение от первой удачи, и он разговорился.

— Птица эта — опытная, брат. Даже виду не показывает, что знает и думает про нас, а я уверен, что она знает. Оно часто так. Словно друг друга ловим. Знаем, что узнали друг дружку, и прячемся. Хитрость, брат, нужна. Эта — напрактикованная. Иной из них, как приедет, ты его не ищи, а найдешь, сам себя выдаст поведением, а эта ишь как...

Он не закончил. Передняя коляска сначала ехала все быстрее, и их извозчик тоже погонял лошадь, чтоб не остаться позади. Потом коляска неожиданно замедлила езду, и Никита услышал впереди, совсем близко, веселый смех.

Передний извозчик, видимо, нарочито то погонял лошадь рысью, то замедлял до обычного шага, и Зубкович вынужден был следить за этим и то и дело хватать своего извозчика за плечо, чтобы тот то погонял лошадь быстрее, то своевременно сдерживал ее. Зубкович понял, что с ним дразнятся, злился от этого, но оставить этой игры не хотел.

— Дразнятся, черти, нарочно,— бормотал он про себя. От этого стало нехорошо и Никите. Его испугало, что девушка с передней коляски знает, что они шпики.

Тем временем передняя коляска повернула влево в переулок, и одна из девушек повернулась и помахала им платочком. Зубкович плюнул и выругался.

— Как гончие за волками, а волки и не боятся.

Он приказал извозчику ехать прямо по улице, но за углом сразу остановил его, заплатил и отпустил.

Никита стоял у магазина и смотрел на выставленные в витрине вещи. Зубкович пошел в переулок. Минут через пять он возвратился и повел Никиту по улице обратно. Когда проходили около переулка, он показал рукой на низенький деревянный домик в переулке.

— Вон в том с белыми ставнями. Они все там... Посмотрим, кто кого теперь перехитрит! Ты домой иди, не

надо, чтобы они сегодня тебя здесь видели. Потом будешь вести все их дело, а сегодня я послежу.

Теперь уже Никите становилось интересно. У него даже появилась тревога, что Зубкович нарочно хочет отослать его домой, а сам остается, чтобы одному заработать на этом деле. Поэтому на квартиру Никита пошел неохотно. А дома он долго сидел у окна, смотрел на улицу. Там, напротив окна, у забора играли дети. Самый маленький сидел в песке, набирал ручками песок и насыпал себе в подол рубашки. Старшие стояли рядом, и один о чем-то настойчиво упрашивал девочку. Она прятала ручку, сжатую в кулачок за спину, и отрицательно качала головкой. Тогда мальчик отошел от нее, стал напротив малыша, развернул пальцами ноги песок, набрал ногой песку и сыпанул его в подол малышу. Тот хмыкнул, замахал ручками. Но мальчик не оставил его, набрал еще раз песку и изо всей силы сыпанул его на малыша. Песок попал за воротник, в лицо, засорил глаза. Малыш сильно расплакался. По щекам текли слезы, он кулачками, испачканными в песок, тер глаза. Песок, размоченный слезами, тек по щекам мутными струйками. Девочка подошла к малышу, подняла его с земли и зло посмотрела в сторону мальчика. А тот отвернулся, он шел во двор, скривил рожицу, показал язык девочке. Никита не сдержался и захохотал. Он вспомнил жену, трехлетнего сына и почему-то вспомнил ее, таинственную незнакомку. В сердце шевельнулось сомнение.

«Хорошо ли, что на такую службу пошел? У меня ж сын...»

Он отошел от окна и начал писать письмо жене. Хотелось написать и ей и сыну добрые ласковые слова, много таких слов. Это было его первое письмо отсюда. Начал писать. И когда надо было сообщить жене, где он служит, долго думал, нервничал и написал:

«...Служу в канцелярии писарем...»

«Пускай так. Все равно ведь правду нельзя писать». А когда подумал об этом, стал рассуждать с самим собой.

«Не удивительно, что Зубкович ругается. Почему ж, действительно, даже родственникам, даже жене своей нельзя написать об этой службе? Почему мы так боимся людей?»

Пропало равновесие, приобретенное за это время на службе. Он не закончил письмо, отложил его в ящик сто-

ла и лег на кровать. Задремал. Стал забываться. Наступающий вечер наполнял комнату темно-синими сумерками и тишиной. С улицы доносились легкий стук колес и чей-то говор. Кто-то крикнул на дворе и замолчал. Звенела, билась об оконное стекло муха. Никита не двигался. Открывал глаза и подолгу смотрел в потолок. Сумерки густели, они вливались в комнату с улицы через окна, через все щели, наполняли ее, становились тяжелее и с потолка опускались на кровать, на Никиту. Сквозь сумерки он видел своего сына и незнакомку. Совсем дремал, когда в комнату вошел усталый Зубкович и выругался.

— Что я, собака, чтоб людей гонять? И хоть бы польза какая-нибудь от этого, а то сами не знают, за кем посылают следить. Ре-во-лю-ци-онеров нашли! Может, просто к жениху девка приехала, а они — следи!..

— А что такое случилось?

Зубкович не ответил. А было все так.

Как только Никита ушел на квартиру, Зубкович завернул в ближайшую пивную. Попросил бутылку пива, выпил и через час с четвертью прошел переулок из конца в конец. Когда повернул назад, со двора, за которым он наблюдал, вышло четыре человека. Зубкович направился вслед. Через квартал они сели в трамвайный вагон. Зубкович поехал за ними на извозчике. Потом за ними пошел в городской сад. Они о чем-то беседовали и игриво смеялись. Среди них был хлопец, встречавший приехавших на вокзале, и еще одна новая девушка. Зубкович злился. Он так же медленно и так же долго ходил по смежной дорожке в саду и следил за ними. Когда они свернули на новую дорожку, Зубкович поспешил за ними. При встречах торопился пройти незамеченным, чтоб не узнали, прятался за людей. Скоро ему такая игра надоела. Он сел на скамью и следил оттуда. Прошло десять минут. Те, за кем следил Зубкович, исчезли. Он подхватился и поспешил в толпу. И в тот момент, когда он, спеша, меньше всего надеялся встретить их, они очутились перед ним и дружно, весело почему-то захохотали, словно нарочно, ему в лицо.

Он отступил в сторону, попросил прощения и уступил дорогу. Хотел пойти домой, но механически повернул и пошел за ними. Так проходил еще полчаса.

Потом Зубкович стоял на углу возле харчевни, пока они пили кофе, а потом опять шел за ними аж на окраи-

ну города, где жил хлопец. Только после этого он пошел домой.

Никита поднялся и сел на кровати. Зубкович стоял посреди комнаты.

— Ну, и ничего... Гуляли в саду. И по-моему глупости все это могут быть...

Однако, говоря это, Зубкович и сам себе не верил. Он был уверен, что следит недаром, но ни одной зацепки пока что не имел. Это раздражало до обиды. Он понимал, что эта операция надолго, может, даже на месяц, что приехавшая принимает меры к тому, чтобы успокоить полицию, и потом в один из дней сделает все и исчезнет. Надо терпение, а этого у Зубковича не хватало.

— Может, и следить не следует? — спросил Никита.

— Следить следует. Приказано. Но на таком деле кукиш заработаешь. Тебе как начинающему это хорошее дело, не трудное, и неважно, чем оно закончится, а я не могу такой операции вести... Следить надо. Ты, брат, только смотри, чтобы не разоблачили тебя, не попадайся на глаза им. На бумаги писарские плюнь. От них пользы, как от козла молока... Надо, уж если продал душу, дуть дальше. Тогда, может, и на крупного из них попадешь. У них, брат, бывают очень важные. Бывает, год ловят в столице и ничего, выкручивается, а тут приедет и с первых же дней влопается. Так... Случается...

Зубкович отошел от окна и остановился. Смотрел на улицу, на освещенные окна дома напротив.

* * *

В седьмом часу вечера Никита прошелся первый раз в переулке с видом самого обыкновенного человека, которому не было никакого дела до всего на свете. Он заложил за спину руки, держал в руках поперек спины свою палку и, медленно ступая по широким каменным плитам тротуара, шел в другой конец переулка, темный, подальше от улицы. Медленно переставлял ноги, обутые в сверкающие начищенные сапоги, нарочито наступал на опавшие березовые листья и не спускал глаз с хорошо уже знакомых ворот. Когда он пройдет мимо них, будет прислушиваться к тому, что происходит позади, и время от времени оглядываться назад.

Уже много дней, как он следит за Идой.

О том, что Ида Черняк приехала в В., знали только семь человек, ее родные и трое друзей, и знала охранка, которая, между прочим, не догадывалась о цели ее приезда. Две недели Черняк жила в городе как обычная шляхетная панночка из этого города. А потом горячо взялась за дело. Надо было организовать квартиру-экспедицию для получения из-за границы социал-демократической литературы и принять первую партию этой литературы.

Никита много раз прогуливался в переулке, где жила Черняк. Однажды он проводил ее до городской бани: она несла в узелке белье, а Никита думал, что она несет что-то недозволенное. Другой раз, утром, проводил ее на рынок. Несколько раз проводил до театра, к знакомым и, случалось, когда проводил к знакомым, подолгу бродил у квартиры, в которую заходила Черняк, подсматривал в окна, чтобы увидеть, что там происходит. Итоги этой работы до этого были самые плачевные. От этого родилось у Никиты сомнение, не напрасно ли он следит? И чем больше проходило времени, тем меньше становилось надежд на удачу. А в часы, когда Никита был один и вспоминал жену, сына, у него появлялось непонятное желание, чтобы незнакомка обязательно была социалисткой, чтобы ей обязательно удалось сделать что-нибудь и, главное, чтобы она быстрее уехала из города. В это время он жалел незнакомку. Это в нем пробуждался человек.

О социалистах у Никиты было представление как о людях, которые отреклись от отечества и веры и плетут вокруг царской России невидимую сеть заговоров, чтобы продать ее, Россию, врагам, немцам. И еще представлял он, что все социалисты какие-то необычные, страшные люди. А тут молодая, красивая и такая ласковая на вид девушка. «Какой же она враг? — думал в такое время Никита.— А если враг, так почему тогда не взять ее просто и посадить? Зачем следить вот так, скрываясь за углами, зачем гоняться за человеком, как на облаве? Не грех ли это?» — И при этом вспоминал обидные насмешки Зубковича.

Никита каждый вечер рассказывал Зубковичу обо всем, что ему удалось увидеть, а Зубкович слушал и насмехался:

— Последи, последи, может, и заметишь, как барынька до ветру ходит...

Никита и сейчас вспоминает эти насмешки Зубковича.

Ему обидно. Обидно и от другого. В последнем письме жена упрашивала бросить писарство и приехать на землю. «Я темная, неграмотная,— писала жена,— одна тут, а ты, в городе проживая, еще бросишь меня, с писарихой какой сойдешься...»

Никита вспоминал эти слова жены и думал:

«Писарь я. Если б ты знала, какой я писарь... Я людей боюсь, а она — с писарихой сойдешься... Глупая... Написать бы ей...»

Все это мучило Никиту. В это время в его психике еще шла борьба между Никитой — крестьянином и оформляющимся шпиком, агентом охранки.

Второй раз уже возвращался Никита из темного конца переулка. Шел он медленно, совсем неслышными шагами и, когда подходил к знакомым воротам, уловил только несколько слов:

— ...Не нагрянут. Я не дала никакого повода...

Говорил женский голос. Вслед за этим под самым носом у Никиты вышел молодой мужчина, удивленно глянул на Никиту и быстрым шагом направился в противоположную сторону. Никита не изменил направления. Но он догадывался, что женщина, беседовавшая с мужчиной, была той незнакомкой, за которой он следит, что она говорила о полиции. Он начинал понимать, что теперь он обнаружил один из кончиков какого-то тайного дела, что с этим в его руках теперь находится и судьба этих людей, и если только не выпустить из рук концы, можно, наверное, раскрыть все дело, может, какой-нибудь страшный заговор против государства...

Никиту охватило радостное волнение. Он может раскрыть заговор, может предупредить очень большое преступление и тогда... награда деньгами, и если что-нибудь очень важное, повышение в чине. Эти мысли целиком завладели Никитой. Перспектива привлекала, радостно волновала. И сразу пропали всякие сомнения, а вместо жалости к незнакомке, которая иногда появлялась, пришло упрямое желание разоблачить ее деятельность во что бы то ни стало, потому что сейчас с ее именем и деятельностью было связано его будущее, упустить из своих рук незнакомку теперь — означало потерять денежное вознаграждение, может, и чин, а в этом теперь Никита видел всю будущность. В конце переулка Никита свернул на улицу и пошел в направлении к дому. Больше в переулок

он не пошел, во-первых, потому, что боялся еще раз встретиться с мужчиной, с которым встретился у ворот, он был уверен, что мужчина возвратится и проследит за ним, а во-вторых, потому, что многое он уже знал.

Город в это время был особенно оживленный. По тротуарам — и вслед и навстречу Никите — шли люди. Они отдыхали, и каждый из них, наверное, думал о своей жизни, о своем будущем. Так, во всяком случае, казалось Никите. Он нарочито не торопился, было приятно идти и думать о будущем. И Никита представляет... Ночь. Дом незнакомки. Никита смотрит в окно ее комнаты, и там несколько человек и книги, книги... Никита знает, что социалисты всегда имеют дело с запрещенными царскими законами книгами. В окно видно все, что делают в комнате... Никита напрягает мозг и думает: что могли бы делать социалисты с книгами? Ну, известно, они читают запрещенные книжки и прячут их,— решает Никита. Но за этим появляется другая мысль: если только книги, так это небольшое дело и награда маленькая будет. Они должны делать что-то иное. Но Никита долго не может придумать, что могут еще делать социалисты?.. «Ага, они еще прячут бомбы»,— решает он. Вот он видит, как они делают бомбы и прячут их в карманы. Это очень важно, это очень страшно, и Никиту даже страх берет, что если будут бомбы, а он будет один, социалисты могут его убить. Это нехорошо, это страшно, а он должен быть один, абсолютно, чтобы ни с кем не разделять награду. Это не удовлетворяет. Надо что-то иное. Бомбы, но что-то иное, чтобы не могли убить его. Никита думает. Ага, вот так... Он подслушал, как социалисты уговариваются убить генерал-губернатора. (О таких убийствах Никита некогда читал в одной из книжек, это было еще в деревне...) Никита следит за ними. В воскресенье, когда губернатор поехал слушать молебен, социалисты тоже явились к церкви и ждут. Никита видит, как они шепчутся меж собой, он не спускает с них глаз. У церкви много людей. Выходит губернатор, и социалист намеревается бросить в губернатора бомбу, но Никита видит это и своевременно хватает социалиста за руки и кричит...

Никита настолько отчетливо представляет все это, что ему толпа на тротуаре начинает казаться толпой у церкви, и он намеревается кричать. Потом, опомнившись, опять продолжает рассуждать сам с собой... На крик огляды-

ваются люди, смотрит, остановившись, губернатор, а он держит социалиста за руки и объясняет в чем дело. Социалиста берут и отнимают бомбы. По указанию Никиты задерживают и еще двух. Тогда генерал-губернатор подходит к Никите, обнимает его, целует три раза, благодарит за спасение жизни и вешает на грудь Никите какой-то орден и... и тут же объявляет о повышении Никиты в чине. Вокруг люди. Они смотрят на губернатора и Никиту и тоже благодарят Никиту, хвалят... Никита, озираясь на людей, становится во фронт перед губернатором и берет под козырек...

Полностью захваченный своими мыслями, Никита механически остановился на мгновение и поднес руку к козырьку. А в этот момент мужчина в шляпе и пальто, шедший навстречу, не заметил его и, не успев остановиться, ударился в его грудь, больно прижал мозоль на левой ноге. Никита, заметив перед глазами шляпу, хотел скорее уступить дорогу, попросить прощения, но оступился правой ногой в канаву у тротуара и упал на телеграфный столб. Человек в шляпе пошел дальше. Никита поднялся, пощупал голову и, выругавшись, по мостовой направился на другую сторону улицы. Кто-то захохотал вслед ему.

Хохот оскорбил. Никита быстрым шагом пошел домой, поминутно щупая рукою голову. В комнату вошел злой. Болела голова. Перед этим он, вытирая на крыльце сапоги, вспомнил Зубковича и, не раздумывая, решил, что сегодня Зубковичу правды не скажет.

Зубкович пьяный лежал на кровати. Он встретил Никиту бранью.

— Нюхаешь все? Следишь? Следи, следи!.. Может, барынька пожалеет тебя и плюнет в морду твою поганую... Если б дала барынька целковый, ты бы ручку ей целовал, на коленях бы перед нею ползал, но она целкового не даст, она плюнет тебе в морду... А ты поблагодари, подставь ей свою морду паскудную, это честь для тебя будет... Подставь...

Никита промолчал. Он быстро разулся, погасил лампу и лег. Слегка сконфуженный Зубковичем и злой после случая на улице, о котором напоминала боль головы, Никита скоро заснул.

А во сне опять видел социалистов и губернатора. Поздно ночью проснулся встревоженный. Кто-то ходил по комнате. Слышны были шаги босых ног, потом послышался

горячий шепот, словно человек о чем-то кого-то упрашивал. Никита затаил дыхание и осмотрел комнату. Густая темень едва пробивается более светлыми пятнами окон. И напротив окна недалеко от кровати сгибается и разгибается над полом громадный силуэт человека, стоящего на коленях. Силуэт низко, до самого пола, сгибается в сторону угла, где над столом икона Ильи-пророка, поднимается опять, широко взмахивает в воздухе рукой — крестится, опять сгибается и тихо, горячо, неразборчиво шепчет слова молитвы.

Никита смотрит на человека, знает, что это Зубкович, и, однако, не может пошевелиться, лежит, как прикованный страхом к кровати. По телу бегают мурашки.

Зубкович тем временем поднялся с колен, на пальчиках подошел к кровати и тихонько лег. Кровать скрипнула. Он притаился и слушает, не проснется ли Никита. Никита молчит и, тоже притаившись, слушает. Но ему страшно от ночной молитвы Зубковича, он не может уснуть и через несколько минут спрашивает.

— Ты чего это, брат, а?..

Зубкович еще более затаился, помолчал минуту, но ему тоже трудно молчать, и он шепчет.

— Молился я... Глупая наша жизнь, я это тебе только говорю, слышишь, чтоб никому больше. Мы царю должны служить и служим, нас должны за это уважать люди, а нас боятся, нас презирают, нас за собак считают... Я не первый год служу, я много их брата видел. Все они такие квелые на вид, их немного, а мы их боимся... У них разные есть: и жиды, и православные, и католики, и из простого народа, и из господ... Если правда у нас, чего ж мы боимся. Если враги они, так чего мы от них прячемся? А? Я, брат, над этим думал...

Зубкович на руках поднялся на кровати, вытянулся в сторону Никиты и шепчет. У Никиты появляется желание признаться, что и его посещали такие мысли, но он вспоминает незнакомку и вместо этого ни с того ни с сего спрашивает:

— Чего ж ты служишь, если трудно?

— А куда ж мне,— ответил Зубкович,— мне некуда больше, привык я к этому хлебу.

Помолчал немного, ждал, что скажет Никита, и, не дождавшись, опять зашептал.

— Служба у нас собачья... Следим мы, полиция сот-

нями их арестовывает, и не только в нашем городе, а всюду, по всей России, а они все есть и есть... Хотим мы их по одному переловить да в каторгу поссылать, а ничего не выходит, потому что так не надо...— Он зашептал еще тише.— Надо собрать всех,— кто за царя, за веру,— весь народ, и сразу с ними кончить... Крови было бы много; но зато кончили бы мы с ними сразу. А то мы ловим одного, а их десять на воле гуляют, и делают свое, и новых готовят...

Он встал на колени на кровати и, вытянув еще больше голову в сторону Никиты, еще тише зашептал:

— Если не сделают так, как я говорю, нам плохо будет. Сегодня мы ловим их, мы их сильнее, а если будет так и до того дойдет, что они верх возьмут, нас ссылать на каторгу будут... Вот... Я с одним купцом говорил, он знает эту механику всю. У них такие есть, что его вешают, а он кричит: «Не перевешаете всех, близок и ваш конец». На шее веревка у него, а он рад, будто знает, что его час придет... И придет, если будет так с ними... И страх от всего этого... Видел я, как одного вешали, молодого, как девочка, и тонкий такой... Тоже кричал... Когда вели его, я забежал вперед и в глаза глянул, хотелось мне тогда увидеть, что в глазах человека перед смертью. А в глазах у него было что-то страшное, горящие такие, сверкают... Напугался я... Он часто мне снится. И сегодня снился. Вот я и молюсь.

От шепота и слов Зубковича на Никиту находил страх. Но в его сердце уже было что-то, восстающее против страха, и привлекало повышение в чине, если удастся разоблачить незнакомку с ее злонамеренными планами. А с этим сплеталось представление о далекой, желаемой будущности, которая, перемешавшись со страхом, сладко щекотала нервы. Никита думал уже о том, как он, получив награду и больший чин, купит еще земли или переедет совсем в город и перевезет жену. С этими мыслями Никита уснул. А Зубкович еще несколько минут что-то бормотал в сторону Никитовой кровати, потом свернулся под одеялом и уснул.

* * *

Двенадцатого декабря Никита получил вознаграждение. Его выслугу оплатили хорошо, и он был доволен.

Совсем еще недавно, когда Никита в предпоследний раз зашел к начальнику с докладом, он краснел, путал слова, а начальник стучал кулаком по столу и ругался. После доклада начальник вышел вслед за Никитой в канцелярию и, обратившись к начальнику канцелярии, бросил:

— Этому увеличить задания по канцелярии.

А потом... Потом — долгожданное счастье.

Был холодный вечер. Метель засыпала снегом улицы. В снежном вихре не видно фонарей, они едва-едва мигают. На улице редко встретишь человека, и каждый торопится, идет почти бегом, спрятавшись в теплое пальто. Метель на улицах городских мчится в бешеном танце и мелким густым снегом бьет Никите в лицо, за ворот, пробирается холодом до самой груди, засыпает тропку под ногами. А в переулке метель еще страшнее. В переулке — ни живой души, снег обсыпал деревья, заборы, частоколы, хаты, и они стоят с белыми пятнами и напоминают Никите лес. Если бы не редкий свет, пробивающийся из окон дома сквозь снежную замять на улице, он бы и вовсе чувствовал себя, как в лесу, и боялся бы значительно больше. А страшновато Никите потому, что в переулке ветер водит хороводы снежные и, застревая в частоколах и воротах, поет жалобные мелодии. Над городом повисла густая темнота и густыми охапками снега опускается на землю.

Несколько минут назад к дому, уже хорошо знакомому Никите, подъехал извозчик. С санок слез с чемоданом мужчина в пальто и шляпе и направился во двор. Подвода отъехала. А потом, когда исчез извозчик, из-за дерева в соседнем дворе вышел второй мужчина и направился за тем, приехавшим с извозчиком. Во дворе кусты сирени от ворот аж до двери, а за ними рядом яблони, груши. Никита остановился у ворот и прислушался. Во дворе ни звука, кроме свиста метели да шороха обледеневших ветвей на деревьях. Тогда он подошел к крыльцу, тронул дверь и прислушался. Дверь была заперта, и за ней тишина. Никита, осторожно ступая по снегу, чтобы его не слышали, пошел вдоль стены к окну, где находилась квартира незнакомки. Это была большая угловая комната с тремя окнами. Никита зашел за угол и стал у окна. Окно было завешено и залеплено снегом. Он тихонько счищает снег со стекла и всматривается. За занавеской мелькают силуэты двух человек, они что-то делают у стола и едва слышны их приглушенные голоса. Тогда Никита ищет

окно с форточкой. Оно в стене со стороны улицы. Никита возвращается и, прислушавшись, не слышно ли кого-нибудь за дверью в сенях, подойдя к окну с форточкой, пристраивается, чтобы уловить голоса из комнаты и слушает. Сквозь щели в форточке из комнаты выходит теплый воздух, и сквозь эти щели доносятся приглушенные, но отчетливые слова. Никита слышит, как говорит женский голос.

— Лишь бы отсюда, а потом могут поймать часть, но не все. А я, признаюсь, очень беспокоилась в последние дни, боялась полиции.

Ей отвечал мужчина.

— Ты очень счастливая, видно...

И потом оба засмеялись.

Никита отошел немного от дома, влез на яблоню. А оттуда сверху, через окно, завешенное наполовину, хорошо виден стол и мужчина. Женщина за стеной. Видно, как мужчина складывает в чемодан какие-то бумаги. На стуле еще один чемодан.

Смотрит Никита на мужчину, понимает, что надо немедленно действовать, и боится, чтобы не исчезли куданибудь эти чемоданы. Начал волноваться. Сильно забилось сердце. Он вспомнил так часто тревожившие его мечты о будущности. Тревога за то, что люди в комнате упакуют чемоданы и исчезнут, все больше нарастала, не давала покоя. Тогда он посмотрел на часы, слез с дерева и пошел со двора. В переулке осмотрел следы у ворот и бросился на улицу. У харчевни вскочил в сани дремавшего извозчика, толкнул его в воротник.

— Минская, восемь. Гони быстрее. Ну-у!..

Извозчик оглянулся на Никиту и, рванув вожжи, начал стегать коня кнутом по худым бокам. Никита стоял за плечами извозчика и, дергая за ворот, приказывал погонять. Еще через шесть минут Никита сидел в кабинете начальника 3-го жандармского отделения и требовал пятерых человек. Начальник, ни о чем не расспрашивая, куда-то позвонил. В кабинет вошел высокий жандармский офицер, а еще через минуту Никита, офицер и четверо жандармов шли в переулок.

У знакомых ворот Никита еще раз внимательно осмотрел следы на снегу. Свежих следов не было. Значит, они еще здесь. Никита остановил офицера и показал:

— Вон те два окна.

Офицер внимательно расспрашивал Никиту, есть ли в доме еще двери и с какой стороны, потом послал одного жандарма к двери с обратной стороны дома и позвонил. Через несколько минут дверь открыла старая женщина. Увидев жандармов, она поспешно прикрыла дверь и, не заперев их, исчезла в комнате. Офицер и двое жандармов пошли за ней. Никита с жандармом остались на крыльце. Когда они остались вдвоем, перед Никитой всплыл очень живой образ, надуманный им за время, пока он следил за незнакомкой. В памяти встала сладкая мечта о награде, о повышении в чине и за этим ласковое лицо начальника. Но он все же не мог понять, доволен он или еще чего-то не хватает. Он боялся, что вскрыл несерьезное дело, и тогда мечты не сбудутся, над ним могут посмеяться. Охваченный этой, незаметно появившейся, тревогой, Никита отошел в глубь коридора и стал прохаживаться: три шага вперед, три — назад. Жандарм стоял как раз на пороге, смотрел застывшим взглядом на свои сапоги, и концом шашки счищал с носков снег.

Минут через двадцать пять дверь комнаты, куда зашел офицер с жандармами, открылась, и свет лампы целым снопом лучей упал на лицо Никиты. Он отвернулся, инстинктивно отошел в глубь коридора. Из комнаты вышли с тяжелыми чемоданами в руках жандармы и офицер, а за ними мужчина в шляпе и молодая девушка. Из комнаты в открытую дверь вслед им смотрели старая женщина и высокий лысый мужчина, отец арестованной. Когда жандармы с арестованными вышли за ворота, они еще несколько минут стояли на крыльце, потом вернулись в дом, а еще через несколько минут немного сзади вслед за жандармами шел отец арестованной.

Метель прекратилась. Изредка налетал откуда-то ветер и, стрясая снег с частоколов и деревьев, бросал его в лицо Никите.

Никита шел позади арестованных, ступая в протоптанные жандармом следы. Теперь ему все случившееся показалось очень простым. Арестованных он не жалел и совсем о них не думал. Думал о предстоящей награде, как о законно заслуженной.

Назавтра в кабинете начальник угостил Никиту папиросой и разрешил поехать на две недели на побывку. А двенадцатого декабря он получил вознаграждение и пять новеньких ассигнаций занес в банк.

* * *

Хата у отца Никиты пять на семь аршин. Одно окно в хате в четыре стекла — на двор да еще под полатями в одно стекло окошко — на огород. Четверть хаты занимает печь, столько же полати. В углу стол и широкие дощатые лавки от стены до стены. В хате низко навис потолок на толстых балках. Под лавкой корыто с тестом, чугуны, кадка. Под потолком на полке миски, две буханки хлеба. В хате спертый кислый воздух.

Когда Никита вошел в хату и разделся, он долго искал на стенах место, где бы повесить своё пальто. И сразу почувствовал, что отвык уже от этой маленькой хаты, что не захочет вернуться сюда уже никогда.

Родители встретили Никиту тепло. Отец три раза с ним поцеловался накрест, а когда Никита намеревался сесть на лавку, мать подошла и фартуком вытерла ее. Когда, поужинав, сидели у стола, отец долго говорил о нехватках ■ хозяйстве.

— Пускай она сгорит лучше такая жизнь. Это ведь скоро уже хлеба не будет и, кажется, много сеял... И где оно, правду говоря, вырастет у нас. Людей теперь много развелось, и всем есть надо. Так оно жить, наверное, легче с писарства? А может, и тоже?..

Беседой своей отец хотел кое-что выведать от самого Никиты.

— Ты насовсем в это писарство пошел или как? Если будешь дома жить, так хоть сени какие-нибудь пристроим из досок или другое что... Тесно...

Жена Никиты сидела на конце лавки, а мать стояла у печки. Она внимательно следила за беседой, за словами старика, и, как только он сказал о тесноте, вставила:

— Конечно, тесно... Как соберемся к столу все, повернуться негде, спинами друг о дружку тремся.

Эта беседа вызвала у Никиты ощущение громадной разницы между его жизнью за последние месяцы и жизнью родителей. Эта разница во всем: в одежде, в питании. Черное чистое пальто Никиты, висевшее на крючке возле полатей, резко выделялось на фоне серых бревен стены и серой одежды, брошенной на полати, казалось нарочито отталкивалось от них, чтобы не испачкаться. И Никита сам время от времени поглядывал на пальто, и у него появлялось чувство отвращения, он боялся, что со

стены, с армяков и кожухов налезут в пальто тараканы и вши.

Отец Никиты хорошо понимал разницу между своей жизнью и жизнью сына и в беседе сам намекал на это.

— Наш волостной писарь,— говорил отец,— вон как живет, как господин: дочерей одел, сына в городе в гимназии учит, а в губернской канцелярии если его посадить, так и совсем бы не признал. Я недавно адвоката в городе знакомого встретил, как сказал, что ты в губернии в канцелярии служишь, так он вот как завидовал и хвалил тебя. Очень, говорит, хорошее твой сын место занял.

Никита понимал отца и отвечал ему, многого не договаривая.

— Оно ничего, если удержусь. Буду жить.

А отец советовал:

— Хорошо служи, так почему не удержишься. Лишь бы начальства слушался, удержишься.

Только жена иначе думала о Никитиной службе. Она боялась, что Никита бросит ее, простую бабу, поедет один, и потому вслед за отцом торопливо проговорила:

— Дай боже, чтоб ты не удержался, может, и я по-человечески пожила бы тогда.

— Вот глупая,— ответила на это мать,— если удержится, так и тебя возьмет в город и детям хорошо будет, не будут в навозе копаться.

— И ждать не буду,— вставил Никита.— Я ведь и приехал за тем, чтобы взять тебя, квартиру уже нашел хорошую. Поедем, а летом будем в гости к отцу приезжать.

Жена глянула на Никиту ласково, хотела радостно улыбнуться ему, но от этой радости подкатился к горлу клубок, вспомнила все, что перетерпела, и захотелось заплакать. Она поднялась с лавки и вышла из хаты.

* * *

В 1915 году старший брат получил от Никиты письмо, в котором после поклонов всей семье брата было написано следующее:

«... И меня мобилизовали. Я скоро поеду на фронт, и Меланья останется одна с детьми. Из В... уже все бегут, боятся немцев, так я прошу тебя, дорогой брат, не откажи, когда приедет к тебе Меланья, дай ей в своей хате уголок, а я уже, как вернусь с войны, если жив буду, отблагодарю тебя...»

Когда Никита писал это письмо брату, двадцать четвертый сибирский полк стоял в двадцати верстах от фронта, в оставленной крестьянами деревне. Полк в это время был в резерве.

Днем офицеры выводили солдат на площадь за деревню и учили их маршировать, учили владеть винтовкой. А вечерами солдаты собирали под поветями брошенные дрова, ■ если их не было, ломали заборы, пилили на дрова жерди, корыта и топили печи, а в посуде, оставленной хозяевами, варили накопанный картофель.

Эта жизнь в деревне очень напоминала солдатам оставленные ими далекие родные хаты, откуда к ним каждый день шли слезливые письма жен и матерей. Вечерами, у огонька, солдаты перечитывали друг другу полученные из дому письма и тогда обо всем начинали думать по-прежнему, не как солдаты, а как крестьяне, рассказывали друг другу о своих далеких деревнях, о новостях из тыла, а новости возбуждали и вселяли в каждого желание поехать домой, увидеть родных.

Днем слышали солдаты несмолкающие пушечные выстрелы на фронте. Каждый день через деревню везли на подводах искалеченных, раненых людей. И выстрелы и раненые напоминали об угрожающей смерти, и солдаты тихонько высказывали друг другу нарастающий в сердце страх и желание поехать или удрать домой.

Через четыре дня после того, как послал Никита письмо брату, писал он вечером первое свое донесение в контрразведку Н-ской действующей армии. В донесении Никита писал, что в полку тихо, но письма из дому и раненые тревожат солдат, и советовал, чтобы перевозку раненых производили по какому-нибудь другому пути.

* * *

Тихо в хате. Тепло. От небольшого огонька в лампе мало света в новой Кондратовой хате, царит полумрак.

Кондрат со всей семьей за столом ужинает. На столе небольшая корзиночка с печеным картофелем. Кондрат берет в руку крупные яблоки печеного, как раз по его вкусу, картофеля, сдувает с него пепел, долго качает картофелину в ладонях, чтобы отстала корочка и чтобы картофелина была более рассыпчатой, потом соскребает немножко верхнюю кожицу, чтоб оставалось желтенькое,

пригоревшее, ломает картофелину пополам, высыпает себе в рот рассыпчатое ее нутро и медленно жует желтую, пригоревшую вкусную корочку.

Кондрат ест картофель и время от времени посматривает в окно. На дворе начинается дождь. Дождь стучит каплями в стекла, и слышно уже, как начинают за окном падать капли с крыши на землю.

Потом на дворе затарахтела повозка. Кто-то остановил коня. Кондрат положил разломанную пополам картофелину и прилип лицом к оконному стеклу.

— Смотри, не Никитиха ли приехала. Она, наверное...

Кондрат набросил на плечи пиджак и пошел на двор. Вся семья прилипла к окнам.

На дворе у повозки стояли женщина и двое детей. Мужчина, подводчик, снимал с повозки большущую корзину. Кондрат поцеловался накрест с Меланьей, подал руку соседу, который привез ее.

— Это же написали бы, я бы и приехал, конь все равно отдыхает...

— А если я привез, так что?

— Да ничего, но и свой конь есть, и на своем можно привезти.

Семья отошла от окон и сгрудилась на крыльце. Кондратиха поздоровалась с Меланьей и так же, как и Кондрат, трижды накрест поцеловалась с нею. Внесли в хату чемодан и корзину. Кондрат добавил огонь в лампе, помог Меланьиным детям раздеться и опять сел на свое место у стола...

— Достань разве сала да поджарь,— обратился он к жене,— они ж, наверное, не постят... Оно и нам постить тяжело, нет селедцов и алей вышел... А может и картошки бы нашей печеной попробовали, я так очень люблю. Все богатство наше теперь в картошке.

Три года, прожитые Меланьей в городе, отучили Кондрата видеть в ней свою крестьянку. Ее городской костюм отличал ее от всей семьи. Меланья чувствовала это и хотела как-нибудь сгладить разницу своим поведением.

— Ой, я ж очень люблю печеную картошку, еще не забыла.

— Правда, садись да попробуй, может, давно уже ела ее,— приглашал Кондрат.

Жена ставила на стол молоко и, косо глянув в сторону Кондрата, сказала:

— Чего ты с картошкой своей пристал, вот вкус нашел...

В стекла стучал мелкий осенний дождь. С крыш на мягкий песок у свеженасыпанной завалинки падали капли воды.

Часть вторая

На земле, раздвинув ноги, сидел Алесь. Вокруг него цепочкой, взяв друг дружку за пояски, ходили дети. Впереди самый большой — это «матка». Большой медленно вел за собой своих «детей» и ставил вопросы Алесю. Тот отвечал.

— Коршик, коршик,— спрашивала «матка»,— что ты делаешь?

— Ямочку копаю,— отвечал коршик.

— Зачем тебе ямочка?

— Камушки прятать.

— Зачем тебе камушки?

— Иголочки острить.

— Зачем тебе иголочки?

— Мешочки шить.

— Зачем тебе мешочки?

— Камушки собирать.

— Зачем тебе камушки?

— Твоим деткам зубки выбивать.

— Зачем зубки выбивать?

— Чтоб они моей капусты не клевали.

— А зачем тебе капуста?

— Своих деток кормить.

— Зачем тебе детки?

— Чтоб твоих клевать.

После этих слов «матка» стала напротив «коршика» и приготовилась к защите детей, замерших на месте за плечами «матки». «Коршик» подхватился с земли и хочет наброситься на самого крайнего мальчика. Потом запрыгали, забегали дети вокруг «матки», а «коршик» налетает на них и всюду натыкается на нее, высокую. Утомила такая игра «коршика», и он как будто притих, остановился на минуту, потом, прицелившись, прыгнул и ухватил самого заднего мальчика за плечи. Остальные метнулись в сторону, рванули за собой «матку», и она, неповоротливый тяжелый мальчик, упала на землю. Алесь захохотал.

— Ну, и «матка», падает, как кабан.

Василь Кондратов (маткой был он) поднялся с земли, глянул на Алеся, стоявшего неподалеку в коротеньких черных штанах, и зло крикнул ему два раза:

— Хоть из панов, да без штанов! Хоть из панов, да без штанов!

Дети стали полукругом и ждут, что будет дальше. Когда они впервые увидели на выгоне Алеся в коротких черных штанах, позавидовали ему и невзлюбили его. Алесь начал каждый день гонять на выгон свиней и учить детей разным, привезенным из города, играм, они увидели в нем хорошего компаньона и стали самыми близкими его друзьями. Василя они не любили. И сейчас их симпатии были на стороне Алеся. Эти симпатии усиливались еще и потому, что Алесь часто, как знали дети, страдал из-за Василя. Очень часто бывает, что Василь съест в кувшинах сметану и матери скажет, что видел, как Алесь в кладовку лазил. Тогда мать наказывает Алеся.

Дети смотрят на Алеся и подмигивают ему. А он глянул на Василя, подошел к нему спиной и с улыбкой сказал:

— Хлопцы! Что это воняет так падлой? Вы не знаете?

Он поморщился.

— А-а! Это же клоп, вонючка рыжая, тут стоит! А я думал, что это воняет? Уй! Ну, и рыжий! На твоей голове блины можно без огня печь...

Дети захохотали, а Василь отошел немного в сторону и крикнул Алесю.

— Ничего!.. Подразнись вот, я маме скажу. Приехал, жрешь наше добро да еще смеяться будешь? Хорошо же! Мама тебе покажет!..

— Уй, как воняет! — кричали дети.— Уй, как воняет!

Василь пошел домой. Тогда дети опять посадили одного хлопца в кругу и стали ходить вокруг него с «маткой». «Маткой» избрали Алеся.

* * *

По полю наперегонки с ветром несутся белым густым облаком снежные метели. Им много простора в поле, ничто не удержит их. Низкие кусты ольшаника, поросшие над канавой возле шляха, засыпаны снегом, и чуть-чуть выглядывают из него отдельными голыми веточками их вершины. Метели несутся по полевым просторам, застилают бе-

лизною густой горизонт и там, слившись в одно с беловатыми снежными тучами, пропадают бесследно.

В стороне от поля, как только может охватить глаз, стоит густой стеной громадный бор. Мчатся метели полем до самого леса и, долетев до подножья высоких и густых столетних сосен, останавливаются, начинают кружить и тихо ложатся на наметанные уже возле леса белые сугробы. В лесу совсем тихо, нету ветра и кое-где торчат из-под тонкого пласта снега маленькая веточка или сосновая шишка. А вверху над лесом высоко плывут сизые тучи, с ними мчится ветер. Ветер налетает на лес, гудит в вершинах деревьев, сметает с них снег. Качаются сосны, плавает вверху гул, и над лесом, словно дым, взвивается снег.

Недалеко от леса, на холме, стоит хата, в которой некогда была клеть. Хата одним своим небольшим окном всматривается в даль, туда, где шлях, где видны белые крыши далеких хуторов.

Хата осенью только сложена, и усадьба совсем не огорожена. У хаты наметан высокий сугроб, это под снегом лежат бревна для строительства клети. За бревнами, дальше от леса, из жердей сделан сарай. Накрыт он еловыми лапками. А еще немного в сторону от сарая снежными белыми бабами стоят два небольших стога. Стога выскублены снизу, и от этого кажется, что две толстые старые женщины завязли в снегу и застыли, не могут выбраться.

Снежные метели носятся по полю. Возле хаты кружится снег, словно вулкан белый дымится. Ошалелый ветер разбегается в поле, захватывает целые горы снега, несет их и, натолкнувшись на одинокую в поле хатку, забрасывает ее снегом, наметает снег через щели в стеклах в хату, сыплет им сквозь дырки в крыше на чердак.

Снег лезет сквозь щели между жердями в сарай и колючим холодом обдает исхудавшую корову. Корова дрожит, отвернулась от яслей в сторону, откуда дует ветер, и пережевывает съеденную мешанину. У коровы глубоко впавшие худые бока. Она мягкими губами выбирает из-под ног, из навоза, неутоптанные соломины и подолгу пережевывает их, дрожит от холода и потихоньку мычит. Рядом, за перегородкой, такая же, как и корова, худая мохнатая кобыла. Кобыла не хочет отходить от яслей. Она стала к ветру боком и достает из яслей сено. В сене камышинки, они щекочут кобыле ноздри. Кобыла губами разворачивает объеденные камышины, выбирает отдельные травинки и

фыркает. На глазах у кобылы засох навоз. На хвосте и спине — снег. Время от времени она перестает искать в яслях, расставляет ноги и встряхивает всем телом, чтобы сбросить со спины снег и немного согреться. У нее тогда вяло обвисает нижняя губа и тоже дрожит.

А ветер с метелями все более зло бросается на хату, на сарай, сыплет в сарай сквозь щели снег, застревает между жердями, рвется оттуда и, злой, жалобно свищет: у-ю-й-й-у...

У ворот стоит Никита. Он худой, оброс густой короткой бородой.

Уже второй год, как он вернулся с войны... Тогда его с радостью встретили соседи, брат, жена. Он долгое время жил в хате брата. Долгое время воскресными днями он выходил на улицу в солдатской форме, в сапогах, в шинели и шел по улице солдатской размерной поступью. Потом перешил шинель на армяк. Сапоги порвались. На брюки, на колени, легли рыжие заплатки со старого, давно изношенного армяка. И единственной памятью о солдатчине осталась испачканная старая шапка.

С самого утра и до вечера возился Никита возле хаты, возле стогов и сарая; целыми часами раскапывал снег и время от времени привозил из лесу на кобыле дрова. Вечерами садился на колодочку посреди хаты напротив огонька и то кроил, разматывая скрученное баранками лыко, то домашним способом, распаривая в печи ясень, гнул полозья и тесал копылы для саней. Разогревшись у печи, подолгу тяжело кашлял.

Этот кашель он частично привез с войны, а усилил его весной, когда, переезжая речку, свалился в воду под лед.

Никита убрал от ворот навоз, прикрыл ворота и пошел к стогу. Там он остановился в затишье, оперся о стог и долго был неподвижен. В памяти всплывали пережитые годы. Всплывали, словно совсем свежие, картины жизни в губернском городе, и как живой вставал в памяти Зубкович. С Зубковичем Никита расстался еще до войны, его направили в другой город. Но сейчас почему-то звучали в ушах слова Зубковича, которые он шепотом говорил Никите в ночь после первой его удачи. Тогда слова эти немного пугали, но Никита не верил в них, а теперь они опять всплывают в памяти и рождают тревогу. После революции прошлое пугало Никиту и мучило его страхом. Он боялся, чтобы не рассказать про свое прошлое людям, и в беседах о старом больше молчал. Теперь Никите, когда он задумался

над словами Зубковича, начинает казаться, что вот-вот кто-то выйдет из-за стога, из-за сарая, возьмет его за шиворот и спросит: служил ты охранником или нет? Сколько добрых людей погубил своей службой? От этого становится Никите страшно, он оглядывается вокруг, торопливо крестится, сняв с головы шапку, и шепчет сам себе:

«Хорошо, что хоть никто не знает, а если бы знали, загоняли бы меня люди, затюкали, а может, и еще хуже было бы, пускай и не знает никто. Пускай дети мои об этом ничего не знают!»

Никита еще раз посмотрел вокруг, надергал сена, взял его в охапку, подобрав чистенько до травинки, и понес в сарай. Навстречу ему из сарая тихо заржала кобыла. В поле густая белая метель смешивалась с сумерками наступающей ночи.

* * *

Пятнадцать верст шли босыми по шоссе. Когда миновали кожевенный завод, кто-то предложил обуться. Все сошли с шоссе на лужок, помыли в канаве ноги и начали обувать сапоги, ботинки, лапти.

В городе в отделе народного образования никто не решался зайти в кабинет к заведующему. Долго стояли под дверью и спорили, кому идти, а потом все вместе зашли в кабинет. Заведующий удивленно смотрел на вошедших, слушал их путаную, не совсем смелую речь, а выслушав, написал какую-то бумажку и рассказал, как ближе пройти к экскурсионному бюро.

Когда вышли из кабинета заведующего, Алесь только рукой махнул, и тогда с говором и шумом пошли по улицам города. В экскурсионном бюро им дали руководителя-наставника. Он показал прежде всего спортивную площадку во дворе экскурсбюро, потом повел экскурсантов в физический кабинет одной из школ... Там седой старый физик долго рассказывал о разных физических явлениях, доказывал правильность высказанных мыслей физическими опытами. Во время лекции разбились две стеклянные баночки и лопнула во время нагревания колба. Опыт, который хотел показать физик с колбой, так и не удался, потому что другой не было. Вечером показали еще рентгеновский кабинет городской больницы. Ученики (это была экскурсия из сельской школы) смотрели на освещенное сердце Янки, наблю-

дали, затаив дыхание, как оно бьется, а ночью, в общежитии, подшучивали над Янкой, что у него кривое сердце и что лежит оно у него немного боком.

Оставалось завтра осмотреть еще электростанцию и маслобойню.

Когда утром шли на электростанцию, над дверью двухэтажного дома Алесь прочитал написанные на вывеске следующие слова:

РОССИЙСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА.

Сквозь раскрытые на первом этаже окна Алесь видел на стенах комнат этого дома наклеенные громадные плакаты и портреты.

«Наверное, клуб для молодежи»,— подумал он.

А когда на углу улицы в киоске купил местную газету, то на последней странице опять прочитал в объявлении те же слова, что и на вывеске.

За городом, по пути домой, опять завернули на лужок, и все разулись. В газету Алесь завернул свои ботинки.

Прошел целый месяц после экскурсии. Алесь уже позабыл о прачитанном в газете и на вывеске. Он по привычке зашел в помещение волости, чтобы попросить у секретаря комячейки какую-нибудь книжку для чтения.

Секретарь комячейки Сергей сидел над какими-то бумажками. Когда Алесь вошел и сел на табурет, Сергей отодвинул левой рукой бумаги в сторону и начал расспрашивать Алеся про школу. Спрашивал о том, как относятся к ученикам учителя, как успевают ученики. А потом взял Алеся за рукав рубашки, посмотрел на него и сказал:

— Много у вас хлопцев в школе хороших, почему бы вам не организовать там ячейку комсомольскую?

Алесь сразу вспомнил газету, вывеску.

— Слушай! Я что-то про комсомол в газете читал, когда на экскурсии были. Что это?.. Что мы делать будем, когда комсомол организуем?

— Что делать?.. Ну что комсомол делает?.. Я и сам хорошо не знаю, но, примерно: разверстку помогает собирать, учится политике, на бандитов, если надо, ходит, в ЧОНе занимается, учит деревенскую молодежь коммунистической жизни... Ячейка — это, брат, все, это, когда все одинаково думают. В школе у вас — как кто хочет, а то-

гда — ячейка... Вот хоть партию возьми. Партия — это взрослые, ну, а комсомол — вроде партии молодежи. Так и говорится: коммунистический союз...

— Так давай организуем, а?..

Алесь смотрел на Сергея и ждал ответа.

— Давай. Ты еще поговори с одним-двумя лучшими хлопцами, а я приду к вам, и организуем... Вот тогда, брат, заработаем, только держись. И я буду с вами политикой заниматься. Тогда мы вашим некоторым учителям в политике сто очков вперед дадим!..

Сергей подмигнул Алесю и опять взялся за бумаги. О книжках Алесь позабыл. Он стремглав бросился в школу. Тихонько отвел в угол Янку и рассказал ему о разговоре с Сергеем.

— Как это мы организуем? — спрашивал Янка.

— Я не знаю. Сергей придет, он сам покажет. Только ты пока никому больше не говори.

— А может, еще Петру сказать, а?

— Петру?.. Ну, этому можно. А больше никому... смотри!..

Через день в одном из классов школы собрался волостной политико-просветительный кружок, которым руководил бывший подпоручик, а ныне — зять священника. В кружке были некоторые учителя, дети священника, дьякона, бывшего волостного писаря и несколько служащих волостных учреждений. Кружок разучивал пьесы и ставил спектакли. В кружке в это время читали «Медведя» Чехова. Руководитель то громко выкрикивал отдельные предложения густым мужским басом, требовал от кого-то деньги, то подделывался под женский умоляющий голос.

В соседней комнате собралось трое будущих комсомольцев и Сергей.

— Всего трое? — спросил Сергей.— Это, брат, совсем мало, если бы еще двух.

— Тогда позовем еще Рыгора и Терешку... Поди, Петро, позови...

Через минуту появились Рыгор с Терешкой.

Сергей открыл собрание.

— Вот, брат, что,— начал он,— чтоб нам уже организовать ячейку, давайте все, как следует. Пускай Алесь председателем будет, а Янка секретарем... Согласны? Ну вот... Ты и протокол пиши,— обратился он к Янке.

Сергей начал доклад. Он говорил о борьбе на фронте,

о том, как Красная Армия победила Врангеля, говорил о борьбе с белополяками. А в конце сказал несколько слов о дезертирах из армии и о том, что комсомол должен выявлять и помогать власти ловить дезертиров.

Хлопцы слушали внимательно. У каждого из них было торжественно приподнятое настроение. Никто из них не понимал еще, что такое комсомол, кроме того, что советской стране трудно защищаться от врагов и что комсомол должен выявлять и помогать ловить дезертиров. Но за этим каждый чувствовал нечто большее, еще более важное...

Янка держал в руке карандаш; положил руку на бумагу, но ничего не писал. Алесь толкнул его под локоть.

— Ты пиши, протокол пиши...

— Я не знаю, как...

— Мало ли что, пиши.

Янка на бумаге вывел слово «протокол» и опять остановился.

Сергей закончил доклад, помолчал минуту, потом поднялся и добавил:

— Вот, брат, что я еще забыл сказать, что комсомол и спектакли должен устраивать, тогда мы вон тех похерим...— Сергей указал на дверь, откуда доносился голос руководителя кружка.— Похерим их кружок, а свой такой сделаем, что... Так... А через месяц, вот еще, вышлют вам каждому билет комсомольский в шелковой обложке...

Сергей подошел к Янке.

— Не написал? Ну давай писать... Протокол общего собрания,— диктовал Сергей,— беспартийной крестьянской молодежи... Были на собрании такие-то. Запиши... Вот тут пиши: слушали, а тут — постановили... тут — доклад секретаря комячейки об организации комсомола, а тут — организовать ячейку комсомола и готовить из себя борцов за советскую власть и коммунистическую партию... Избрать председателем ячейки Алеся, а секретарем Янку. Пиши... Командировать Алеся в уездный комитет для того, чтобы взять необходимое руководство... Правильность протокола подписали... ну все, кто есть, пускай подпишут... А теперь, Алесь, закрывай собрание и пропоем «Интернационал».

Сбиваясь на разные голоса, вслед за Сергеем затянули пятеро молодых ребят слова известного им гимна. С каждым новым словом голоса крепли, подымались выше. В соседней комнате замолчали. Руководитель культурно-про-

светительного кружка открыл дверь, глянул на хлопцев и остановился.

— Черт знает что такое? Почему поют?

Но, узнав секретаря комячейки Сергея, продвинулся в дверь класса поближе к столу и тоже запел.

* * *

О комсомольской ячейке в селе и волостном центре знали все. Ячейка внесла что-то новое в окружающую жизнь. И не то чтобы работой своей большой — работу за две недели не развернули еще как следует,— но сам факт создания ячейки был заметным явлением, к которому теперь было приковано внимание всего населения села. О ячейке говорила молодежь, говорили старики и дети.

В школе вся жизнь начала вертеться вокруг ячейки. Часть учеников старших классов стала на сторону ячейки, другая не признавала ее. Это самое произошло и в селе среди молодежи. Большинство молодежи было за ячейку, часть — за культурно-просветительный кружок. В селе встали друг против друга две силы, это все понимали. Правда, в культурно-просветительном кружке почти все учителя, культурные силы, а в ячейке пять комсомольцев да Сергей с ними, да еще за ячейку крестьянская молодежь и большинство учащихся.

В кружке как будто силы большие. Они спектакли ставят, библиотеку имеют хорошую, у них пению учат, а в ячейке пока что лишь занятия по политграмоте, да еще в субботние дни вечерами собрания с докладами Сергея о международном положении и задачах, да газеты, присылаемые ячейке из города.

Ячейка в хате Янки поставила под лавкой ящик и туда складывала свои книги. Сергей всю литературу, присылаемую из города волостному агенству печати, перенес в ячейку. Отдавал ячейке и все газеты, идущие на волость.

Через месяц ячейка выросла. Записались в ячейку Иче, сын кузнеца, и Зося, ученица, дочь крестьянина. Зося записалась в ячейку и ходила пока что в культурно-просветительный кружок играть в спектаклях.

Между кружком и ячейкой развернулась борьба.

Собираясь у дьякона на квартире, кружковцы целыми вечерами говорили о ячейке, иронизировали над неграмотностью и некультурностью комсомольцев и одновременно почему-то тревожились. До сих пор им было отдано все

внимание села, а с появлением комсомольцев это внимание разделилось. Разделение это захватило даже волостной исполком. Сергей был с комсомольцами, а председатель исполкома с кружковцами, и с ними еще налоговой инспектор и другие служащие.

Сергей с каждым днем относился к кружку все более отрицательно.

— Чего они крутят носами от ячейки? — спрашивал он.

Председатель исполкома защищал кружок.

— Ты неправильно подходишь к интеллигенции,— говорил он.

— Ячейка,— что? — ничего пока, а кружок — культурные интеллигентные силы волости. Если рассуждать так, как ты, так эти силы разбегутся, и с одной ячейкой ничего не сделаешь... Ячейку учить еще надо.

Сергей нервничал, злился:

— Твою гнилую интеллигенцию еще больше учить надо,— говорил он.

В последние дни эти разговоры повторялись все чаще.

Перед рождеством кружок подготовил спектакль. На расклеенных по деревне афишах громадными буквами после названия пьесы было написано, что спектакль ставит культурно-просветительный кружок. Вечером комсомольцы вырвали в афишах эти места, но через час их опять заклеили такой же надписью. Потом председатель исполкома позвал к себе Алеся и нашумел на него за поступок комсомольцев.

Но комсомольцы готовились к спектаклю и готовили учеников.

— Если хорошее что — послушаем, а если барахло какое-нибудь — освищем...— говорили они.

На спектакле комсомольцы и ученики сидели на задних рядах. Ученики стояли вдоль окон, на лавках. Пока шла пьеса, в зале было тихо да время от времени прорывался смех. А когда после пьесы на сцену вышел учитель-кружковец и, поклонившись, произнес название стихотворения, которое хотел декламировать, задние ряды зала зашумели.

Учитель провел рукой по лбу, глянул в задние ряды аудитории и начал декламировать:

Глаза... Глаза...

Не успел он произнести этих слов, как изо всех углов поднялся шум, потом свист.

На сцену вышел руководитель кружка и попросил, чтобы было тише.

Учитель опять произнес первые слова стихотворения, и опять кто-то пронзительно свистнул в заднем ряду.

Опять на сцену вышел руководитель кружка. За ним поднялся председатель исполкома и начал стыдить учеников и комсомольцев.

Учитель, зло глянув в задние ряды, начал декламировать. Вот он уже произнес восемь строк стихотворения, а тут опять эти слова:

Глаза... Глаза...

И они опять потерялись в пронзительном дружном свисте. Учитель повернулся и ушел за кулисы. Председатель исполкома ушел домой. Спектакль скоро закончился.

Назавтра председатель исполкома долго беседовал с Сергеем, доказывал, что таких безобразий, которые происходили на спектакле, терпеть дальше нельзя. Сергей доказывал, что школьники правильно освистали декламацию учителя.

— Ну что это за стихотворение? — говорил он.— Глаза... Глаза... А ну его!.. Вот, брат, оно и есть, что гнилая интеллигенция.

В этом спектакле участвовала и Зося.

Назавтра же ее вызвал к себе в коридор Алесь и заявил, что если она будет играть спектакли в кружке, ячейка привлечет ее к ответственности и исключит из комсомола.

Ячейка хотела победить, хотела отвоевать сцену, чтобы от имени комсомольцев говорить со зрителем перед спектаклями, чтобы самим ставить пьесы, декламировать, петь. Началась жестокая борьба за сцену. Борьба перенеслась в школу, где среди учеников было много кружковцев. Алесь, руководивший фактически всей внеучебной жизнью школы, повел атаку на кружковцев. Он с группой хлопцев составил список, кому и когда мыть пол в классах, пилить дрова. Прежде обычно девчат освобождали от дров, сейчас это правило было упразднено.

— Нашим мы сумеем помочь,— говорил Алесь,—а они, панские доньки, пускай сами и напилят, и наколят.

Скоро в лесу произошла и первая стычка.

Идти в лес надо было всем: и хлопцам, и девчатам. Так и ходили. Но прежде дочери священника, дьякона и писаря в лес не шли, а домой, и это почему-то считали нормальным. На этот раз Алесь нарочито предупредил их:

— После обеда в лес пойдем за дровами, глядите, чтобы не сбежали!

Но девчата в лес не пошли.

Алесь в лесу собрал учеников, и все согласились, что тем, кто не явился в лес, завтра придется напилить две нормы дров. Утром Алесь предупредил девчат об этом. Дочь дьякона захохотала Алесю прямо в лицо:

— Я не буду пилить дрова!

— А вот будешь!

— Не буду! Не будем!..

— Посмотрим!

Алесь оставил их. Девчата пошли к заведующему школой, и он разрешил им дров не пилить.

Когда утром Алесь явился в школу, он прежде всего проверил, напилены ли дрова. А через пять минут в самом большом классе собралось ученическое собрание, чтобы обсудить вопрос об исключении всех трех девчат из школы. Девчата плакали на собрании. Заведующий защищал их и доказывал, что собрание не имеет никакого права кого бы то ни было исключать из школы. Несмотря на это, собрание единогласно постановило потребовать от школьного совета исключения всех троих.

А еще через некоторое время случилось самое важное. Комсомольцы на открытом собрании обсудили вопрос культурной работы ячейки и тут же создали драматический кружок и кружок пения. Тут же решили провести совместное общее собрание с культурно-просветительным кружком, чтобы решить, кому руководить кружками,— ячейке или культурно-просветительному кружку.

После собрания Алесь пошел к руководителю кружка и объявил ему постановление.

— Пусть собрание решит, чья сцена — наша или ваша.

Руководитель посмеивался, доказывал, что ничего из этого не получится.

— Ячейка ведь не сумеет руководить, что вы? Это развалит всю работу.

— Не развалит, наладим.

— Если вы уж, Алесь, так настойчивы, я согласен на следующее: пусть хлопцы из ячейки идут в кружок и будем работать...

— А кто руководить? Вы?.. Нет, не так...

— Ха-ха-ха! Руководите вы, а я буду у вас простым кружковцем. Согласны?

— На собрании решим.

В субботу в классе собрался весь состав культурно-просветительного кружка. На сцене сошлись руководитель и группа старших кружковцев, о чем-то советуются.

В другом классе собирались все, кто за ячейку. Через несколько минут все они вошли в класс, где находились кружковцы. Вслед за ними, прихрамывая, пришел Сергей. Алесь остановился у стола.

— Занимай, хлопцы, первые места, сейчас спектакль будет.

Стали избирать председателя собрания. И все сразу закричали, называя кандидатов.

— Пылькина! Пылькина! — кричали кружковцы.

— Алеся! — отвечали им ученики.

— Алеся!

Алесь поднялся с лавки.

— А я предлагаю Сергея, чтобы как секретарь комъячейки ни за тех, ни за других был.

Сергей открыл собрание. Первое слово взял председатель исполкома. Он всячески доказывал, что культурно-просветительный кружок делает полезное дело и что ячейка, не подумав, хочет развалить этот кружок. Он догадывался, что победа может быть на стороне ячейки. В ответ ему то там, то тут на лавках возникал шум.

За плечами председателя по сцене ходил, нервничая, бывший офицер, руководитель кружка. Внизу у сцены, опершись на стол, стоял учитель пения, смотрел куда-то в сторону и без всякой причины иронически улыбался. Вид у него был такой, будто он очень жалеет кого-то.

Говорил еще кто-то из кружковцев, что если возьмет ячейка верх, то не получит ни помощи, ни книг, и предлагал вступить в существующий кружок.

Его заглушил шум и выкрики. Потом говорили еще Алесь и Сергей.

Когда начали голосовать за предложение Алеся: кто за то, чтобы культурно-просветительный кружок распустить и всю работу вести ячейке,— в классе опять поднялся невообразимый шум. Обе стороны желали навербовать себе как можно больше голосов. Пять человек считали поднятые вверх руки. Потом считали тех, кто против. На восемь голосов у ячейки оказалось больше. Культурно-просветительный кружок был распущен.

Из класса по одному выходили кружковцы. Остались

некоторые из них, ученики и председатель исполкома. Он злился.

— Не надо было так делать... Ну, распустили, а что дальше сделаете, а?

И стоял перед молодежью, ожидая ответа. Кто-то ответил ему:

— Спектакль поставим.

В классе захохотали.

— Поставим, поставим!.. Посмотрим, как поставишь, тогда скажешь...

Собрание разошлось. Через два дня Янка с Терешкой переписывали библиотеку культурно-просветительного кружка, а комсомольцы переносили книги в помещение исполкома и раскладывали в шкафу. Сергей хромал, гуляя по комнате, рассматривал подолгу два толстых тома путешествий Пржевальского в блестящей тисненой обложке и хвалил комсомольцев:

— Вот оно, брат, и молодцы вы! Это ж такая библиотека, что и мы кое-кому можем дать книг, а не то, чтобы еще просить у кого... Только чтобы берегли их, вот что. Чтобы описаны все были...

Он подходил к шкафу и опять подолгу рассматривал книги.

Через две недели кружок ставил «Осиное гнездо». Это был первый спектакль.

После собрания многие из бывшего культурно-просветительного кружка вовсе уклонились от работы, часть перешла в кружок ячейки. Руководил кружком учитель, преподаватель математики. Прежде он время от времени участвовал в постановках.

На этом же спектакле, в конце, кружок пропел «Интернационал».

Зал во время спектакля был переполнен.

Эта была первая победа комсомольцев.

* * *

Рыгор недалеко от хаты сгребал сено. Он собрал большую красивую охапку, поднял с земли и положил ее на наполовину сложенную копну. Вытер рукавом пот с шеи и сел у копны отдохнуть.

Вдруг кто-то подкрался сзади, закрыл руками глаза и не пускал.

— Тимох?.. Пусти!.. Ну?.. А-а-а... знаю, Алесь...

Алесь отпустил руки.

— Заверши копну да бери винтовку, и пойдем в волость. Пойдем на ночь в Алесевку.

Рыгор завершил копну, сказал отцу, что его зовут зачем-то в ячейку, и пошел домой. Дома вынул в кладовке из-за кадки винтовку немецкой системы, отдал ее Алесю почистить, а сам сел обедать.

Вскоре во двор пришла мачеха Рыгора.

— Опять с этими игрушками? Опять куда-то отправились? А? Вот нет на вас управы... Идите! Может, головы свернете... Чуть не каждый день идет, а старик работает один... Работы не нашел, а обед сам разыскал... Чтоб вы лопнули...

Рыгор бросил есть, надел шапку, и пошли.

В исполкоме еще никого из хлопцев не было. Алесь повел Рыгора в церковный двор за ограду и сел в углу двора под липами.

— Садись... Ну, что ты думаешь делать?

— Не знаю... Уже из дому гонят. Работать надо, а тут вот это... Черт его знает, что делать?..

— А не бросишь?

— Я? Не брошу! Лучше голодный уйду в свет, а не брошу...

— Пройдет... А разве у меня лучше? Отец на меня не кричит и вообще ничего не говорит, но это еще хуже, потому что я сам знаю, что он-то молчит, а про себя думает очень недоброе. Сегодня я беру из-под кровати винтовку, а он сидит молча на лавке и так как-то на меня смотрит, что мне страшно стало. Если б он ругал, так я бы хоть отговаривался. А то он молчит, ни слова, и я молча пошел... Я, может быть, еще зиму пробуду так, а потом пойду из дому, не выдержу... хоть куда...

— И я поехал бы куда-нибудь, чтобы учиться...

— А мне, брат, в уездном комитете обещали на будущий год послать куда-нибудь...

— Если бы вместе! Вот бы хорошо! Вот бы тогда поработали! Тогда бы не только этого, сына священника, а всех бы по политике загнали.

В слово «политика» Рыгор вкладывал умение разбираться во всех событиях, происходящих в мире, и в написанном в газетах и книгах.

— Тебе легче политика дается,— говорил Рыгор,— а

мне эта политика очень трудна. Ты вот скажи, как ты доклады учишь?

— Учу?.. Я совсем докладов не учу.

— А как же ты?

— Почитаю книжку, какую надо, или газету и делаю.

— Ну?!

— Ей богу!

— А я ж, брат, замучился, когда поручили мне доклад.

— Какой?

— А вон, как коммунисты захватили власть... Я думал, думал и чуть не плакал, а потом взял книжку, полез на чердак, чтобы мачеха не видела, и заучил наизусть всю книжку. Да и то запутался, когда хлопцы захохотали... Не умею я так, как ты.

— Надо было бы поехать учиться куда-нибудь...

— А секретарем ячейки тогда кто?

— Янка останется. Я уже довольно побыл. Ячейка у нас уже большая, пусть он и побудет.

Алесь достал из кармана небольшую в синей картонной обложке книжечку и показал Рыгору.

— Видел?

— Не-а!.. Что это?

— Билет. И тебе прислали...

Рыгор долго держал в руке книжечку, поворачивал ее, перелистывал, рассматривал. Потом, возвращая Алесю, несмело, с удивлением спросил:

— А Сергей говорил, что в шелковой?..

— Глупый, где это шелку набраться. Мало что он говорил.— Алесь спрятал билет в карман, сдвинулся с места, на котором сидел, и поднял незаметно дерн. Под дерном лежали обоймы с патронами.

— У меня здесь около сотни штук и дома немного. Эти боюсь дома прятать, чтобы дети не нашли, а тут никто не знает... На и тебе две обоймы.

Алесь подал две обоймы поржавевших слегка патронов. Достал еще четыре обоймы и, стряхнув с них песок, положил себе в карман.

Через час пять человек с винтовками, по-разному одетые, шли в Алесевку. Алесь и Рыгор были босые и без свиток. Начальник этой группы, местный партиец-красноармеец, совсем недавно вернувшийся домой, был в сапогах и красноармейской одежде. Два других — партийцы-мужчины были в ботинках.

В Алесевке их встретили с некоторым удивлением, но в хату председателя сельсовета, где хлопцы остановились, вскоре по заданию председателя зажиточные алесевцы начали приносить все, что следовало сдать по разверстке. Красноармеец взвешивал масло, сало, рожь, а Алесь внимательно записывал все на бумагу против фамилии того, кто сдавал, и давал тому расписаться.

Приносили разверстку по одному, медленно, и затянулось это до самой ночи.

Недалеко от хаты председателя была вечеринка. Оттуда доносились игривые звуки гармошки. Гармонист играл польку. Рыгор стоял с винтовкой у ворот и слушал. К нему подошел старый крестьянин, оглянулся и тихо сказал:

— Вы стерегитесь, Булгак может прийти. А вечеринку я советовал бы обыскать, револьверы у этих богатых есть.

Рыгор позвал красноармейца. Крестьянин повторил свой рассказ. Еще раз предупредил, чтобы остерегались.

По улице шли три местных хлопца и о чем-то шептались. Заметив их, крестьянин притаился у ворот и подождал, пока они пройдут. Когда хлопцы исчезли в темной улице, крестьянин пошел домой. Красноармеец вызвал из хаты комсомольцев и повел их на вечеринку. По пути рассказывал, что кому делать.

— Алесь станет у двери, вы возле окон, а я с Рыгором буду искать.

Когда красноармеец с Рыгором вошел в хату, музыкант по-прежнему задорно резал польку. По хате кружились парами хлопцы и девчата. Рыгор и его друзья стали у порога и ждали.

Стукнул еще раз барабан и забренчал жестянками. Пропела еще раз гармонь басами и замолчала. Остановились танцы. Красноармеец вышел на середину хаты, поднял вверх руку.

— Товарищи. У нас есть сведения, что на вечеринке есть кое-кто с револьверами. Если верно,— я прошу сдать их.

Никто не ответил.

— В таком случае я вынужден обыскать хлопцев.

Хлопцы столпились в углу у двери. Девчата отошли в другую сторону. По одному подходили к Рыгору хлопцы и давали себя ощупать, а потом отходили к девчатам.

У хлопцев не нашли ничего. Рыгор глянул на друга, махнул рукой музыкантам и подошел к лавке, где в углу стояло ведро с водой. За ведром лежало два нагана. Рыгор взял наганы и показал. Все как будто удивленно смотрели на них и молчали.

Снова заиграл музыкант. Начались танцы.

* * *

Ночь...

В хатах давно погасли огни.

Всего несколько минут тому назад в хате на окраине виден был свет, мелькали в танцах силуэты людей. Потом раскрылась дверь, и вечеринка десятками самых разных молодых голосов хлынула на улицу, поплыла по ней и пропала в коротких всхлипах гармошки, глухих редких звуках барабана. Потом кое-где слышался тихий шепот и поздние торопливые шаги. Теперь все смолкло. Застыли серые в свете луны очертания хат.

На дворе тепло. Алесь сел на бревно, прислонился к стене плечами, слушает тишину ночи, и, зачарованный ею, думает.

В гумне спят товарищи. Время от времени шуршит сено, это кто-нибудь из них ворочается. Наверное, травинки лезут в нос или в ухо и щекочут.

Перед воротами небольшой кусочек луга. Луг порос уже молодой травой. Влево сразу огород: белые головы кочанов и по бокам тропки, ведущей в гумно, высокие маковины. Вправо за плетнем тоже луг и в одну сторону, недалеко от плетня, рожь, а в другую — луг и молодой густой осинник. Над осинником низко повис большой белый круг луны. Темное небо вверху синее, и на нем беловатые звезды. Перед воротами на соседней меже старая груша. Она высоко поднялась перед гумнами и, широко распустив покрытые листьями густые ветви, застыла неподвижно. Алесь смотрит вверх. Оттуда из темной синевы просвечивается понемногу от звезд и течет на землю беловатый нежный свет. Все ночью напоено музыкой совсем неслышной, которую можно только угадывать. Алесь угадывает эту музыку в тихом шорохе молодой травы, в мигании звезд, в застылости листьев груши, в дрожании белесого тумана, повисшего над лугом, и на ветвях осинника. Эта музыка вливается в самое сердце, трогает самые тонкие, самые нежные струны в душе человеческой

и наполняет ее благими думами, будит в сердце смелые, самые наилучшие желания и формирует их. Ночью такой простор мыслям! Ночью у человека наедине с собой самые искренние и самые чистые мысли.

Алесь осматривает винтовку. Он открыл затвор и проверил, есть ли в коробке патроны. Спустил тихонько курок. Поставил между ног винтовку и ласково погладил ее ствол. Ощущение холодной гладкой стали успокаивает. По руке от ствола прохлада передается всему телу.

«Как хорошо вот так в ячейке и в отряде. И я не боюсь, нет, но хотел бы проверить себя. Пускай бы сейчас оттуда, из-за осинника, из тумана или из-за соседнего гумна, подкрадывались бы бандиты, и чтобы товарищи спали и не слышали... Как бы я хотел этого. Я подпустил бы их вон туда, до плетня, чтоб стали перелезать, а тогда спустил бы курок в первого, второго... двух или даже трех я успел бы убить, пока бы они опомнились, а потом они залегли бы, наверно, за плетнем и тоже стреляли бы или отползали бы назад и отстреливались. А товарищи бы крепко-крепко спали и проснулись бы уже тогда, когда я раненый подполз к воротам и упал там... Испытать бы большую боль, такую, от которой хочется кричать и заглушить ее криком. Я стерпел бы...».

Алесь вспоминает, как в воскресенье они вчетвером шли в последний раз в засаду в Мост, чтобы перенять группу бандитов. Шли в сумерках. Чтобы не выдать себя, шли сначала тропками по межам в поле, потом через лес и дальше напрямик по нескошенному лугу. Прийти надо было так, чтобы никто в Мосту не знал о них.

Шли рядом все четверо комсомольцев. Тихонько ступали, чтобы не шлепать по воде и не изранить о корягу босой ноги.

Скоро они совсем близко подошли к Мосту и остановились в кустах возле шляха, чтобы немного отдохнуть.

Эти кусты избрали местом засады. Рядом, в двадцати шагах, небольшая речка, мостик, и за ним деревня. Откуда бы бандиты ни шли, им этого мостика не миновать. Хлопцы сели на склоне небольшой канавки возле шляха и стали ждать. Под мостом булькала вода. Она течением качала осоку и ветви лозы, покрывавшие густым венком берег реки, лоза и осока тихо шептались, казалось, что кто-то крадется. Хлопцы напрягали слух. Нарастал пробужденный в дороге страх.

В деревне залаяла собака и сразу смолкла.

— Идут, наверное... а?..

— Ш-ш-ш...

Долго слушали, всматриваясь в сторону деревни. Но собака больше не лаяла, и это успокаивало.

В высокой траве у речки что-то зашуршало и упало в воду. Хлопцы инстинктивно вздрогнули, затаили дыхание и долго прислушивались, пока не нарушил молчание Терешка.

— Это или ежик, или птица какая...

Ночь прошла без приключений. Недовольные, хлопцы шли домой. Хотелось есть...

И теперь Алесю хочется сделать нечто большее, чем вот так просидеть ночь у гумна. Ему не просто хочется героизма, он хочет проверить себя, не струсил ли бы? Как бы перенес ранение? Такие мысли волновали Алеся часто.

Вокруг царит все такая же удивительная тишина. Чуть-чуть от дыхания ветерка колышется воздух и обдает лицо Алеся то прохладой, мягкой, то теплом. Тело устало, им вот-вот завладеет дремота. Алесь напрягается, чтобы не уснуть. Начинает думать о том, что скоро наступит день, и вспоминает дом. Завтра отец начнет косить. Он болен, и косить ему трудно, надо бы косить Алесю, но завтрашний день, наверное, пройдет еще в Алесевке. Отец будет злиться. Злости своей он не выскажет Алесю, затаит ее в себе, но по тому, как он в течение всего дня не произнесет ни слова, как за ужином молча уткнется в миску и потом молча сразу ляжет, Алесь угадает, что он зол. Это мучает. Мучает и полунищенское существование семьи.

Болен отец. Бедность — нет хлеба. В хату время от времени приносят соседи-хуторяне и родственники: то кувшин простокваши, то блин, то кусок хлеба. Это, особенно помощь соседей, унижает. После таких подарков Алесь не может смотреть в глаза матери, он уходит из дому, ложится где-нибудь в поле и подолгу лежит молча. Тогда хочется плакать, кричать и куда-нибудь уехать навсегда. Придумать другое что-нибудь он не может еще и поэтому больше года вынашивает мысль о поездке.

«Поучиться бы,— думает Алесь,— подрасти, лучше узнать жизнь, тогда бы я много, много сделал бы...»

Алесь следит за своими мыслями, сознательно руководит ими, чтобы не задремать, не уснуть. Ему почему-то

кажется, что он слышит чей-то разговор. Тогда он прислушивается острее и уже отчетливо слышит тихий разговор людей и шорох во ржи. Алесь понимает, что кто-то незаметно хочет подойти к гумну, где отдыхают товарищи, иначе кому надо гумно теперь, в пору, когда там нет никакого добра. Он внимательно слушает. Разговора уже нет, но шорохи уже приближаются. Алесь тихонько поднялся с бревна, лег на землю и пополз к плетню в сторону ржи. Остановился и снова начал слушать. Шорох во ржи прекратился, но зато глаза различают темный силуэт человека. Темень ночи мешает рассмотреть хорошенько, что там, во ржи. От напряжения болят глаза, и силуэт человека, и рожь дрожат, сливаются в одно. Алесь на мгновение отводит взгляд в сторону, оглядывается вокруг и тогда опять отчетливо видит силуэт человека. Он тихонько приближается. Наверное, пустили одного рассмотреть, не стоит ли кто у гумна. Человек во ржи — враг. Алесь целится в него и спускает курок. Человек во ржи присел. Тогда Алесь выстрелил еще раз. Во ржи затопали, кто-то побежал, потом в ответ прогремело три выстрела. Алесь выстрелил еще. Он не слышал, как за плечами открылись, скрипнув, ворота гумна, как выбежали испуганные товарищи и подошли к нему.

Услышав за плечами шаги, Алесь подхватился от неожиданности и повернулся лицом к товарищам.

— Куда ты стрелял?

Алесь молчал. Во ржи полз тихий шорох. Оттуда еще раз грохнул выстрел, и все смолкло. Товарищи догадались, в чем дело.

— Ты почему не будил?

— Я не успел. Как услышал, что во ржи крадутся, я и пополз к плетню, ну, а как заметил человека, выстрелил... Вот сволочи... наверное, ни разу не попал, чуть конец ствола виден, не то, чтобы мушка...

В гумно больше никто не пошел. Все сели на бревно. Начали говорить о том, что случилось. Алеся ругали за то, что никого не разбудил. Алесь молчал. В деревне дружно залаяли разбуженные выстрелами собаки. Где-то в хате скрипнула дверь. Послышались тихие тревожные голоса людей. Это выстрелы разбудили их и вывели на улицу.

Начало светать. Алесь поднялся и стал потягиваться. К нему подошел Рыгор.

— Скажи правду, ты не боялся?

— Не-а. Я над этим не думал даже. Как услышал шорох во ржи, как-то сам лег на землю и пополз.

— А стрелять не боялся? Они по огню могли в тебя попасть.

— В меня не попали бы. Нам теперь бояться нечего, теперь нас боятся. Я следил, а они подкрадывались, как зайцы, во ржи скрывались... Это ерунда, брат.

— А все-таки смелость нужна. Я не знаю, как испугался бы...

— Смелость небольшая. Я вот часто о старых временах думаю. Вот тогда смелость была, когда революционеры единицами против правительства, полиции, казаков шли и не боялись... Скажи, ты хотел бы раньше родиться, а?

— Как это?

— Ну, вот хотя бы лет на десять раньше, но чтобы и тогда таким быть, как теперь, комсомольцем... Чтобы как теперь понимать все и быть революционером...

— И я хотел бы... И хотел бы побывать в тюрьме, как революционеры, тогда, наверное, все знал бы...

— Испытал бы каторгу, тюрьму, пытки...— высказал вслух свою мысль Алесь.— Я хотел именно таким вырасти...

— Ты может, хотел бы еще и таким, как Ленин, быть?

— А почему не хотелось? Не обязательно Лениным, а хотя бы простым революционером, который все испытал на своем веку...

— Я шучу...

— ...Чтобы прожить так, как они... Я много думал об этом,— продолжал Алесь свои мысли.

На востоке по небосклону стлалась беловатая полоска света, дрожала незаметно и ширилась. Вокруг покачивались сумерки ночи и потихоньку уползали куда-то за гумна, за осинник, окрашиваясь в пепельный цвет.

* * *

Ключинский был хорошим другом бывшего волостного писаря. После революции писарь как-то победнел и остался на работе в исполкоме деловодом. Ключинский жил, как и прежде, в своей деревне. Напуганный в первые годы революции контрибуциями и разверстками, Ключинский сбыл две коровы и коня соседям, а молотил-

ку спрятал в гумно, забросал ее мякиной, чтоб не забрали большевики.

Когда полоса разверсток прошла, Ключинский ожил. Из своих двадцати семи десятин начал обрабатывать восемнадцать, а с появлением в хозяйстве двух батраков — все двадцать семь десятин. Молотилка была очищена от мякины и осенью 1922 года уже молотила на соседских токах.

В войну Ключинский построил себе новый дом. В доме две половины: в одной — кухня и столовая, в другой — спальня и чистая комната для гостей. В этой комнате и в столовой происходили собрания. На собрания обычно приезжали люди из волости и до собрания беседовали с Ключинским, иногда обедали у него, ужинали, оставались ночевать. Ко всем приезжающим из волости Ключинский относился с уважением и всем излишне много говорил о своем хозяйстве. Из-за собраний и таких бесед Ключинского в волости все знали и привыкли к нему, а за его беседы и выступления на собраниях считали активистом.

Хозяйство его считали культурным, передовым. Как-то само по себе его хозяйство, как передовое и культурное, оформилось и в списках налоговой комиссии волисполкома.

В последнюю налоговую кампанию, когда составляли списки земли и скота, Ключинский записал восемнадцать десятин земли, а девять десятин утаил. Скот показал весь. Когда списки проверял крестьянин, председатель сельсовета, односельчанин Ключинского, то он сначала хотел исправить восемнадцать на двадцать семь. Высказал эту мысль жене.

— Что тебе, жалко, что человек умный и утаил землю. Хочешь, чтобы все так делали, как ты, глупый... Поправишь, а как если что-нибудь, и большевиков не будет?.. Тогда он тебе припомнит! — сказала жена.— Разве он один утаил?

— Другие-то меньше... Но черт его бери! Моего он не украл, пускай волость следит...

— И я говорю, какое тебе дело, хочешь умнее всех быть? Ключинский хорошо живет — дай бог и всем так, пускай живет на здоровье.

Так восемнадцать и осталось в списке. После этого Ключинский еще активнее вел себя. На всех собраниях он обычно поддерживал представителя волисполкома. Ко-

гда однажды на собрании крестьяне начали говорить, что много лесу вырубается, Ключинский выступил и сказал:

— Так, граждане, нельзя. Мало ли что леса жаль. Разве только нам лес нужен? За войну шахты все разрушились, ладить их надо, и лесок надо, и круглячки надо, вот власть и везет наш лес в шахты...

В другой раз, когда говорили о помощи голодающим Поволжья, он встал, поставил на стол решето, насыпанное заблаговременно рожью, и горячо заговорил:

— Граждане! Надо понимать, что власть наша советская, как нищенка, ей надо помогать. Власть, правда, берет у нас налог, но налогом надо и других покормить, разве мало людей, которые хотят есть? Надо рабочим, чтобы поели, а кто же накормит рабочих, если не мы? Надо, граждане, помочь власти, я вот жито жертвую голодающим, и все должны понемногу пожертвовать. Понемногу, а вместе выйдет много...

Говорил он иронически, но иронию свою скрывал в хороших словах и такими выступлениями часто вел за собою собрания. Представители исполкома, обычно уставшие на собраниях в спорах с крестьянами, были довольны, что собрание слушает Ключинского, который поддерживает их, как представителей власти. Когда однажды после собрания председатель исполкома высказал налоговому агенту сомнение в искренности Ключинского и назвал его хитрым проходимцем, тот обиделся.

— Ты неправ. Он искренне выступает. Правильно, что он и о себе заботится, может, даже больше всего о себе, но он нам очень помогает. А нам всегда легче провести мероприятия, когда мы имеем в деревне такого активиста. Своего крестьянина в деревне легче, брат, слушаются.

После этого о Ключинском подобных разговоров не было.

Часть третья

Напротив кровати Алеся у окна сидит Стефан и пишет. Он весь отдался письму, подолгу думает над тем, что написать.

Алесь только что пришел с улицы, устал. Он сразу лег на кровать и отдыхает.

Уже третий год, как он учится в техникуме. В позапрошлом году уездный комитет комсомола и райком пар-

тии отпустили его на учебу. Он тогда уже был членом партии и председателем сельсовета.

Первые дни учебы в городе и скромная стипендия как-то сковали его, погасили активность. Но месяца через три он уже работал вовсю в партячейке. Партийцев в техникуме было мало. Первый год учебы прошел быстро. Летом Алесь приехал в свою деревню на каникулы. Целыми днями он работал в хозяйстве, а вечерами и в праздничные дни шел в ячейку или по деревням с заданиями партячейки и сельсовета. Молодой, энергичный, он пылкостью своих слов умел убедить крестьян в правильности того, о чем говорил, и они уважали его за это.

— Он от души говорит, по глазам это видно,— говорили крестьяне.

Так незаметно в работе и учебе прошли два года.

Теперь Алесь избран председателем профкома. Студенческий коллектив любит его за простоту, за искренность, за товарищество, за умение понимать человека. За эти два года ни один студент не слышал, чтобы Алесь хвастался своей работой, активностью, хотя все видели эту его работу. Он горячо высказывался на собраниях в адрес того или иного товарища, но высказывался правильно, понимая того, о ком говорил, и поэтому на Алеся не злились, а, наоборот, любили его.

Второй год уже живет Алесь в одной комнате со студентом-батраком Стефаном. Странный немного этот Стефан. Но не комсомолец, и Алесь все время стремится подружить с ним, чтобы вовлечь его в комсомол. Стефан поначалу как будто был в дружбе с Алесем, ходил с ним, советовался, но оставался очень скрытным, и эта его скрытность вставала всегда между ним и Алесем, как только Алесь хотел по душам поговорить с ним. Этого Алесь никак не мог понять.

Алесь повернул голову и смотрит на Стефана, хочет разгадать его. Стефан склонился над письмом, что-то думает, время от времени посматривает в окно.

«Наверное, скрытность в нем жизнью выработана. Был забитым, загнанным, привык во всем скрываться от людей, и теперь, наверно, от этого избавиться не может...» — думал Алесь. Ему захотелось поговорить со Стефаном. Встал с кровати, подошел и тронул Стефана за плечо. Стефан вздрогнул и сразу закрыл ладонью левой руки письмо, а потом свернул его и сунул в карман.

— Зачем ты прячешь письмо? Куда пишешь?

— Я... это письмо... домой.

— Вот странный. Ты не стыдись. Может, девушке, любимой своей? Я ведь подсматривать не буду. Это естественное дело в твои годы, пиши, да только чтобы красивее было — поэзии добавь...

— Нет, я домой...

— Чего ж ты смущаешься? Хотя и я не люблю, когда кто-нибудь за плечами стоит, когда пишу... и мне надо написать домой. Худо у меня дома, отец совсем хворый, да и живет, как нищий... Эх, скорей бы закончить, Стефан, учебу! Поехал бы в свой район, никуда кроме своего района, и там бы работал. Создали бы у себя в деревне коммуну — обязательно. У нас комсомольцы, если бы ты знал, какие хлопцы, с ними все можно сделать. А в коммуне покажем, как работать, как жить. Крестьяне боятся коммуны потому, что не знают, поладят ли, сойдясь вместе, не придется ли одному работать на другого. А мы покажем, как жить, как жить коммуной, с нашими хлопцами можно это. И ты, когда закончишь, приезжай к нам, вместе будем, а? Это же если бы всех наших студентов да в деревню, да если бы каждый маленькую коммуну организовал, вот было бы дело!.. Тогда бы исчезла нищета. А то я вот жалею отца, а помочь ему не могу. Три или пять рублей, которые я иногда посылал ему, глупость, их и на хлеб не хватает...

— Ты отцу посылаешь деньги?

— Иногда посылаю.

— А как же сам?

— Сам? Братец ты мой, я, кажется, и еще с меньшей стипендией прожил бы. Разве я думал когда-нибудь, что буду учиться, да еще в таких условиях? Нет, брат! Даже во сне не видел. Стипендии мне хватает... А как у тебя дома?

Стефан помолчал немного, словно не слышал вопроса, потом ответил, недовольно поморщившись.

— И у меня нехорошо. Черт его знает, что там будет... я не знаю...

— А что, разве родители и теперь еще батрачат? Или землю получили?

— Да, батрачат, но я так... не интересуюсь особенно.— Стефан извлек из ящика стола книжку и начал листать ее.— Покажи,— обратился он к Алесю,— что мы по ра-

стениеводству должны читать, я как-то прозевал на лекции.

Алесь показал нужные страницы книги и отошел опять к кровати. Лег.

«Опять эта скрытность, не люблю я его за это, чувствую вот, что не люблю, как будто он что-то серьезное прячет ото всех...»

Но беспокойству Стефана при разговоре о доме и его словам он не придал никакого значения.

* * *

Солнце греет в спину Алеся. Над покинутым позади городом оно висит громадным золотым восходящим кругом.

На шоссе осел за ночь слой серой мягкой пыли. Пыль и на кустах ольшаника, и на траве тропинки возле шоссе. На кустах и на траве сверкают крупные капли росы. Алесь проводит босыми ногами по росной траве и росой смывает оседающую на ноги пыль.

Шоссе легло перед ним прямой беловатой лентой. Концом своим оно теряется в далекой дали между сосен и оттуда постепенно выползает навстречу Алесю. Оттуда подымаются, вырастают и тянутся навстречу ему редкие крестьянские подводы. На подводах поросята в мешках визжат, кудахчут куры в корзинах.

Алесь всматривается в лица крестьян, хочет рассмотреть знакомых своей деревни. Вот он издали узнает отца. Отец медленно идет по шоссе рядом с повозкой, низкий, одетый во что-то мохнатое, залатанное. Конь едва переставляет ноги. Идет, привязанная к повозке, рябая корова. Алесь ускоряет шаг, он уже близко от отца. Видимо, и отец узнал его.

Поравнялись. Отец остановил коня. Алесь подошел, обнявшись, поздоровался.

Отец доволен, он тихим голосом что-то рассказывает, но Алесь не слушает, осматривает отцовскую повозку.

В оглоблях все еще старая гнедая кобыла. На шее у нее старый, ободранный хомут, под него подложена суконка. Под чересседельником тоже суконка в три слоя. Дуга треснула и связана проволокой. На вожжах одни узлы. Алесь смотрит на кобылу, на упряжь, не может смотреть на отца, жаль его. Гнедая кобыла опустила голову к земле.

В повозке левое переднее колесо без шины. В другом между спицами вставлено коротенькое отесанное поленце, чтоб не сгибалась шина. Потрескались трубки, и вот-вот, кажется, выпадут спицы. Развалится колесо. На повозке, по бокам, кривые, вытесанные из молодых березок, перильца. К ним привязана рябая корова. Худая. Отец угадывает мысли Алеся и говорит:

— Хлеба нету, да и сарай думаю докрыть, соломы надо купить, и решили с матерью продать ее.— Он показал на корову.— На будущий год может уже телка отелится, а одно лето как-нибудь и без молока проживем, детей ведь нету...

У отца из-под латанной рыжей шапки видны серебристые волосы. Лицо худое, а густая короткая поседевшая борода и глубоко сидящие глаза делают его еще более худым. На плечах свитка непонятного цвета, и уже не разобрать, из чего она пошита была, что потом приложено к ней, как заплаты. А заплаты на плечах и локтях одна на другую положены из разноцветных кусков сукна. Штаны на ногах тоже в заплатах. Лапти запыленные, стоптанные.

Алесь смотрит отцу на грудь. Из-под свитки видна домотканая рубашка, и из-под нее через прореху видна худая желтая грудь. На глазах у отца тусклая слезливая муть.

Отец рад Алесю, осматривает его и говорит:

— Ты исхудал совсем, может, нездоров? Наверное, плохо питаешься? Нам денег не шли, не надо. Мы как-нибудь управимся. А ты себя смотри, а то молодому оно плохо, потом на весь век повредит, если недоедать будешь...

Постояли еще немного. Отец чмокнул губами, махнул кнутом над спиной кобылы, и она пошла. Алесь еще немного постоял на шоссе, оглянулся еще раз вслед отцу и тихими шагами пошел. Шоссе все так же стлалось перед ним беловатой лентой.

Вечером Алесь долго говорил с комсомольцами. Позднее писал студенту, близкому своему другу, полное пессимизма письмо.

«Ты не пойми мое письмо неправильно. Я сам знаю, что в нем слишком много пессимизма, это результат наблюдений над жизнью отца. Я хочу поделиться с тобой... И не только отец так живет, есть и еще беднота. Не так

деревня живет, не так, как надо. Некому перевернуть эту жизнь. Если бы ты знал, как я хочу поскорее закончить и приехать сюда, пусть даже не агрономом, а так просто, на работу. Мне кажется, что я сумел бы вместе с хлопцами своими переделать эту жизнь... Ты посоветуй. Может, стоит оставить техникум? Я знаю, что многое сделал бы, знания у меня уже есть, а удостоверение — черт его бери. Ты напиши об этом. Знаешь, я так верю в революцию, в коммуну, что, кажется, вырвал бы сердце из груди, сгорел бы, чтоб убедить крестьян, что только в этом выход их из нищеты и бедности... Если даже и не останусь я здесь в этом году, условлюсь с хлопцами, подготовимся, и они будут понемногу к будущей весне готовить крестьян, а потом сделаем коммуну, обязательно сделаем...».

* * *

Сергей Антонович прожил сорок три года своей жизни очень интересно. Отец его был священником и хотел, чтобы сын пошел по его стопам, и потому отдал его, после четырех классов гимназии, в духовную семинарию. Сергей Антонович закончил семинарию и получил назначение в недалекий от дома приход. С приподнятым настроением служил он первую обедню. Людей в церкви было много, они пришли посмотреть нового батюшку и послушать его молебен.

Через два месяца Сергею Антоновичу стало скучно, служба его не удовлетворяла. Охваченный тоской, он подружил с сыном местного учителя. Тот недавно закончил гимназию и по причине своей неприспособленности к жизни сидел у отца на шее, играл в карты и пьянствовал.

Как раз на пречистую, после обедни, Сергей Антонович и этот самый сын учителя, кажется, тоже Антонович, да еще сын старой вдовы матушки напились и пьяными пошли на полянку, где гуляла молодежь. Хлопцы и девчата пели песни, танцевали. И вот тогда случилось самое интересное: Сергей Антонович полез к девчатам целоваться. Девчата, стыдясь батюшки, сперва с улыбками вырывались из его рук, а когда увидели, что батюшка пьян и озверел, стали разбегаться. Гулянье остановилось.

Позже, в дни великого поста, Сергей Антонович принимал людей на исповеди. В церкви оставалось всего четыре человека. Они подходили, каялись в своих грехах

и после того, как батюшка три раза осенял их спины крестом, уходили.

Последней подошла молодая девушка. У нее было какое-то горе, которое она хотела высказать батюшке. На обитом медью уголке евангелия лежали два пальца девушки и дрожали. Дрожало все ее тело. Батюшка шептал неразборчиво слова молитвы и смотрел на девушку, на ее красивое светлое лицо, на дрожащее тело. Он старался угадать стройные формы ее тела, груди, представлял ее перед собою обнаженной. От этого воображения волновался, сбивался со слов молитвы. Девушка о чем-то долго говорила батюшке, но он не слушал. Он осматривал ее лицо, выпуклую грудь и пугливо оглядывался. В церкви не было никого. Сергей Антонович поднял руку и начал гладить голову девушки. Рука его ощущала сквозь платок мягкие густые косы. Рука машинально гладила по голове и дрожала, когда пальцы нащупывали ее щеку. Сергей Антонович уже совсем не слушал исповедаемую. Пугливо осмотрев церковь, он привлек к себе лоб девушки и поцеловал его. Девушка отшатнулась, подняла голову и глянула в глаза батюшке, а он обнимал уже за шею и тихо шептал: — Ты не бойся, милая, не бойся...

Еще крепче прижал ее к себе, не успела она опомниться, начал целовать ее щеки, а левой рукой нащупывал упругость груди.

— Ты не пугайся, это не грех...

Девушка испуганно рванулась из рук батюшки, толкнула его в грудь, вырвалась и с растрепанным платком выбежала из церкви.

Дома она рассказала о случившемся матери. Мать соседкам, а спустя месяц после этого с Сергея Антоновича сняли сан батюшки. Сергей Антонович возвратился в свое село и открыл корчму.

Во время войны был мобилизован и, как образованный, скоро заслужил чин прапорщика. После войны вернулся в село и опять стал торговать, открыв галантерейный магазин. Так живет он уже четвертый год.

Сегодня Сергей Антонович пригласил к себе в гости учителя местной семилетки, своего близкого друга, чтобы посоветоваться, что делать с сыном.

— Вы же знаете, что нашему брату,— говорил он,— нет теперь ходу. Закончил вот семилетку, а теперь ничего не придумаю. В прошлом году подавал он заявление

в педтехникум, так не приняли, сын торговца... Дайте совет...

Учитель дул на блюдце, держа его на кончиках пальцев, хлебал с блюдца чай и слушал. Когда Сергей Антонович закончил, учитель поставил блюдце на стол, вытер ладонью губы и, наклонившись к Сергею Антоновичу, тихо заговорил.

— Я дал бы совет, да не знаю, как вы на это посмотрите...

— Буду только благодарить...

— Я вот о чем хочу... Главное, чтобы ваш сын учился, чтобы в дальнейшем мог иметь кусок хлеба. Так?

— Ну, так ну?

— Значит, неважно, будет считаться он вашим сыном или даже лучше, если не будет считаться.

— Как это?

— А так: торговцу нет ходу, и надо сделать так, чтобы он не был сыном торговца...

— ?

— Надо, чтобы он порвал с отцом всякие отношения, чтобы отрекся от отца, понимаете?

— Что вы, что вы?

— Это надо обязательно. Отречение от отца необходимо для людей, для них, а на самом деле никакого отречения не будет. Надо, чтобы сын ваш исподволь начал говорить об этом с комсомольцами, потом пускай сходит и поговорит с секретарем партийной ячейки. Надо, чтобы после этого он ушел от вас, чтобы где-нибудь на собрании сказал об этом... Вам как родителю это, конечно, обидно будет, но главное не в этом... Если все поверят, тогда дело будет сделано... Вот мой совет.

Учитель откинулся на спинку стула и смотрел на Сергея Антоновича. Тот довольно улыбнулся.

— Вы очень оригинально придумали и удачно. Это в моде сейчас рвать с родителями, такой век. Отречение от всего старого... от отца, матери... Я согласен. Я весьма благодарен.

Сергей Антонович поднялся со стула и крепко пожал руку учителю.

— Весьма благодарен. Я сделаю так, как вы советуете...

* * *

В партячейку техникума два раза приходила из ГПУ секретная бумажка.

«По имеющимся в ГПУ сведениям в вашем техникуме обучается сын бывшего помещика, активного врага советской власти и сам бывший служащий белопольской армии, некто Миронов Захар Семенович...»

ГПУ просило сообщить, действительно ли есть такой в техникуме. Два раза секретарь партячейки просматривал общий список студентов техникума и оба раза Миронова в списках не нашел.

Прибыл третий запрос. На этот раз секретарь партячейки пригласил представителей всех курсов и вместе начали искать Миронова в курсовых списках студентов. Просмотрели.

— Нету! Кто его знает, хлопцы, что это такое?

— Нет, так нет, чего они хотят. Хоть возьми и роди им Миронова.

— А как его имя-отчество? — спросил кто-то.

— Миронов Захар Семенович.

— Давай проверим все фамилии, имя-отчество. Давай!

Начали читать. Через минуту секретарь ячейки, проверявший общий список в книге, хлопнул по списку рукой.

— Есть, брат! Ну и хитро. Смотрите...

В списке за фамилией Плащаницкий стояло тире и за ним другая фамилия Миронов и дальше Захар Семенович.

Все остолбенели. Плащаницкого они все хорошо знали, но в техникуме он никогда не называл себя двойной фамилией, нигде не писал этой двойной фамилии, и все знали его как Плащаницкого, и только так и называли его.

В тот же день Плащаницкого позвали в профком и потребовали его документы. Во всех документах была записана только одна фамилия. Но в удостоверении сельсовета, приложенном к анкете при поступлении в техникум, перед фамилией Миронова стояла фамилия Плащаницкий. Было понятно, что эта фамилия явилась позже и понемногу выталкивала и стирала с документов ту, которая была небезопасной.

Через два дня состоялось собрание. Студенческий кол-

лектив был возмущен делом Миронова, и во время собрания зал был переполнен.

На собрании долго говорили о самом факте утаивания Мироновым своего прошлого и своей фамилии в связи с этим; требовали его исключения из техникума и передачи дела прокурору. Один из выступающих стремился оправдать Миронова несознательностью и тем, что он, напуганный возможностью привлечения к ответственности, только по причине несознательности делал это. Оправдывал и тем, что Миронов уже на третьем курсе, и его не надо исключать.

Сам Миронов перед этим выступал и оправдывался, признавал свой большой проступок. Зал волновался. Выступил еще и Алесь.

— Дело Миронова,— говорил он,— должно научить нас многому. Активный враг три года обучался в нашем заведении, на наши средства. Мы три года жили рядом и ничего не знали. Больше. Два товарища дали уже ему рекомендацию для вступления в партию, не зная, кто он, даже не поинтересовавшись им. У нас не хватает бдительности, чтобы узнать своего классового врага. Это потому, что мы не воспитываем у себя чувства ненависти к врагам. А факт оправдания Миронова со стороны выступавшего здесь товарища! Что это значит, когда наш враг, в недавнем прошлом сражавшийся с нами, оправдывается лишь на том основании, что он несознательный, что это давно было, что он уже на последнем курсе? Что это? А это значит, что мы слишком успокоились за время учебы, от жизни оторвались, забыли о борьбе, стали излишними гуманистами и жалеем врага, вместо того чтобы ненавидеть его всем существом своим, так, как ненавидит он нас. Надо воспитывать в себе чувство классовой ненависти, тогда не будет дел вроде дела Миронова.

Зал слушал и аплодисментами реагировал на эти слова.

За Алесем выступило еще несколько студентов. Они соглашались с мнением Алеся и дополняли его своими мыслями.

— ...Ты почитай их книжки,— говорил один выступающий,— как они пишут о нас, наши враги. В них каждая строка дышит бешеной ненавистью к нам, а мы еще не умеем так, мы слишком гуманисты. Вы увидели бы, что он с нами сделал бы, если б мы попали к нему в руки.

Я уверен, что он не вспомнил бы тогда ни дружбы и ничего...

Дружным голосованием Миронов был исключен из техникума. Дело его было передано прокурору.

Через два дня в этом же зале состоялось открытое собрание комсомольской ячейки. Утверждали план работы на последнюю четверть учебного года. Потом стоял вопрос приема в комсомол студента Кисляка.

— ...Янка Сергеевич,— читал секретарь анкету.— Год рождения 1907. Социальное положение — иной. Чем занимались родители до революции? — Торговля. После революции? — Тоже торгуют...

В зале поднялся шум. Десятки людей хотели что-то сказать, задавать вопросы. Кто-то бросил реплику:

— А еще в комсомол лезет...

Секретарь видел волнение в зале, поднял руку вверх, чтобы зал замолчал, и поспешил заявить:

— ...Бюро решило принять Кисляка в комсомол...

Зал зашумел еще больше. Послышались выкрики. Но секретарь продолжал:

— ...Товарищ, правда, происхождением из семьи торговца...

— То-то и есть! — закричали из зала.— Вопросы есть!..

— ...Но надо смотреть не только поверхностно, в какой семье родился товарищ, от кого он, так сказать, родился, а...

По залу прошел хохот.

— ...А кто он сам такой, какой он сам товарищ, доказал ли он своей работой, своим поведением, что достоин быть комсомольцем. Вот что...

— Не агитируй! Агитированные уже!..— кричали из зала.

— Ближе к делу!

— ...Вот что...

Секретарь помолчал минуту и покачал головой, глядя в зал. В зале стало тише, и он продолжал.

— ...А товарищ Кисляк доказал это...

Зал умолк.

— Он, несмотря на то, что отец его торговец, что с отцом мог бы хорошо жить, пошел к нам, порвал с родителями.

Секретарь замолчал. Зал еще мгновение молчал, слов-

но не знал, какой вывод сделать после слов секретаря, а потом прорвались легкие хлопки, и одновременно несколько голосов крикнуло:

— Тише!

— Дай вопросы!..

— Где он сам?

— Вопросы!

— Давай его!

Через зал к сцене прошел молодой подвижной хлопец и остановился. Студенты заговорили между собой. Секретарь успокоил комсомольцев.

— Кто имеет вопросы? Задавайте... Только тише!

Посыпались вопросы.

— Где живут родители?

— Как давно порвал с родителями, до техникума или после?

— Какую активную работу вел у себя в селе?

— Кто тебя знает из партийцев?

— Подробно пусть ответит!..

Кисляк поднялся на сцену и начал отвечать на вопросы.

Он волновался, поминутно поднимал ко лбу руку и приглаживал чернявые волосы.

— ...А сейчас,— говорил он,— я лучше подробно про все расскажу. Мои родители торговцы. Торговал отец и в старое время, и торгует теперь, целый магазин имеет. Я закончил семилетку. В школе я был пионером. Выполнял, насколько мог, активную пионерскую работу и общественную работу у себя в районе... Тогда я еще жил с родителями. Я был еще ребенком, несознательным совсем. Потом начал думать о том, как быть? Я долго проверял себя. Я мог бы быть таким же торговцем, как отец, но я пришел к единственному выводу, что мне с отцом не по пути, что мое место не в магазине, что у меня с родителями разные пути. Порвал с родителями два с половиною года тому назад, и после этого, через некоторое время меня районо направило в техникум. Сам я хотел пойти куда-нибудь на работу, но это было невозможно... Меня хорошо знает товарищ Пипиков, партиец, пусть он скажет, как я относился к родителям...

Кисляк отошел немного в сторону и стал. Зал опять молчал минуту, будто не зная, как реагировать на слова Кислякова, а затем прорвались более дружные, чем в пер-

вый раз аплодисменты. Алесь сидел до этого позади. После аплодисментов он пересел вперед. Кто-то крикнул из зала.

— Тише вы, хлопуны! Все чтобы хлопать и ладошки. Мозоли скоро будут...

На сцену вышел Пипиков. Он совсем не намеревался говорить по делу Кисляка, но поскольку тот назвал его, надо выступать. Но он был не подготовлен.

— Я знаю товарища Кисляка. Он порвал с родителями еще раньше. Этот поступок, свидетельствующий лучше всего о товарище. Иное дело, если бы он порвал, скажем, с родителями в двадцатом году, когда еще не было нэпа, тогда он это мог бы сделать, чтобы примазаться, а сейчас он имел полную возможность жить господином, как родители, но он порвал с родителями, отрекся от них. Я знаю, он активно работал. Он, безусловно, может быть в комсомоле...

Кто-то захохотал в зале. Кто-то бросил реплику.

— Ну и убедил!..

Кто-то предложил принять Кисляка в комсомол.

После этого выступил один из членов бюро ячейки.

— Я прошу слова... Я считаю, что мы не совсем серьезно подходим к этому вопросу. Я не имею никаких мотивов, вернее, доказательств, но считал и считаю, что в комсомол Кисляку еще рано. Порвать с родителями-торговцами не такое уж геройство, как думают некоторые товарищи...

Его перебили.

— Если нет мотивов, зачем вылезаешь?

— А ты разве испытал, что это за геройство?

Комсомолец продолжал.

— ...Пусть поработает еще, в комсомол успеет. Пусть покажет себя.

— Правильно,— крикнул Алесь,— пусть докажет, что он порвал с торговцами-родителями, а то слова, брат!..

В зале зашумели. Опять выступил секретарь ячейки. Он обратился прежде всего к Алесю.

— Я не знаю, что Алесь хочет от товарища?

— Я скажу, что я хочу,— ответил Алесь.

— ...Мы имеем дело с товарищем,— продолжал секретарь,— который порвал, я подчеркиваю, который порвал с родителями-торговцами. Нельзя же обвинять товарища в том, что он родился от торговца.

— Я не в том его обвиняю,— ответил Алесь.— Но у нас бывает так, что примем, не зная, а потом...

— Товарища знают, если бы никто не знал, а то... Надо же слушать, что говорил Пипиков, член партии...

— Я слышал, но Пипиков меня не убедил.

— Ну, тогда скажи, чего ты хочешь, и пускай он скажет. Я полагаю, чтобы Алесь и Никита сказали собранию, чего они хотят...

— Да иди ты, я сказал, чего я хочу, и все.

В зале засмеялись.

— Если так, я голосую. Кто за то, чтобы постановление бюро ячейки утвердить? Считайте... Кто против... воздержался?..

В зале было тихо. Подсчитывали голоса.

— Двадцать два — за и девятнадцать — против. Принимается.

* * *

В городе, где служил Денис Смачный, было техническое учебное заведение типа техникума. В этом году набирали туда всего сорок пять человек учащихся. Отбор был самый строгий.

Сын Смачного только закончил семилетку, и Смачный хотел, чтобы сын обязательно попал в это учреждение, а не в какое-нибудь другое.

Вечером Смачный написал сыну заявление, подобрал необходимые документы и решил сам сходить к директору учебного заведения и поговорить с ним о сыне. «Хоть он и беспартийный,— думал Смачный,— это даже и лучше, легче будет с ним разговаривать. Человек он известный, пользуется влиянием и может все сделать... Преступления я этим никакого не совершаю...»

Улучив время, Смачный пошел к директору. Когда зашел в кабинет, запросто подал директору руку.

— Добрый день, Артем Семенович. Простите, что я прямо так к вам. Я — Смачный, работаю в...

— Садитесь. Очень рад. Чем могу быть полезен?..

Смачный сел и снял фуражку.

— Еще раз простите меня, Артем Семенович. Я к вам по очень щепетильному вопросу. Относительно своего сына...

— Так, так...

— Сын хочет учиться только в вашем заведении и больше нигде...

Директор не понимал Смачного, не знал, что тот хочет.

Смачный сбился, заметив удивленный взгляд директора, и перевел разговор на другое.

— На днях я получил письмо от одного знакомого студента, агронома. Пишет, что у них разоблачили и исключили из техникума сына бывшего крупного помещика.

Директор уже совсем не понимал Смачного, но слушал и даже вставил свое замечание.

— Да, да. Исключают. Бывают случаи.

— Но я считаю это не совсем нормальным...

— Что? Смотря какой факт. С кем имеем дело...

— Я согласен. Но можно ли так ставить вопрос, чтобы не дать образования детям социально чуждых нам групп населения?

Директор молчал.

— Я это говорю потому, что у нас в этом вопросе очень пересаливают, перегибают палку...

— Может быть, может быть. Наверное, так бывает...

— Да, да. Я знаю много фактов, убедительных фактов.

— А вы возьмите хотя бы вопрос так называемой пролетаризации. Вы знаете, как это получается?

Смачный хотел во что бы то ни стало попасть своей беседой в тон настроения директора и потом опять вернуться к разговору о сыне.

— Возьму для примера себя. Я даже коммунист, я работаю, но я интеллигент. А курс на пролетаризацию — это курс на рабочих, батраков, крестьян, и получается, что мы — интеллигенция, не имеем возможности учить своих детей. Выходит, что наши дети тоже фактически не имеют права на образование...

— Да, да...

— Получается как-то немного странно. Пролетаризация,— а нам, интеллигенции, негде детей учить, или если хочешь, бери то, что остается, самые худшие места. Но выбирай, где ты хочешь, а где место тебе останется. А разве мы, вот хотя бы вы, Артем Семенович, не такие пролетарии?.. Разве в том дело, что один физическим трудом занимается, а другой умственным?

— Это последнее имеет все-таки значение, с этим

нельзя не считаться. Мы, интеллигенция, имели большие возможности и прежде учиться, поэтому сейчас не страшно, если немного и потеснимся. Люди физического труда получили право на школу, науку только с революцией... Это надо учитывать... Но с вами иное дело, вы же коммунист...

— И все равно, как видите. Коммунист, но — не пролетарий, и потому такое же положение, как и обычного беспартийного интеллигента. Коммунист — и иду к вам, Артем Семенович, к беспартийному интеллигенту, просить за сына... Хи-хи-хи...

Директору надоела беседа со Смачным. Он поднялся со стула и начал ходить по кабинету.

— Да. Есть много ненормальностей, недоразумений... А дело вашего сына обязательно в ближайшие дни рассмотрим, я внесу на комиссию, и постараемся принять...

Кто-то шарил за дверью ботинком и кашлял. Директор с еще большей нервозностью заходил по кабинету.

— Есть ненормальностей еще много...

Смачный подошел к нему у двери, наклонился к лицу.

— Хочу вам рассказать один факт из деятельности нашей милиции. Типичный факт. Как милицейский начальник взял у крестьянина жену силой...

Смачный рассказывал о факте, который ему сообщил недавно его коллега по службе. Директор слушал его и часто, нервно стучал носком ботинка по полу. Закончив рассказ, Смачный захихикал.

— Хи-хи-хи!.. Типичный факт... Это может быть только у нас, в советской стране... До свидания... Благодарю...

* * *

Секретарь ячейки получил письмо. Он два раза прочитал его и ничего не мог понять.

«Что за черт? Прямо наваждение».

Позвал еще одного товарища из бюро ячейки и показал ему письмо. В письме ровным канцелярским почерком было написано:

«Дорогие товарищи!

Как мы все должны, согласно призывам коммунистической партии, заботиться о пролетарской, коммунистической чистоте рядов нашей любимой партии и наших советских, пролетарских ВУЗов, что сила наша и победа в тех кадрах спецов, которых мы сами готовим сегодня.

А чтобы не наготовить каких-нибудь врагов на свою голову, мы должны оглянуться, кого же готовим? Каждый честный гражданин Советского государства должен заботиться об этом, и я выполняю лишь свой прямой долг и сообщаю, что в Вашем техникуме учится один студент Шавец Алесь. Кто ж такой этот Шавец, который уже три года жрет советские деньги, деньги трудящихся? Этот Шавец Алесь Никитович является сыном бывшего служащего полиции. И я, как гражданин Советского государства, считаю, что его надо из техникума и из партии выгнать и взыскать с него деньги, которые государство истратило за три года его обучения. Если бы не такие пролазы, как Шавец Алесь, на их месте могли бы учиться еще многие рабочие и крестьяне».

Под письмом стояла буква «К», от которой вниз был сделан хвостиком какой-то вензель. После этого автор объяснил, что он не подписывает письма, потому что боится, што Шавец будет мстить ему.

Секретарь держал письмо перед носом товарища и спрашивал:

— Ты понимаешь?..

— Я не верю этому. Не может быть. Алесь очень добросовестный, искренний. Я не верю.

— И я не хотел бы верить, но черт его разберет, братец. Добросовестность, искренность — это все такие понятия... Я вот сейчас думаю, почему он так активно выступал за исключение Миронова, против приема в комсомол Кисляка? Не потому ли, чтоб самому скрыться, отвести от себя подозрения?..

— Брось. Это глупость. Я эти его выступления не так понимаю. Он искренне выступал.

— Но все же я думаю послать запрос...

В комнату вошел Алесь.

— Везет нам, хлопцы,— крикнул он с порога,— ей-богу везет. Гляньте только! Я недаром говорил на собрании о классовой бдительности, посмотрите!..

Алесь подал секретарю письмо — клочок бумаги в клетку, исписанный кривым, неразборчивым почерком.

— И на все сто,— говорил дальше Алесь,— верю этому письму, нутром верю.

Он начал читать письмо. В нем было написано следующее:

«Я хоть и знаю, что Ключинский будет, может, меня и преследовать, но сообщаю, что Стефан Корч, который учится, не есть Корч, а Ключинский. А было это так, что он обманул своего батрака и на его документы поехал учиться. Чтобы вы не сомневались, я пишу свой адрес и фамилию, и имя. О том, моя ли правда, спросите у нас кого хотите».

Дальше шла подпись и адрес.

Член бюро не сдержался и захохотал. Алесь глянул на него и не понял.

— Ты смеешься, удивлен? И я, брат, удивлен, как это я три года с ним прожил и ничего не знал? Я этому заявлению верю и пришел вас спросить, как поступить профкому. Я намерен послать запрос в райисполком и в сельсовет и почему-то твердо уверен, что ответы подтвердят это заявление.

— Надо послать запрос.

— Да, надо...

Алесь взял письмо и вышел. У ворот техникума его догнал член бюро ячейки.

— Давай пройдемся, погуляем.

Шли.

На улице предвесенние дни. На тропинках свежевыпавший чистый снег. Ветви деревьев усыпаны снегом, стали мохнатые. На деревьях шумно кричат галки. Алесю хочется говорить почему-то об этом, об образах уходящей зимы.

— Я люблю зиму,— говорит он,— в ней много прекрасного. Всегда, когда я иду в метель или во время оттепели, на меня находит какая-то радостная тоска. Особенно вот сейчас. Радуюсь весне, и немного жаль зимы...

— Поэзия. А я о жизни думаю.

— Надо думать о жизни, особенно в твоем возрасте.

— Я не об этом. Я думаю, сколько вот не наших людей пристроилось к нашей жизни и живут вовсю. И мы их иногда согреваем возле себя, делимся с ними плодами революции...

— Правильно,— подтвердил Алесь,— я об этом не раз говорил. Я всегда буду говорить, что мы слишком жалеем всех и поэтому не умеем отличить чужого, врага. Это потому, что мы спокойно живем вот уже несколько лет и забыли про опасность.

— Да. Вот идешь по улице, рядом, за тобою, навстре-

чу идут люди, и среди них есть, наверное, такие враги. Такой сегодня с нами в одном учреждении, клянется нашим именем, или на одной с нами скамье сидит в техникуме, а завтра, если бы изменились условия, он бы тебе голову открутил.

Говорил и все время всматривался в Алеся, не изменится ли он, не будет ли на нем что-нибудь заметно. А Алесь остановился, схватил его за плечо.

— Ага! И ты по-моему? Я, брат, всегда так думал... Это, может, и неправильно, но я иногда об этом думаю. Вот обучаем мы в наших школах и детей спекулянтов и других наших врагов, а не растет ли из их числа наш самый заклятый враг? Слишком сложная наша жизнь.

Алесь говорил и все больше распалялся.

В техникум друзья вернулись поздно ночью.

* * *

Назавтра член бюро зашел к секретарю с самого утра.

— Я считаю, что не надо посылать запрос на Шавца, пока не поговорим с ним. Вызывай его. Он скажет правду, он очень искренний.

— А я считаю, ты ошибаешься. Ты берешь на веру слова о ненависти к врагам, а я, как подумал еще вчера вечером об этом, так и решил, что он такой и есть, как в письме пишут.

— Неправда.

— Я позову его, но уверен, что это ничего не даст.

— Он правду скажет!..

— Да позову уж, чего ты...

Через час Алесь был в комнате секретаря.

— Чего звал? Новость какая? — спрашивал он.

— Новость, да еще, брат, какая!

— Ну, говори!

Секретарь не чувствовал даже нотки тревоги или испуга в голосе Алеся. Тогда он сменил тон.

— Я хочу говорить с тобой серьезно. Ты ответь мне на некоторые вопросы.

— Давай, ну! Что еще такое?

— Кто твой отец?

— Мой отец? Он умер в прошлом году.

— Но что он делал?

Алесь еще ничего не понимал.

— Насколько я помню по словам матери... До пятнадцатого служил писарем в канцелярии какой-то в В. Оттуда пошел на войну, а как вернулся с войны, так с той поры жил в хозяйстве... Ну?

— Кто тебя хорошо знает? Где ты вступал в партию?

— И в комсомол, и в партию я вступал в своей волостной ячейке. Там все меня знают. Да что ты целый допрос учинил! Следствие какое-нибудь или что?

— Служил ли твой отец в полиции?

Алесь молчит. Он смотрит на секретаря и не понимает вопроса. Он напрягает память и хочет вспомнить, не говорила ли когда-нибудь мать про службу отца в полиции. Не слышал таких слов.

— Не служил. Я ни разу не слышал об этом. Разве сведения есть какие-нибудь об этом? Ты скажи толком.

— А может, ты таки знаешь кое-что, а?

Алесь вскочил с табурета.

— Ты что это, издеваться надо мной решил? Не веришь? Я даже от матери такого не слышал про отца.

— Ага! Ну, хорошо. В ячейку поступило такое заявление. Мы посылаем на место запрос.

— Я требую проверить это. Это чудовищно. Я ничего не понимаю... Агитировал за очистку от чужих, а сам чего доброго в чужие попаду.

Алесь попробовал улыбнуться.

Секретарь иронически поморщился, в морщинах скрывал ироническую усмешку.

— Бывает...— проговорил он.

Это обидело Алеся.

— Я требую безотлагательной проверки заявления. Еще раз говорю, что ничего подобного даже от матери не слышал.

Алесь вышел, зло стукнув дверью.

С этих пор потянулись тяжелые для Алеся дни ожидания. Друзья еще ничего не знали, но все стали замечать в нем перемены. Он меньше шутил, все больше старался нарочито быть в одиночестве. Часто его мозг сверлила мысль.

«Не поверят, наверное, не поверят. И правильно, трудно поверить, если об этом я сам ничего не знаю...»

Спустя восемь дней его опять позвал к себе секретарь. Перед ним на столе лежало свежее письмо.

— Я хочу все-таки еще раз с тобой поговорить по ста-

рому вопросу,— обратился он к Алесю.— Ты прямо скажи, служил ли твой отец в охранке?

— Уже даже в охранке! Ты скажи, что ты задумал? Я ведь отвечал тебе на этот вопрос.

— А если я покажу документальные данные? Что тогда?

— Ты шутишь? Оставь!..

— На, читай!

Алесь читал:

«На ваш № 53 Г-кий райисполком сообщает, что, по имеющимся данным в ГПУ, Никита Шавец, отец Алеся Шавца, в дореволюционное время служил агентом охранки, а в годы войны в контрразведке Н-ской действующей армии. При жизни после революции к советской власти относился лояльно».

Шли подписи председателя РИКа и секретаря фракции. Секретарь взял бумажку из рук Алеся, свернул ее и положил в конверт.

— Ну, как? Ты скажи, не знал об этом?

Алесь не отвечал. Он только глянул на секретаря внимательно и отошел к двери.

— Я ничего не знал... Я ничего не понимаю...

— Не говори глупостей, а лучше ответь на вопрос.

— Я не знал...

— А почитай это!

«Относительно службы его отца я ничего не знал и никогда не слышал ничего от Шавца, ни от других, а вот знал ли об этом сам Шавец или нет, я за это не поручусь...

С коммунистическим приветом.

Д. Смачный».

— Ты его знаешь?

— Очень хорошо знаю, и он меня тоже.

— Ну, так как же ты все-таки? С партией, братец, не шутят. Надо правильно говорить. Ты скрывал свое социальное происхождение, написал, что отец когда-то был служащим одной из канцелярий, а потом крестьянин-бедняк, аж оно вон что! Зачем ты это делал?

— Но я ничего не знал. Из того, что я знал, я не утаил ни одного слова. Если б я знал, знала бы и партячейка, принимавшая меня, знали бы, наверное, соседи... Как же это?

— Тебе об этом лучше знать, чем мне.

У Алеся побледнело лицо от волнения, он весь дрожал. Ближе подступил к секретарю.

— Ты что ж, думаешь, что я действительно знал и скрывал? А?

— Зачем думать?.. Разве не так? Вот чудак!..

— Ты... ты...

Алесь рванулся от стола к двери и вышел.

Белыми кружочками падал густой снег. Снег ложился пухом на вспотевшее лицо и таял, оставляя неуловимый след. Алесь шел по тротуару в конец улицы.

«Неужели это правда? Как же тогда? Мне могут не поверить, как и этот... Нет, нет, товарищи поймут, они поверят, они же меня знают. Они поверят, что я не обманывал, что я не знал...»

Алесь долго стоял у крыльца техникума и сквозь дырку в заборе с другой стороны улицы смотрел на заснеженную землю сада, на деревья, белые от снега. В сердце появилась и нарастала сильная, жгучая обида на отца.

А снег пошел еще гуще, и один за другим падали на вспотевший лоб Алеся кружочки снежинок.

* * *

Когда председатель В-ского райисполкома прочитал присланный из техникума запрос на Стефана Ключинского, он сразу вызвал к себе деловода денежной части и, пока тот стоял перед столом, написал на углу бумажки:

«Денежной части РИКа.

Выслать в техникум сведения об имуществе Ключинского и налоге, который он платит, и при этом сообщить, что он ведет культурное хозяйство».

— Это им интересно будет, ибо и техникум ведь сельскохозяйственный,— сказал он.

Деловод взял бумажку с резолюцией председателя и, немного подумав, написал сельсовету предложение дать надлежащие сведения, вложил ее в конверт и сдал в канцелярию исполкома.

Через неделю из сельсовета за подписью председателя и секретаря Совета пришло сообщение следующего содержания:

«Дана таковая в том, что хозяйство Ключинского состоит из двух коров, одного коня и жеребенка, четырех старых помещений во дворе и гумна и является культур-

ным хозяйством. Налога Ключинский платит в этом году сорок девять рублей и 82 копейки».

Деловод финансовой части взял это сообщение и внизу вслед за подписью председателя и секретаря сельсовета написал:

«Собственноручные подписи председателя и секретаря Н-ского сельсовета, товарищей таких-то. В-ский райисполком свидетельствует».

Перед тем, как написать это, деловод пересмотрел поселищный список деревни, в которой жил Ключинский, и подумал:

«Пусть так и идет бумажка от имени сельсовета, он и отвечать будет, если что заварится, а мы подпись заверим и все».

* * *

Собрание партячейки техникума на этот раз собралось аккуратно, как никогда. На собрание пришло много беспартийных, и зал был полон еще до начала собрания.

За три дня до собрания бюро ячейки рассматривало дела Ключинского и Алеся Шавца. После заседания бюро уже все знали, что Алесь обвиняется в карьеризме, в том, что скрыл свое подлинное социальное происхождение. Это стало темой горячих бесед и споров. Часть партийцев верила Алесю, его заявлению, в котором он объяснял, что ничего не знал о таком прошлом своего отца, и защищала Алеся, а другая часть зло нападала на него и ничего не хотела слышать в его оправдание.

Сам Алесь последние дни старался меньше встречаться с товарищами и побольше оставаться наедине. Это его поведение у тех, кто понимал его, вызывало сочувствие, а другим давало еще одну зацепку для обвинений.

На собрание Алесь пришел тоже позже других и сел сзади, на краю скамьи. Соседи по скамье, до этого о чем-то бурно спорившие, сразу примолкли.

Алесь сидел молча. Он хотел досконально разобраться в событиях, разыгравшихся в последние дни вокруг него.

В связи с этим он по нескольку раз передумывал свои поступки как комсомольца и партийца в прошлом. Припомнил два случая выпивки с друзьями и злился на себя за это. Вспомнил, как в первый год, когда стал комсомольцем, пошел из-за девчат на всенощную и пел в цер-

ковном хоре во время крестного хода. Никак не мог простить себе этого поступка. До мелочей вспомнил все, что случилось за эти, прожитые в партии и комсомоле, годы, и, как ни напрягал мозг, не веря даже себе, не мог припомнить, чтобы слышал что-нибудь о прошлом отца. Не поинтересовался как-то этим, а отец никогда ничего о своей службе в охранке не говорил. Негодовал, нервничая, на себя, что не расспросил подробно отца о его прошлом. Из-за этого крепла обида на отца.

Ощущение своей невиновности в скрытии социального происхождения и ощущение виновности за другие поступки, припомнившиеся из прошлого, и обида на отца нервировали и мучили. Особенно мучило его неверие окружающих в его невиновность. Он никак не мог понять этого. Отдавшись своим мыслям, Алесь не слышал, как началось собрание и как секретарь ячейки говорил по делу Ключинского. Он уловил лишь последние слова секретаря, предлагавшего дело Ключинского, как неоформленного еще кандидата партии, передать на рассмотрение педсовета, чтобы педсовет решил вопрос об его исключении из техникума.

Собрание ждало дела Алеся, и потому никто не стал говорить о Ключинском. Предложение секретаря приняли.

К делу Алеся готовился и зал, вдруг громко зашумевший, и секретарь ячейки, с видом какой-то торжественности разложивший перед собою листки блокнота, исписанные карандашом, и документы по делу Шавца. Он склонился над столом и перечитывал написанное на блокнотных листках. Потом выпрямился и два раза кашлянул, что означало начало его выступления. Председатель позвонил, чтобы успокоить собрание.

Из зала кто-то нетерпеливым, злым голосом крикнул:

— Тише! Слушайте, черт вас...

Секретарь выждал, пока собрание утихло, и начал говорить. Он подробно, с подчеркиванием отдельных мест своей речи, рассказывал всю историю «дела Шавца», как он назвал этот вопрос.

— Когда я в первый раз,— говорил секретарь,— вызвал Шавца и спросил, кто его отец, он наивно ответил, что его отец в прошлом году умер. Когда я потом спросил что делал его отец до революции, он повторил слово в слово то, что при поступлении в техникум написал в анкете.

Когда я спросил о службе отца в полиции, Шавец категорически отрицал это и даже обиделся на меня... Когда же наконец я вторично вызвал Шавца и поставил перед ним этот вопрос ребром и показал ему документ, что его отец служил в охранке, тогда он заявил, что ничего не знал о службе отца. Как видите, последовательности у Шавца не хватало...

Секретарь на мгновение замолчал. В зале кто-то словно про себя проговорил:

— Хорошенькое, не знал...

Тогда кто-то крикнул секретарю:

— Не мудри, а говори, что надо...

Секретарь опять говорил.

— ...А в последний раз, когда я показал Шавцу письмо от его лучшего друга, партийца, не поручившегося за него, Шавец ничего лучшего не придумал, как стукнуть дверью и убежать... Нам Шавец заявил, что он ничего не знал о службе своего отца в охранке. Было бы лучше, если бы Шавец на этот вопрос дал искренний ответ. Он его не дал. И как можно верить тому, что он не знал? Как это он не знал о своем отце, с которым столько лет прожил?.. Пускай каждый из вас, товарищи, на себе это проверит... Для нас совершенно ясно, что не знать этого Шавец не мог. Он скрыл прошлое своего отца от всех нас, а на собраниях всегда горячо распинался за классовую ненависть к врагам, за чистоту идеологии в техникуме. И тут подходит поговорка: когда вор хочет убежать, он громче всех кричит: держи вора!..

Секретарь прочитал постановление бюро ячейки и замолчал. Собрание зашумело и долго не могло успокоиться. Председатель подождал немного, потом стал звонить. Спросил, кто хочет слова.

Зал не откликался и шумел. Кто-то крикнул, чтобы дали слово Шавцу. Зал поддержал.

Алесь вышел и стал на сцене. Он прямо смотрит в зал на друзей, хочет разгадать их мысли, их настроение и волнуется. Зал молчит и ждет. Тогда Алесь сказал:

— Мне очень трудно оправдываться, очень трудно, потому что вам трудно поверить в то, что я ничего не знал о прошлом своего отца. Но я как партиец заявляю еще раз перед всем собранием, что ничего не знал. Больше я ничего сказать не могу...

Обида болью сжимала грудь. Хочется Алесю крикнуть

что-то такое, чтобы его поняли, и оттого, что не находит для этого крика слов, хочется плакать и идти на холодную улицу, в снег, чтобы никто не видел его.

А зал шумит, тоже волнуется.

Кто-то кричит из зала, чтобы Алесь не финтил и говорил правду. Он не слышит крика, сходит со сцены и опять садится на свое место. На сцене уже кто-то другой говорит.

— Я не знаю, правду ли говорит Шавец, но когда я с ним дружил, он мне во время каникул прислал письмо, полное пессимизма. В письме он писал, что его родители живут бедно, будто нищие, и что ему их очень жалко... Я думаю, что этот факт любопытный...

Алесь хочет узнать по голосу, кто это говорит, но тот умолкает, и председатель дает слово новому. Алесь, не поднимая головы, чтоб не заметили друзья, как он волнуется, слушает.

— Шавец хитер,— говорит этот новый,— он умел очень удачно маскироваться и отводить от себя всякую подозрительность. Достаточно вспомнить, как он кричал о классовых врагах, словно первый большевик... А еще, я думаю, стоит припомнить, как он яро нападал на групповых занятиях на комсомольцев, крестьянских и рабочих хлопцев, за идеологические ошибки. Эти явления надо рассматривать вместе. Этим он хотел всегда показать свои знания и политическую грамотность. Что это, если это не мещанский эгоизм... Он примазался к партии и своими криками делал себе карьеру... Я предлагаю исключить его без всяких разговоров...

Зал дружно зашумел в ответ. Кто-то в углу захлопал в ладоши. Кто-то крикнул, что выступающий мелет бессмыслицу.

На сцене член бюро ячейки.

— Я на бюро голосовал против исключения Шавца из партии,— говорит он.— Никто не отрицает, что его отец служил...

Из зала несколько голосов прерывают его криком:

— Он сам отрицал!..

— Он не отрицал, а заявил, что не знал. Дело и должно разбираться, знал он или нет. Мы все Шавца знаем как искреннего честного партийца. Я верю, что он ничего не знал...

По залу пронесся дыханием некоторого удовлетворения шум тихих голосов.

— Верю, ибо стоит только подумать, чем можно оправдать обвинение? Только формальным доводом, как это он про своего отца и не знал? На первый взгляд это очень веский аргумент, а по существу это только голый формальный довод. А как мог Шавец знать про отца, что тот в охранке служил? Он в семь лет поехал в деревню с матерью, а отец на войну. Отец во время службы не мог говорить правду о себе, тогда бы он не был служащим охранки, если б об этом знали. После революции он не мог говорить об этом, потому что боялся, чтобы его не привлекли к ответственности. Почему ж нам не учесть это? Я это вполне допускаю и, зная Шавца, голосую против исключения из партии. За исключение только голый формализм.

Говорили еще многие за Алеся и против. Выступления часто перебивались репликами, вопросами, шумом одобрения, согласия или несогласия. После выступления члена бюро ячейки в защиту Алеся собрание ощутило некоторое облегчение. Многие для себя решили после этого, как голосовать.

Поздно ночью секретарь объявил предложение бюро ячейки об исключении Шавца Алеся из членов партии и из техникума за скрытие своего социального происхождения.

Алесь боится поднять голову, чтоб посмотреть, как голосуют, он боится, что большинство будет против него. По шороху рубашек и по шуму в зале он догадывается, что за постановление бюро дружно подняла руки целая группа партийцев. Недалеко от себя он услышал вопрос:

— Как ты?

— Я против исключения,— ответил другой голос.

— А почему? А если правда, что он утаил?..

И говоривший поднял руку.

За постановление бюро ячейки насчитали одиннадцать человек. Когда начали считать, кто против, оказалось тоже одиннадцать. Зал немного умолк, а потом дружно зашумел.

— Считай заново! Заново!

Секретарь ячейки развел руками.

— Одного же голоса еще не хватает, может, кто вышел или не голосовал?

— Это я забыл руку поднять, я не голосовал,— откликнулся председатель собрания: — За шумом забыл...

— А за что ты голосуешь? — закричали в зале.

— Я отдаю свой голос за бюро ячейки.

В зале опять зашумели. Секретарь объявил, что двенадцатью голосами против одиннадцати Шавец исключается из партии.

Собрание расходилось. Алесь поднялся и пошел к двери.

Когда проходил мимо одного из друзей, с которым работал всегда в лаборатории, тот отвернулся.

У самой двери кто-то гадкими словами бросил в лицо Алесю:

— А как других чистил? Все они такие!

Ему ответил другой.

— Теперь его карьера кончена!..

Алеся душила обида. Он рванулся от двери и почти бегом по коридору бросился на улицу. Холод, обдавший лицо, вернул его к реальности, и от этого обида стала еще сильнее. Он пошел медленно по улице, дошел до городского сада и там сел на скамью. В стороне техникума умолкли голоса возвращающихся с собрания. На улице время от времени скрипели шаги спешащих домой людей. В саду скоро погасли фонари, и густые сумерки завладели садом.

Алесь откинулся на спинку скамьи, положил на руки голову и так лежал. Он не чувствовал, как стыли ноги, как мороз все сильнее щипал щеки, нос, уши и тонкими струйками от ног разливался по всему телу и обнимал его. Не слышал, как кто-то подошел к скамье и тронул за плечо. Это был член бюро ячейки. Он испуганно дернул его за воротник куртки. Алесь открыл глаза, поднялся со скамьи и почувствовал, что ноги болят, окоченели, и сами зубы от этого начали часто стучать. Тело дрожало. Товарищ взял его за рукав куртки и тянул домой.

— Ты это что ж, простудиться нарочито захотел, или что? Нашел время, когда в саду сидеть... Брось так переживать. Я тебя заверяю, что в партии ты останешься. Завтра же напиши подробные заявления в контрольную комиссию и в апелляционную комиссию, чтоб восстановили в правах студента. Я напишу от себя... А убиваться так не надо.

Алесь, словно чужими ногами, ступал по тротуару. Теперь он почувствовал всю силу холода. Тело его дрожало, а зубы не переставали стучать.

Товарищ шел рядом, держал его под руку и взволнованным голосом уговаривал:

— Ты это напрасно так болезненно реагируешь на все. Из партии тебя не исключат, будь уверен... А то вон что надумал...

* * *

Когда Алесь открыл дверь физического кабинета и хотел войти, преподаватель загородил собою дверь и объявил, чтобы слышали все студенты:

— Директором запрещено всем преподавателям допускать вас, как исключенного, на лекции и запрещено принимать от вас зачеты. Вот и все.

Алесь повернулся и, не прикрыв двери, пошел к директору.

— Я подал апелляцию и считаю неправильным распоряжение, чтобы не допускать меня на лекции,— говорил он.

Директор спокойно смотрел на Алеся и отвечал:

— Вы еще слишком молоды, чтобы объяснять мне, что правильно, а что нет. Апелляция — это ваше личное дело. Вы могли писать хоть десять апелляций, но сейчас у меня есть постановление педсовета, которым я руководствуюсь. На основании этого постановления я распорядился лишить вас стипендии и интерната и довожу до вашего сведения.

— Как же это... я ведь подал апелляцию, меня исключили неправильно. Я уверен, что меня восстановят...

Директор усмехнулся.

— Относительно правильности — я не знаю, спросите об этом секретаря ячейки... Я только сообщил вам, молодой человек, о том, что я сделал во исполнение постановления...

Алесь вышел из кабинета директора и медленно начал ходить по коридору, чтобы обдумать свое положение. В свежевывешенном номере стенной газеты была напечатана статья об его исключении из партии и из техникума. Над статьей большими буквами были выведены слова:

ЖЕЛЕЗНОЙ МЕТЛОЙ ВЫМЕТЕМ ИЗ ПАРТИИ
И РЯДОВ ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
КЛАССОВЫХ ВРАГОВ.

Алесь не дочитал до конца статьи и вышел во двор. Все в техникуме и вокруг него больно напоминало то, что

недавно случилось... От этого хотелось бросить все и идти куда глаза глядят. Только сочувствие многих партийцев и их обнадеживания немного помогали сохранять спокойствие и терпеливо ждать решения дела. Они собрали немного денег и внесли их за Алеся в столовую техникума. Спал Алесь в эти дни на одной койке с товарищем.

Через пять дней после того, как послал заявление, Алесь направил в апелляционную комиссию запрос, в котором просил сообщить ответ на свое заявление. Еще через двенадцать дней из комиссии был прислан открыткой ответ. На открытке машинкой было напечатано несколько ничего не говорящих слов.

«Ваше дело находится в стадии решения.

Председатель комиссии П. Заслонка».

А в тот же день вечером в комнату к Алесю зашли группой товарищи и принесли ему еще двенадцать рублей.

— Стадия решения — ты сам знаешь, что это означает. Садись в поезд и сегодня езжай туда. Требуй, чтобы при тебе решили вопрос.

— Надо ли? Может, обождать постановления контрольной комиссии?

— Надо. Контрольная комиссия восстановит тебя в правах члена партии, будь уверен. Проверит и восстановит. А это надо сейчас решить, потому что через две недели конец занятий.

— Езжай! Обязательно!

В десять часов утра на второй день Алесь стоял недалеко от двери комнаты, в которой находился председатель апелляционной комиссии, и ждал приема. Он уже несколько раз прочитал наклеенную на дверь комнаты бумажку, что прием по делам апелляций происходит с двенадцати до двух часов. В приемной сидело на табуретах еще три человека. Они о чем-то тихо беседовали между собой.

На стене часы пробили двенадцать. Алесь видел, что обе стрелки часов сошлись на цифре двенадцать, но вслед за каждым ударом считал:

«Один, два, три, восемь...»

Люди, сидевшие на табуретах, беседовали между собой. Алесь решил, что они здесь по какому-нибудь другому делу, и, подождав еще минуты две, зашел в комнату председателя комиссии.

Председатель апелляционной комиссии Парамон Заслонка сидел, низко наклонившись над широким столом и, вонзив взгляд узеньких глаз в лицо Алеся, слушал. Когда Алесь кончил, он долго молчал, все так же глядя в лицо Алесю, потом поднялся со стула, засунул левую руку в карман брюк, в правую взял толстый, с синим и красным концами, карандаш и начал, размахивая карандашом, говорить.

— Я ничего вам обещать не могу. Дело ваше рассмотреть сейчас не можем. Я уже сообщал вам, что ваше дело находится в стадии решения...

— А когда же можно ждать решения?

— Наверное, на ближайшем заседании, если к тому времени будут выяснены все обстоятельства... Можете подождать, если хотите...

— У меня со средствами трудно, мне товарищи собрали, я долго ждать не могу...

— Тогда возвращайтесь...

— Я ведь вам говорил, что там меня выгнали из общежития, лишили стипендии.

— Это дело вашего директора, а я здесь ни при чем. Если хотите, подождите, я поставлю ваше дело на ближайшее заседание... Но меня, все же, знаете, удивляет, как это вы ничего не знали о своем отце? Вы понимаете, что ваше оправдание совсем беспочвенное. Оно никак не вяжется с логическими рассуждениями... Вы упрямо утверждаете, что ничего не знали. А как же это вы могли не знать про своего отца? А?

Алесь молчал. К горлу все ближе подступала комочком обида. Вот-вот она сожмет горло, и тогда Алесь не сумеет произнести ни одного слова.

— Ну, а даже,— продолжает Заслонка,— если и правильно, что вы не знали про отца, он все-таки в полиции, в охранке служил?..

— Служил, но...

— Ну, что «но»?.. Это «но» ничего еще не значит. Вы, я на минуточку допускаю, могли и не знать, но отец ведь служил в охранке. Вы по происхождению социально чуждый советской школе, значит...

— Но при чем же я? Неужели я должен отвечать за прошлое отца... Я был партийцем, работал...

Председатель поднял глаза на Алеся.

— А ячейка вас исключила?.. Тогда для меня это дело

совсем ясное, бесспорное... Нечего и голову ломать. Могу вам в таком случае, хоть это и нелегко для вас, заранее сказать, что комиссия подтвердит постановление педсовета... Да... Прощайте.

Заслонка опять сел на стул. Алесь постоял немного перед столом, оглядел комнату вокруг и, шатаясь, вышел. Ноги его дрожали так, что он не мог спуститься по ступеням со второго этажа и, опершись на перила, остановился отдохнуть.

Потом долго еще стоял на высоком крыльце у двери дома, где помещалась комиссия, думал, куда пойти.

«Может, стоит к Смачному зайти, ему рассказать?.. Может, он поймет? Нет, не стоит... не стоит обременять его этим делом, лучше так пускай...»

Сошел с крыльца и ближайшей улицей направился в сторону вокзала.

* * *

Весь день Алесь на товарной станции сгружал с железной платформы каменный уголь. Когда работа была закончена, он в конторе получил расчет за неделю случайной работы и пошел в сад. Выбрав в середине сада место на скамье, он достал из кармана блокнот, карандаш и начал писать письмо. Несколько раз начинал он, потом перечитывал написанное, вырывал и начинал писать заново. Хотелось написать много, обо всем, что пережил за это время, что передумал. Но, когда брал карандаш и потом перечитывал написанные первые строки, появлялась мысль, что тот, кому он пишет, не поймет его так, как надо, искренности их не почувствует, а может, поймет как слова, написанные нарочито с расчетом на сочувствие, и Алесь комкал незаконченное письмо и отбрасывал его.

В саду начинало смеркаться. Тогда Алесь, торопясь, написал всего несколько слов на листке блокнота, вложил листок в конверт и написал адрес. Это было четвертое письмо Алеся в Минск Денису Смачному.

Когда немного стемнело, Алесь собрался на вокзал.

Уже восьмой день, как студенты техникума поехали на каникулы домой или на работу. Многие из них перед отъездом предлагали Алесю ехать вместе, а когда он не согласился, просили, чтобы он ждал, пока сообщат свой адрес ему, чтобы он обязательно приехал. Такое отношение товарищей и письмо, полученное на днях из контрольной

комиссии, обнадеживали его. Письмо было небольшое, но написанное тепло и ободряюще, хотя дело его все еще не было решено. Из комиссии по рассмотрению апелляций не было никакого сообщения.

После того как закончилась его случайная работа по разгрузке угля, в тяжелом раздумье Алесь решил оставить этот город навсегда. Сегодня получил расчет за неделю работы по рублю и семьдесят пять копеек за день. Это составило сумму, достаточную для того, чтобы поехать как можно дальше на юг в поисках работы.

Алесь медленно шел через сад, словно хотел навсегда сохранить в памяти образы знакомого сада, города. Над садом вились стаей галки и громко каркали. Деревья были уже одеты в молодые зеленые листья и заслоняли темнеющее в звездном свете высокое небо. В саду становилось все темнее. Где-то за городом, в полевом просторе, куда зашло солнце, родились сумерки и, медленно надвигаясь на город, укутывали его в громадный мягкий полог ночи.

На вокзале Алесь купил билет до одной из южных станций и, когда подошел поезд, сел в вагон. В вагоне он почувствовал себя совсем одиноким. Больно заныло сердце. Хотелось, чтобы поезд скорей отошел, чтобы забыть обо всем в большой дороге.

Когда вагон, тихонько вздрагивая, загремел колесами и покатился по рельсам, какая-то сила заставила Алеся подойти к вагонному окну и прижала его к стеклу.

За окном от вагона медленно отплывал все дальше и дальше и скоро пропал в застланной густым туманом и ночными сумерками дали город с огнями. Алесь плотнее прижимался горячим лицом к оконному стеклу и искал взглядом в темной дали оставленный город...

Мисхори — Минск, 1929 год

ПЕРЕПОЛОХ НА ЗАГОНАХ



I

Из зарослей на холм вползла подвода. Высокая дуга качалась в стороны, а под дугою, в такт ей, степенно качалась в стороны конская голова. Это продолжалось долго, и все словно на одном месте было — и дуга, и конская голова, только нарастали они и увеличивались постепенно. Потом поднялась над холмом широкая конская грудь. Казалось, лошадь легла на снег, и, поджав под себя ноги, тяжело ползет в гору. Потом она сразу поднялась над холмом и, помахивая на бегу головою, зафыркала, перебирая копытами плотно утоптанный снег.

Панас смотрит на подводу, потирает ладонями уши, а потом засовывает руки глубоко в карманы пальто и пере-

бирает пальцами подкладку, мнет ее, чтобы скорее отогрелись пальцы.

Подвода уже совсем близко. Вот она поравнялась с Панасом, миновала его и поехала дальше, оставляя за полозьями саней писклявый скрип промерзлого снега. В широких розвальнях, устланных соломою, лежал человек, укутанный в кожух. Голова его была укрыта пестрым большим одеялом, а поджатые ноги спрятаны в соломе. Лица не было видно, и Панас не догадался, кто это — мужчина или женщина. Рядом — мужчина в таком же кожухе, в мохнатой овчинной шапке. Ноги в валенках лежали на санях поверх соломы. Когда подвода поравнялась с Панасом, мужчина ловко поджал под себя ноги, поднялся на колена и замахал над лошадью кнутом. Та рванула сани в сторону от Панаса, наставила испуганно уши и побежала быстрее.

За подводой из-за холма выросла человеческая фигура. Человек широко машет руками, скользит сапогами по гладкой дороге и медленно идет, поглядывая под ноги. Когда он приблизился, Панас увидел, что это не Камека. А затем постоял еще несколько минут, посмотрел вдоль дороги и вернулся в хату.

— А я опять к вам, не везет мне что-то, не видно Камеки...

Произнес это, стоя в пороге, и стал шапкой сбивать с пальто снег.

Из-за печки хозяин вынес к столу скамеечку и пригласил Панаса сесть.

— Камека не придет теперь, постыдится,— сказал хозяин и отошел от стола на середину хаты, где на кирпичах стояла железная печурка. Там он сел на круглой колодочке и стал вытряхивать на газетный обрывок из старого кожаного кисета мелкие потертые зерна махорки.— Пускай бы, Панаска, товарищи нам больше махорочки возили,— сказал он,— мы бы тогда послушными были, а то даже закурить нечего: дадут пачку на неделю, а я ее за день в компании скурю.

Он замолчал на минуту, думая, что Панас ответит на эти его слова про махорку, но не дождался и заговорил сам.

— ...А опять же, подметку если взять или сапоги, скажем. Это ж смеются над нами люди, и все тут: девять пар сапог дали на сто тридцать семь хозяев! Разве мысли-

мо... А кругом босые, а весна близко, каждый боится, что не будет в чем на работу в поле выйти...

На кровати, опершись руками о спинку, сидела Галина.

— До работы еще привезут и сапог, и лаптей,— сказала она.

— Так вот и привезут, только жди...

Хозяин достал из печурки, из самого огня, уголек, перебросил его несколько раз с ладони на ладонь, пока уголек немного потемнел, закурил, держа уголек кончиками пальцев, и тогда закончил свою мысль.

— ...Может, еще и обуют тебя?

Зашипели на стене и прозвонили половину седьмого часы. Панас поднял голову, глянул на часы и спросил:

— Так на собрание приказывали или нет?

Хозяин глянул на жену, потом на Галину и ответил удивленно:

— Не-ет. А разве кто наказывал?..

— Камека как будто договаривался.

— Разве что без меня приказывали? Но не может этого быть,— отозвался хозяин,— никогда так не приказывали.— И, минуту помолчав, добавил:

— А на кой ляд это собрание?

— Как на какой ляд? Разве можно так оставить, как это получилось?

— А что надо?

— Колхоз.

— А если мы не хотим? Силой же этого, как говорят, нельзя, а люди не хотят, так зачем же тогда так приставать?

— Мы силой и не будем делать, соберемся, поговорим...

— Ну-ну...

В хате было темно. Галина подошла к стене, у которой сидел Панас, сняла с гвоздя лампу и начала полотенцем протирать стекло. Делала она это молча. Молча подлила керосину, подравняла ножничками фитиль, зажгла его и повесила лампу в углу над столом. Отошла и опять села на кровати.

Хозяин закурил, глубоко затянулся дымом, одним дыханием выпустил дым и проговорил:

— Ничего, братец, из этого не выйдет, напрасно ты это, Панас, ходишь.

— Почему напрасно? А по-моему, выйдет,— ответил Панас.

— А-а...— Хозяин махнул рукою.— Не выйдет...

— Попробуем...

В печурке зашипело. На хату из печурки повалил густой пар. С печи ловко соскользнула хозяйка, тряпкой выхватила из печурки чугунок и понесла его в угол к порогу, чтобы над кадкой отцедить картошку.

В хату вошел сын хозяина. Покачиваясь, он прошел через всю хату в темный угол, сбросил там старый корявый армяк и поношенный красноармейский шлем, сел на скамью и тогда поздоровался с Панасом и сразу обратился к нему:

— Полтора рубля за день я с конем заработал... Вот, товарищ Панас, как мы живем. А сколько я их поворочал, сколько покатал, собирая в кучу. А тебе за день полтора рубля!.. Крутят... Видят, что народ начал возить, так сразу цену снизили... И всегда так. В прошлом году глину на заводе копали, так сначала одну цену сказали, а как платить, так у них уже другая. А постой в глине крюком, побросай день лопатой... Насилу через суд своего добились... Я так понимаю это, товарищ, что мир существовать не будет, если мужика не будут обманывать...

Его перебил отец.

— Панас собрание созывать хочет, Камека как будто с кем говорил...

— Так, может, они и собрались у кого?

Сын неохотно поднялся, надвинул шлем, надел новый длинный кожух и ушел. А отец продолжал начатый сыном разговор.

— Правду он, братец, говорит. Обманывают мужика... Через это и не будет ничего у нас, потому что нет нам смысла никакого...

— Почему так?

— А потому, что не к лучшему, как я думаю, это, а к худшему ведет нас. И это все говорят. Ты, конечно, как партийный из города, одно твердишь, что лучше будет, а Камека свой, поглупее, наверное, позабыл, что ему в городе поручили говорить, и сказал нам правду всю... Как спросили бабы про сметанку и маслице, чтобы обед немного забелить, конечно, чтобы блин в святой день помазать, так он и сказал: забудьте, бабки, грит, про сметанку и маслице... Вот так и сказал правду горькую...

— Да что он, сдурел? Глупость это, бессмыслица. Не может быть, чтобы он такое говорил!

— Может оно и не может быть, а вот он сказал. Забыл и сказал правду... И газетку уставную мы читали, так и в газетке то самое: за хату — аренду, за сарай — аренду, а прибыль всю в фонды...

— Ну и наговорил же вам кто-то, ну и наговорил. Чушь все это.

— Кто ж его знает? Газетка ведь пишет...

— Да где вы ту газетку видели, кто ее читал?

— Читали. Возле мельницы, вот на днях...

Оба замолчали. Панас оперся локтями на стол и смотрит перед собой на чистую выбеленную скатерть. Он думает, что на собрании необходимо сказать и про аренду и про фонды. В хате тихо. А за стеною ползают глухие шорохи ветра. Мокрые пухлые снежинки облепили окно и тают. По стеклам тонкими струйками стекает вода. На мокром стекле, залепленном снаружи снегом, красивыми удивительными узорами искрится свет от лампы. От этого ночь за окном кажется еще более темной.

В печурке трещит, пылая, еловая щепа. Искры пробиваются сквозь щели в дверцах, вылетают наружу. В хате от печурки теплынь и немного угарно. От усталости ноет тело Панаса, ноют натруженные ноги, а теплынь так приятно окутывает тело и со сладкой дремотой, как бархатом мягким, укрывает его. Панасу хочется лечь на лавку и уснуть.

В стену у окна мелко, часто стучит ставня и тихо тоненько пищит ржавыми петлями:

Пи-ги-ги-и... пи-ги-ги-и...

— Устал,— говорит Панасу хозяин.— Ходишь все по людям, мало, видать, спишь...

— Нет, ничего, сна хватает,— ответил Панас и шевельнул плечами, незаметно потянулся.

— Собрания, верно, не будет. Петро где-то как сел, так и прикипел...

— Да оно так,— добавила с печи старуха,— пошли дурного, а вслед другого...

— А может собрание там,— неожиданно с кровати отозвалась Галина и поднялась.— Идем, я покажу, где это...

Она надела пальто и ждала Панаса. Выходя из сеней, предупредила:

— Не упади, порог у нас высокий, крыльца еще нету... на бревно становись.

— Не упаду, я еще хорошо вижу...

На дворе влажная густая темнота, едва видна светлая серость заснеженной земли. Галина быстро перешла двор и пошла по улице впереди Панаса. Дорога на улице неровная, узкая, нельзя идти рядом двоим. Ноги скользят и попадают в колеины от полозьев. Панасу неудобно, что он спотыкается, но он пробует идти рядом с Галиной. На улице Галина чувствует себя с Панасом свободнее, она больше разговаривает и пробует шутить. Говорит она тоном серьезным, словно приказывает Панасу, как младшему.

— По дороге иди за мной,— говорит она,— а то неровно, упадешь еще, ногу вывихнешь.

— Ничего. Мне стыдно, что ты меня, как маленького, ведешь...

— Потому что я дорогу знаю, а ты, наверное, все здешнее позабыл, не то что дорогу...

— Кое-что помню, не все позабыл...

Галина ничего на это не ответила. Тогда Панас спросил:

— Ты думаешь, что собрание там?

— Ничего я не думаю,— игриво ответила Галина и более серьезно добавила: — Вряд ли есть собрание. Наши на собрание не пойдут. Почему? Условились между собой. Они теперь сено тайком продают, картофель из буртов достают, боятся все, что сгонят в колхоз, торопятся продать все. Ночью кабанов колят и смалят.

В хате, где обычно собирались сходки, света уже не было, и Галина остановилась на улице.

— Неужели спят уже? Что-то темно в хате.

Она подошла к окну и постучала. Никто на стук не отозвался. Прислонившись к самому стеклу, Галина громко, чтобы ее услышали, спросила:

— Собрания у вас не было?

— Нет. Камека был, поссорился с бабами и ушел.

— А мой был?

— Был, тоже ушел.

Галина отошла от окна.

— Ничего, значит, не будет. Теперь пойдем домой.

По пути пошутила:

— Не боятся тебя наши, ничего ты с ними не сделаешь.

— А разве надо, чтоб боялись?

— Вот же надо... а ты разве другого не хотел бы?

— Гм... я хотел бы, чтоб меня любили, например...

— Ого, какой ты. Чтобы все тебя любили? Захотел...

— Пускай не все. Хоть бы кто-нибудь.

— А может кто-нибудь и любит?

— Вряд ли. Где там!

Галина больше ничего не сказала. Она шла молча до самого своего двора. У калитки Панас остановился, чтобы попрощаться.

— Ночуй у нас, теперь очень поздно, страшно.

— Спасибо, я пойду домой.

— Темно. Будешь бояться.

— Я не из пугливых.

— Ну, как хочешь, упрашивать я тебя не буду. Я вот только еще об этом хочу сказать. Наши разошлись, но это ничего, некоторые есть, что и пойдут. Разошлись потому, что не разбираются еще в этом. Я и сама толком еще не разбираюсь, что-то пугает, как подумаю, как это оно все тогда будет. Вот слушаю тебя и понимаю, но пугает что-то. А у нас же все такие темные еще. Ходили, говорили, пугали сами себя, а тут еще бумажка эта страху поддала, вот и разошлись... Так что ты нас не оставляй, еще уломаешь, тебя они послушаются.

— Да уломаем, я иначе не думаю. А ты, когда собрание будет, поддержи меня.

— Я-то поддержу...

Галина стояла у калитки, пока не растаяла в темноте улицы фигура Панаса и замолкли шаги, потом торопливо пошла к сеням.

* * *

Панас остановился и прислушался.

Где-то в ночи запели колокола. Торжественные и тревожные плыли их голоса.

Блям-бо-о-ом... блям-бо-о-ом... блям-бо-о-ом...

Звонили по очереди. Кратко, тонким голосом вызванивал свое меньший, и не успевал еще замолкнуть его голос, как вслед, тяжело вздыхая, гудел большой. На минуту голоса их сплетались в общий протяжный гул, но вскоре опять расходились, плыли друг за другом и терялись, глохли во влажном воздухе.

Панаса колокола словно разбудили. До этого он шел медленно и сквозь дрему, окутывавшую его, о чем-то думал. А вот донеслись голоса колоколов, прервалась тон-

кая нить медленных легких дум, и они пропали. Панас уже даже не помнил, о чем он думал. Отвернул воротник пальто, поднял шапку и, вглядываясь в темную даль поля, напрягал слух, хотел угадать, откуда плывут голоса колоколов. Но опять наплывало забытье, и сами слипались глаза.

Перед глазами качалась густая темень. Мокрый снег падал на лицо, на ресницы. А голоса колоколов то на минуту сплетались, то опять расходились и плыли над сопливым, помертвевшим полем и сеяли не разгаданную еще тревогу. Казалось, все звенит вокруг, казалось, черные лохматые силуэты носятся, как метель, по полю и сеют за собой этот тревожный звон.

Панас стоит, не трогается с места. А на лицо падают мокрые снежинки.

Вокруг густая темень, и в ней тихие таинственные шорохи да голоса колоколов — и больше ни звука. От головы, от корней волос по всему телу растекается тонкими ручейками холод, тело наливается ознобом. Едва заметная серость поля темнеет, сливается в одно с густыми черными тучами, повисшими сверху, и перед глазами плавает, качается черный безгранично широкий занавес. Панас вглядывается в него. Глаза видят светлую маленькую капельку. Она только что появилась, задрожала, засуетилась и начала нарастать, расплываться, наливаться блеском. Вот уже не капля, а светлая полоска ползает в темноте на небосклоне и все больше наливается блеском, а небосклон и все вокруг становится еще темнее. Из-за полоски этой вылетают золоченные искры и в каком-то строю кладутся на небосклон, и небосклон озаряется. А в зареве рождаются и плывут над полем торжественные тревожные голоса колоколов.

«Это же пламя, пожар»,— думает Панас, и за этим издали изнутри подползла неожиданно догадка. Захотелось броситься и бежать через поле на зарево пожара, но понял, что это будет пустым делом, что из этого все равно ничего не выйдет, потому что не добежит он, не успеет и не сумеет ничем помочь. Понял это и поднял руку, чтобы опять поставить воротник пальто. Рука скользнула по мокрому холодному воротнику... Воротник прикоснулся к ушам и щекам и неприятно щекочет лицо. Панас глубже натянул на уши шапку и медленно пошел по дороге, поглядывая на зарево, вслушиваясь в голоса колоколов.

Вошел в ольшаник. Не заметил, как замолчали колокола. Мягко ступают в свежий, непритоптанный снег ноги, и опять возвращается покой, а с ним приходят новые думы. Панас отдался воспоминаниям.

Незаметно ушли в прошлое многие годы его жизни, и лишь в памяти оставили они свои следы. Бурно мчится в пространстве всех этих лет горячий поток его дней. Они в суровой гармонии посменно приходят и уходят живыми существами. Вот они, отошедшие, пережитые, цепью, как в хороводе, приближаются и отдаляются от него то в тихой гармонии, одинаковые, то спутанные в толпу, в которой ничего не разберешь, то разные, то постепенно нарастающие друг за другом. Из этого потока дней всплывают потерянные, но все же в какой-то системе, небольшие островки воспоминаний, и на них разбросано далекое, тяжелое, полное страданий детство, и горячими кусками, близкая еще, полная огня юность...

Тучи сеют перед глазами рой белых снежинок, устилают землю пухом крыльев своих лебединых. Тепло. Глаза слипаются и видят не темную серость дороги, а освещенное солнцем поле. В поле так много солнечного света...

. . . .

Солнце, горячее и ленивое, остановилось на половине неба, там, где самая чистая и глубокая лазурь, и кружится по нему, гуляет.

Ленивые волы медленно идут впереди сохи, защищаются хвостами от слепней и мух, машут головами, натужно скрипит ярмо. Волов за поводок ведет мальчик. Он босой. Ноги у него черные от земли, исколотые сухой травой и прошлогодним ржищем. Он медленно поднимает ноги и осторожно ставит их на землю. За волами ведет соху дед седой, в белой сорочке и в белых домотканых штанах. Он тоже босой.

Впереди, на окраине поля, молодой, редкий, наполовину сухой, сосняк. Перед сосняком затишно, и над самой землей, как ртуть, переливается нагретый воздух. Над полем сказочными огоньками снуют, мелькают мотыльки, плавает легкий теплый ветер, и шевелит на голове деда густые посеребреные и такие же густые льняные волосы мальчика.

Мальчик держит в руке легкий поводок, обкрутил его вокруг ладони и смотрит в поле туда, где сосняк, о чем-то

думает. Дед идет за сохою, медленно ступает в узкую борозду на холодноватую землю и поет тихо и тоскливо:

Э-эх ты, до-о-ля-а-а май-й-а-а,
Ты-ы няу-да-а-алай-а-а,
Калі ж ты-ы мя-а-не-э-э
А-а-адцу-ура-а-а-еш-ся-а.

Я з табою, доля,
Увесь век перажыў,
За табою, доля,
Шчасця не бачыў...

Голад, холад знаў,
Сыта не пад'еў,
Хвілі не згуляў,
А шчасця не меў...

Э-эх ты, доля мая...

Тихие слова дедовой песни падают на пахоту и пропадают, сошники забрасывают их землей. У деда худое, потресканное от ветра, лицо. Глаза его сверкают спрятанными в уголках слезами. А мальчику от этого и от слов песни дедовой хочется заплакать. Он опускает глаза в землю, мысленно повторяет слова дедовой песни, от которых разливается по всему телу холодная, непонятная боль, и прикусывает губы, чтобы не расплакаться.

— Прогоним этот раз туда и обратно и поедем домой,— говорит дед,— а то я, братец, устал очень. Вечером лучше допашем...

Домой волы по дороге идут быстро. Пылит позади за волами соха. Дед идет за сохой в стороне, а мальчик впереди, рядом с волами. По обе стороны дороги тянутся узкие, в два загона, и бесконечно длинные, аж до речки и до осинника в другую сторону, полоски. У дороги они засеяны яровыми. Дед смотрит на полоску, на низкие и редкие в бороздах яровые и говорит:

— Вымокает... но и без борозды нельзя, совсем тогда вымокнет... Мало земли у нас, братец, мало... Когда ослобонение было, пан всю «Куноведь» себе взял, а нас, мужиков, в трясину эту. Вот оно и вымокает... Это еще за моей памятью было, лес тут был громадный, бор и болото. Где «Дяково» — подступиться тогда нельзя было, грязли и человек и корова. А потом откупили у пана лес купцы, вырубили, а родители наши землю купили и поле сделали... И все мало земли,— продолжал он.— Прежде, как глазом

окинуть, сплошь пуща была, а теперь поле сплошь, и мало... Вот это полоски Авхима, Каленика, Рыгора и Степки, а прежде, бывало, отец их один пахал, полоса была во-от!.. А теперь с бороной не повернешься. Все полосы были шире... Да мало ли что было... Бывало, мы у отца вместе жили до старости, пока детей не вырастим, и дружба была, а теперь, как только научился штаны носить сам, так и дели, тата... А что делить? Разве можно бесконечно землю делить?.. Поделили вдоль, поделят поперек, а дальше что?.. Разве ж ему чего-нибудь не хватает?.. Дели... Да оно, поделю, поделю...— махнул прутиком, согнал с вола слепня.— Поделю... И ты, наверное, братец,— обратился он к мальчику,— как подрастешь, возмешь отца за горло, чтобы делил. А?..

Мальчик думает о словах деда и не отвечает. Молчит. Тогда дед продолжает.

— Оно все так, веками идет так уже. И мои родители делились, и деды... не изменились пока что люди...

А назавтра делил дед двух сыновей своих, Мирона и Лазаря.

Как только угнали пастухи поутру стадо, Лазарева жена пекла оладьи, нервничала, стучала громче обычного сковородкой. А на дворе Лазарь кричал, растягивая слова:

— Обделили! Старцем по миру пустить хотите!

Ему тихо, но со злостью в голосе отвечает дед:

— Не пушу старцем! У меня сыны равные, что припадает на твою долю, то я и даю тебе.

— Так почему же,— кричит Лазарь,— доля моя такая, что всего мне сарай да телушка, а ему и волы и корова...

— У него дети малые, у него я,— волы мои,— отвечает дед.

— Так пусть он пять мерок добра возьмет, если так,— опять кричит Лазарь,— а я не хочу, я возьму корову.

— Не возьмешь, возьмешь то, что я даю тебе.

— Что твое — бери, а что мое,— отозвался Мирон,— не дам!

Лазариха наливает на сковородку тесто и прислушивается к ссоре. Мальчик соскочил с полатей, влез на лавку и всунул в открытое окно голову. Лазариха зачмыхала носом, засморкалась в фартук и стала вытирать слезливые глаза.

На дворе напротив окна — старая клеть. В клети у закрома стоит дед, а Мирон и Лазарь наклонились над меш-

ком, вцепились в него руками, тянут каждый в свою сторону. Тяжелый мешок скользит по земле на одном месте, а они смотрят друг на дружку, злые, багровые от гнева и усталости. Головы их близко. У обоих глаза наливаются кровью, у обоих от непомерной злобы и напряжения дрожат руки.

— Мой мешок! — кричит Лазарь,— я его возьму, за волов, за корову.

— Не твой! Не дам! — крикливо отвечает Мирон и пытается перетянуть мешок на свою сторону.

У деда дрожит голова, он что-то хочет сказать и в гневе не находит слов. Вот он подошел к Лазарю, взял его за рубашку и нашел слова:

— Не разбойничай! Бери то, что даю тебе, а силой не дам брать, людей звать буду!

Почувствовав поддержку отца, Мирон собрался с силами, стронул мешок с места и, когда мешок двинулся к нему, выставил в сторону брата обросшее лицо на вытянутой оголенной шее.

Дед оттягивает Лазаря от мешка, и руки у Лазаря дрожат еще пуще, вот-вот ослабеют пальцы и выпустят мешок. А тогда, понимает Лазарь, все пропало, мешок возьмет брат. И он торопливо оторвал от мешка правую руку, замахнулся, стукнул локтем деда в живот, под ложечку. Дед схватился руками за живот, разинул рот, отшатнулся назад и сел у закрома, Лазарь хотел опять схватиться за мешок, но не успел, потому что подскочил Мирон и вцепился пальцами в воротник Лазаревой рубашки. Воротник сжимает горло все туже и туже, как щипцами сжимает, уже тяжело дышать от этого, мутнеет в глазах и млеет все тело. Но помутневший взгляд ловит в стороне мерку. Одно лишь мгновение задержался взгляд на мерке, настолько, чтобы протянуть руку и взять ее. Лазарь нащупал пальцами мерку, сжал ее за ручку и замахнулся. Мерка ребром стукнула Мирона по голове. Пальцы Мирона ослабли, выпустили братову рубашку, а сам он неловко согнулся, осунулся и лег на мешок, закинув под закром голову.

Перепуганный дед бросился из клети прочь, и тогда одновременно закричали и дед, и мальчик:

— О-о-о-ой!

— Уби-и-и-ил!

Мальчик выскочил через окно во двор и побежал с криком на улицу. А дед побежал к колодцу, схватил ведро,

висевшее на крючке, и неловко линул себе на голову, облив грудь. Он топтался у колодца на одном месте, растерявшийся и перепуганный, ладонью гладил на груди мокрую сорочку.

Из хаты со сковородником выбежала Лазариха. С улицы бежали во двор соседи. В клети на мешке с семенами лежал Мирон. В темном углу на закроме сидел Лазарь. Он то хватался руками за голову и сжимал ладонями виски, словно пытался что-то вспомнить и понять, то опускал руки, и они, длинные, обвисали вдоль ног, ниже колен. Под ногами у него боком лежала на песке тяжелая дубовая мерка.

Подходили к клети испуганные женщины. Они осторожно заглядывали в клеть, на минуту застывали у двери и группками толпились тут же. Подходили мужчины. Грубо расталкивали локтями женщин, заглядывали в клеть и отходили и, уже стоя дальше от клети, беседовали, укоризненно кивая головами.

Отошел от колодца дед. Он вспомнил о том, что случилось, и закричал тихим надорванным голосом:

— Старосту! Старосту сюда!..

За дедом сразу, хором, закричали кому-то женщины:

— Старосту!

— Скорее старосту!

С двора метнулись на улицу дети, стайкой помчались на старостин двор. Прибежала от соседей жена Мирона. Женщины дали ей дорогу. Она, проклиная страшными словами убийцу, медленно вошла в клеть, остановилась у порога, словно раздумывая, что предпринять, и, застонав, бросилась на землю возле мужа.

Пришел староста. Убийце, хоть не удирал он и не был страшен, сыромятным жгутом связали за спиной руки. Женщины отнесли в хату жену Мирона. Староста закрыл дверь клети и приказал десятскому никого туда не впускать, пока не приедет урядник. Лазаря повели в волость. За ним на улицу вышли соседи. Мальчик стоял посреди двора молчаливый, с громадной, скрытой где-то внутри, болью. К нему подошла одна из женщин, и, погладив по голове, сказала:

— Осиротел ты, хлопчик, из-за чего сиротою стал... боже ты мой...

Теплая рука женщины отогрела, растопила застывшие комком под горлом боль и слезы, и они прорвались. Маль-

чик не сдержал придушенный сдавленный крик и быстренько ушел со двора с дрожащими над поникшей головой плечами.

. . . .

Сошлись и столпились у дороги кусты ольшаника. Убрались они в белый мягкий наряд и о чем-то советуются между собой тихими, таинственными шорохами.

Вверху поредели тучи. Свесился с тучи, зацепившись одним рогом за край ее, месяц и подглядывает, что делают кусты, освещает белые их одежды.

Панас шел, потупив глаза, видел в стороне вверху месяц и прятал от него глаза, хотел продлить живую нить воспоминаний. Но под ногой затрещал тонкий лед. С ним сразу пропала дремота, и где-то далеко в памяти уже скрывалось то, что было вот-вот припомнилось. В лицо Панасу с поля подул холодный колючий ветер. Панас еще глубже насунул на голову шапку, запрятал руки в пазуху пальто и пошел быстрее.

* * *

Спал Панас поздно и проснулся тогда, когда за дверью его комнаты начала петь хозяйкина дочка. Она подметала пол в сенях голышом и дискантом вытягивала слова песни:

А мой миленький, голуб сизонький
Коника седлает...

Песня обрывалась, тогда быстрее ходил веник, но вскоре он утихал, и опять начиналась песня. Панас прислушался к песне, глянул на часы, быстро оделся и вышел умываться.

— Что-то никогда не видно вас,— обратилась к Панасу девушка,— всё вы пропадаете где-то, никогда не погуляете с нами. А у нас вчера вечеринка была, всю ночь танцевали,— сообщила она.

— Ах, вот жаль, я не знал, пришел бы.

— Другой раз приходите, еще будет вечеринка.

— А примут ли меня девчата?

— Ого! Еще как! И полюбят!

— Если так, тогда обязательно приду.

— Смотрите ж...

Из дому Панас пошел в сельсовет. Шел улицею возле

кооператива, надеялся встретить кого-нибудь из знакомых. От кооператива навстречу ему пошла женщина. Поравнявшись с ним, женщина заговорила долго и путано о больном теленке, просила разрешения зарезать его на мясо и, говоря, комкала пальцами угол байкового платка.

— Ты в совет, тетка, сходи, я не имею права давать такое разрешение, это совет делает,— говорил ей Панас.

Женщина не хотела понимать его слов. Она еще более настойчиво просила:

— Будьте таким добреньким, товарищ представитель, пожалейте меня, бедную, а то никак я правды не найду. У кого так и слишком жирно, а кому так и совсем надо постить. Где ж она та правда? Кто так и свиней, и телят порезал, а я, пускай люди вот скажут, не враг какой-нибудь, все свиньи живые, а теленок больной, третьи сутки не сосет, в рот не может взять...

Со стороны подошел мужчина. Он вмешался в разговор.

— Вы пособите ей, товарищ, теленок этот у нее какой-то нескладный, клыки у него, что ли, во рту, сам себе поколет и не берет сосать, потому что болит... А так у нее все имущество не разбазарено, все на месте, как было.

Поддержанная словами мужчины, женщина не отходила.

— Вот и соседи знают, какой я есть приятель советской власти, поросенка я даже и не тронула, раз власть разбазаривать не разрешает, а теленок совсем плох, совсем не сосет...

Объяснений Панаса женщина не слушала, не хотела понимать их, и Панас отошел от нее, посоветовав:

— Иди, тетка, в совет, к Камеке, а я сейчас приду туда, может что-нибудь сделаем.

Но к Панасу подошли еще две женщины, и старшая сразу заговорила:

— Как мы слышали, вы много где людям, товарищ, душу подняли, так просим и к нам прийти, поговорить с нами немножко.

— Обиду нашу выслушать,— добавила другая,— а то никто к нам не заглядывает. Слышим мы, говорят это все, что ходит представитель, так мы ждали-ждали и видим,— никак он к нам не дойдет, все мимо проходит, и пошли искать... Так вы приходите, мы от имени всех просим.

— Я приду,— ответил Панас,— скоро приду на ваше собрание.

Подошла Галина и поздоровалась за руку. Женщины попрощались.

Уходя, старшая еще раз сказала:

— Так приходите, товарищ, а то обидимся.

— На этих днях приду, тетеньки.

— Вот будем рады,— отозвалась женщина,— а то мы ничего не знаем, запуганные мы.

— О чем это она? — спросила Галина.

— На собрание к себе приглашают, я у них не был еще.

— Неужели не был? А я думала, что ты всех уже обошел в нашем совете.

— Как видишь, не всех. А ты чего так рано здесь?

— Тебя давно не видела,— игриво ответила Галина,— тосковать начала, вот и пришла.— И добавила: — Сатин будут давать на платье, так я хочу взять себе.

— А-а, ну, бери, бери, наряжайся, хлопцы больше любить будут.

— И я так думаю... А ты не слишком болтай, а то бабы поглядывают, еще сплетничать начнут. Я пойду. Приходи к нам.

— Приду на днях.

— А вчера, наверное, страшно было идти? — сказала и смутилась.

— Нет, я даже не заметил, как пришел домой.

— А я думала — боялся. Ну, я пойду. Ты слышал,— проговорила она, уже отходя,— поселок ночью сгорел.

— Поселок?

— Да.

— А я думал, что в соседнем сельсовете.

— Нет. Поселок. Наверное, сами как-то не досмотрели...

Галина пошла в магазин, а Панас направился в сельсовет. На улице ожидала его женщина и все так же мяла пальцами угол большого байкового платка. Она в сельсовет пошла вместе с Панасом.

* * *

Близилась весна. С утра и до самого вечера небо было чистым, незатуманенным, и по небу, забирая с каждым днем все больший круг, проходило свой путь солнце, обильно поливало заснеженную землю светом и бесстыдно заглядывало в окна Панасовой комнаты, напоминая о весне.

Панас лениво потянулся, ночью не отдохнул, хотелось спать, отбросил от себя газету и отвернулся к окну. Посидел немного так, глядя во двор, потом лег на подоконник грудью, положил руки и на руки склонил голову. Солнце ласково согревало голову, и не хотелось поднимать ее.

По дороге от кооперации шли женщины. Они остановились и перед тем, как разойтись, о чем-то беседуют. Одна из женщин развернула небольшой сверток, показывает другим. Сбоку стоит Галина, голову, повязанную платком, она подняла вверх и глядит на солнце. Солнце светлое и по-весеннему радостное. По-весеннему радостная и Галина. А то, как она глядит на солнце, прищуривая глаза, напомнило Панасу прошлое, и его, и Галины.

Панас вырос вместе с Галиной, и наверное потому, что рос с нею вместе, почти на одном дворе, ощущал к ней дружескую привязанность и держался с ней запросто. Эти отношения шли с детских лет, когда вместе играли, вместе лазали по огородам. А потом уже, значительно позже, близость эта начала теряться. И когда Галина, как в детские годы, иногда обнимала его за шею и наклонялась к нему, чтобы сказать ему что-то на ухо, он розовел, его щеку обжигало тепло щеки Галины, а руки дрожали, касаясь локтями ее груди. Чувствовал тогда Панас, что в его отношениях с Галиной появляется нечто новое. Впервые он ощутил это однажды во время разговора с Галиной на вечеринке. Галина долго кружилась в польке, в вальсах, пока совсем не устала, схватила Панаса за руку и повела его за собой на двор. В сенях Панас спросил ее:

— Здорово ты заморилась? Крутил он ведь тебя весь вечер...

Галина наклонилась к нему и, чтоб не слушали другие, перебивая речь хохотком, сказала:

— Накрутил, это ничего, но он, дурак этот, танцуя, так сжал рукой меня за сиську, что я хотела ему локтем в зубы ударить и бросила танцевать.

Панас покраснел, смутился и ничего не ответил.

А еще позже случилось такое, что пугало Панаса и мешало встречаться с Галиной.

Приехав однажды с поля, Панас выпряг лошадь, завел ее на лужайку и оттуда пошел к Галине. Как и всегда, он постучал со двора в окно. На стук никто не откликнулся. Галины в хате не было. Панас прислонил лицо к стеклу и заглянул в хату. В прохладной темноте ее он увидел не-

застланную кровать и на кровати, на подушке, сонливую черную кошку. Кошка лежала, съежившись, неподвижно. А из-под печи из щелины выбежала на хату маленькая мышь, остановилась осторожно и водит в стороны мордочкой, нюхает. Вот она вытянула мордочку в сторону окна, глянула на Панаса, и, вильнув по полу острым хвостом, шмыгнула сквозь щель под пол. Панас стукнул сильней в стекло и отошел. На двери в сенях, увидел он, висел маленький замок. Панас остановился, тронул рукой замок и пошел через двор в огород.

Красиво сделанные гряды, в отличие от соседних огородов, зеленели высокой стеной подсолнуха и мака, а на середине щетинились кустами лука, молодой свеклы и капусты. В борозде, возле гряды с луком, стояла пустая корзина и возле корзины, по обе ее стороны, две кучки обвявшей травы. Панас остановился и взглядом начал искать Галину. Галина лежала под стеной сарая на траве. Голова ее была в тени, а на ноги и грудь светило солнце. Руку одну Галина отбросила на траву, другую положила на груди, себе под рубашку. Панас подошел к ней, остановился, но не разбудил, стоял молча. Появилось было желание потихоньку уйти, чтобы она не услышала, но не ушел, остался стоять.

Она лежала, повернув немного набок голову, и спокойно, мерно дышала. В полуоткрытом красивом рту, из-под губ белели ее плотные свежие зубы. Вкусно спит Галина.

Спит, положив нога на ногу. Панас видит ее обнаженное, круглое, красное от загара, колено. К колену прилипла земля с гряды. Земля на солнце высохла и лежит на колене маленьким серебристым комочком. Панас смотрит на колено, ему хочется наклониться и сбросить с колена землю. Но Панас сдержался, лишь тихонько кашлянул, Галина не проснулась, только скрипнула зубами, сжала губы и проглотила слюну. Тогда Панас сел на траву рядом с ней, сорвал веточку метлюжка, хотел было пощекотать Галине нос, но вместо этого поднес руку к ее колену. Рука дрожит. Пальцы ощущают загрубевшую кожу колена. Осторожно провел пальцами па чашечке, сбросил засохший комочек земли и убрал руки, взял метлюжок и метлюжком коснулся ее носа.

— Иди! Не щекочи! — неожиданно отозвалась Галина и захохотала. Села, поджав ноги. Панас порозовел и не нашелся, что сказать. Галина со смехом добавила:

— Я ведь слышала, как ты сел и колено трогал, думала: что ж он будет делать. Вот бы дала ногой, если б ты выше полез.

Смущенный, Панас не нашел необходимых слов.

— У тебя на колене песок был, так я смахнул его.

И в растерянности он механически, неожиданно для себя, уже осмелев, сказал:

— Колено у тебя, как антоновка спелая.

Галина оперлась о его плечо и, поднявшись на колени, схватила Панаса за волосы, начала наклонять его голову к земле, и, уже совсем неожиданно, когда он хотел освободить голову из ее рук, наклонила его голову к себе и обожгла его щеку своими губами.

— Вот как! — сказала она, а затем торопливо подхватилась и пошла к корзине. И, уже накладывая в корзину траву, не глядя на него, сказала:

— Пойду, свиньям поесть дам.— Поднялась с земли, схватила корзину и, не глянув в его сторону, побежала во двор. Панас после того, как убежала из огорода Галина, стоял растерявшийся, молчаливый и радостный, закрывал глаза и представлял, как касаются его щеки губы Галины. Сорвал маковицу и поднес ее к носу. Зеленая маковина не пахла. Тогда медленно пошел с огорода, но не через двор, а за гумнами, стыдился во дворе встретиться с Галиной. Не пришел к Галине и вечером, хотя было большое желание видеть ее и несмелая надежда, что повторится случившееся в огороде. Но оно не повторилось ни в ближайшие дни, не повторилось и позже.

II

Сознание вернулось так же незаметно, как и уходило. Сидор открыл глаза и несколько минут неподвижно смотрел вверх. Там, далеко в высоте, расстилался мягкий темно-синий купол неба. И по нему, по чистому светлому простору, лениво ползут друг за другом два небольших темных куска облаков. А оттуда, с высоты, из-под самых облачков, падают на землю чьи-то крики и то ли зовут они человека полететь за собой, то ли просят у него помощи.

Вслед за облаками, окутанные дымкой прозрачной синевы, тихо, торжественно плывут в далекие теплые края дикие гуси. И в далекой синеве вместе с гусями плывет взгляд, а губы тихонько шевелятся, считают: один, два,

три, четыре, пять... Сидору кажется, что гуси начинают путаться. Вот третий выбился из цепочки, подался вправо, закричали гуси громче, а седьмой остался немного позади...

Лениво ползут темные куски облаков. Тихо плывут под облаками гуси. Вот они едва-едва заметны уже, вот уже совсем пропали под сенью облаков, и только слышны еще их голоса — тихие и далекие. Сидор понимает, что сейчас вот умолкнет и этот их прощальный говор, от этого обидно, словно что-то навсегда потеряно, и хочется, чтобы не пропали гуси, чтобы плыли они еще и еще...

Глаза притомились. Взгляд оторвался от облаков и поплыл вниз.

В воздухе над полем и над ольшаником, в котором лежит Сидор, носятся белые, серебряные нити паутины и виснут на ветвях ольшаника. Глаза следят за паутиной, а уши прислушиваются, потому что вокруг очень уж тихо, даже листья на ольшанике не дрожат, а за ольшаником злится, шумит ветер.

Сидор прислушался к шороху ветра, сразу вспомнил, почему он здесь, в ольшанике, и встревожился. Захотелось подняться, сесть и прислушаться внимательнее. Оперся руками о землю, поднял голову, хотел подтянуть ноги и сесть. Но как двинул правую ногу, она страшно заболела, и тогда вскрикнул неожиданно для себя и обмяк. От ноги потекла боль по всему телу, острая, жгучая. Рукой нащупал прилипшую к ноге штанину, тронул ее, задел рану и, вскрикнув, отбросил руку в сторону, на траву.

Вверху лениво ползли куски облаков. Они светлели, расплывались, словно таяли под солнцем. А небо мутнело ниже и ниже, аж да самой земли, и давило на тяжелые веки, заставляло закрыть глаза...

Сознание опять вернулось, и Сидор услышал где-то совсем близко мужские голоса. Разговор был спокойным, ровным. Сидор открыл глаза и удивился, теперь он был в просторной крестьянской хате. В хате не было никого. Через окно вошел в хату последний вечерний луч солнца, лег на стену и застыл, уснул на ней красным зайчиком. На окне и на столе сидят ленивые, сытые мухи. Одна в углу под иконами забилась в паутину и жалобно, тоненько звенит. Некоторые неохотно летают по хате, садятся на кровать, на перила, на балки под потолком. А беседуют мужчины во дворе. И на дворе захлопал крыльями и пропел петух. Где-то на деревне пищали голодные свиньи, мычал

в сарае теленок, и протяжным «м-у» отзывалась с улицы ему корова.

Со двора в окно глянул мужчина, наверное, хозяин хаты и, увидев, что Сидор открыл глаза, улыбнулся, быстро отошел от окна, и сейчас же шаги его послышались в сенях.

Солнечный зайчик пополз тихонько по стене под самый потолок, переполз на него, помутнел, растворился на сером фоне и скоро незаметно исчез совсем. В хате стало темней.

Вошел хозяин и, улыбаясь, приблизился к кровати, приветливо закивал Сидору головою.

— Совсем ослабли вы это, потому не слышали, как и привезли вас, как и ногу перевязал фельдшер.— Хозяин забеспокоился, подошел к столу, махнул над столом рукой, согнал мух и опять подошел к кровати.— Хозяйки моей нету, чтобы что вкусное сделать, картошку копает, так я, может, молока холодненького принесу, оно здорово выпить в таком положении...

Сидор кивнул в знак согласия головою, было приятно, и совсем не хотелось говорить.

Хозяин принес из кладовой большую медную кружку молока. Поднес к кровати и увидел, что не сумеет Сидор пить вот так из кружки, и объяснил:

— Снаряд хлопцы это нашли, так я кружку сделал, воду пить хорошо, а стаканов это нет у нас, разве ложку подам, так вы ложкой.

Принес ложку и ломоть зачерствелого хлеба. Сидор взял ложку и черпал из кружки молоко, закусывал хлебом. Молоко холодное, вкусное. Хочется кусать помногу хлеба и запивать слегка молоком, так, как в детстве когда-то делал, чтобы молока хватило надолго. Хозяин заметил это, словно отгадал Сидоровы мысли.

— Пейте, пейте, молока у нас много, еще это налью... Пейте...

Хозяин пошел в кладовую за молоком. Сидор отбросил на мягкую подушку голову и смотрел в потолок. На потолке и на балках застывшими небольшими черными пятнышками сидели мухи.

* * *

Утром из больничного барака еще двух вынесли в мертвецкую. Никто толком не знал, отчего они умерли, потому что накануне их совсем недавно перевезли в барак

из городской больницы, а в барак привозили только тех, кто поправлялся, чье лечение приближалось к концу.

Когда выносили на носилках мертвецов с закрытыми шинелью лицами, красноармейцы поднялись с коек, столпились посреди барака и долго стояли вот так, удрученные, молчаливые.

По бараку ходили старые, в порванных пальто, сиделки. Заглядывали на минуту сестры, раздавали лекарства, поправляли перевязки и, дыша на свои руки, торопились в аптечку, где сторож поддерживал относительную теплоту в сравнении с бараком.

За стенами барака жил по-своему голодный и нервный, разрушенный белыми оккупантами, больной город. Оттуда приходили к сиделкам знакомые и рассказывали о том, что происходило в городе.

В городе свирепствовал тиф. Вечерами сиделки передавали новости красноармейцам. От новостей этих в сердцах молодых крестьянских парней нарастала тревога.

На ночь красноармейцы накрывались одеялами и шинелями, прятались под одеяла с головой, согревались и засыпали. А утром, проснувшись, надевали шинели, ботинки, сидели на койках и беседовали о самом разном. Перечитывали друг другу полученные из дому письма, вспоминали далекие деревни и свою молодость, принесенную оттуда, жалели покалеченных рук и ног и своих молодых тел, не обласканных еще жизнью.

Спустя несколько минут после того, как вынесли мертвецов, больные красноармейцы начали требовать, чтобы администрация отепляла барак больше, чем прежде. Пришел старый доктор. Он стоял, сутулясь, встревоженный, разводил широко в сторону руки и объяснял, что ничего не может поделать, потому что должен экономить топливо, которое вот-вот кончится.

— Нет почти ни одного полена, товарищи, не привозят,— говорил он,— наверное, никак нельзя привезти,— и широко разводил руками. А в конце, хоть и сам мало верил в то, что говорил, обнадежил: — На днях должны подвезти дров, подвезут обязательно, вот только немножко подождать надо, а дров привезут, мы говорили и в ревкоме... Тогда будем лучше греть...

Красноармейцы тоже не верили в то, что скоро подвезут дров, но когда доктор ушел, они разбрелись по своим койкам.

Койка Сидора в самом углу у окна. Окно зима замохнатила льдом и снегом, ничего сквозь него не видно, только холодом еще большим от него повевает. Холод особенно беспокоит соседа Сидора. У соседа правая рука оторвана, и хоть зажила рана, но боится холода. Сосед получил из дому письмо, прочитав, не стал, как это делал обычно, пересказывать написанное в письме Сидору, а тихонько лег в подушку лицом и долго лежал так, время от времени сморкался в левую ладонь, потом протягивал ее под койку и вытирал о сенник. Молчал. Но долго молчать было трудно, потому что молчать — значило не иметь сочувствия, тяжело смириться с тем, что случилось. Видимо, потому он поднялся с койки и, еще не зная, что предпринять, пошел вдоль коек, показывая товарищам письмо.

— Вот... воевал, руку потерял,— говорил он,— а теперь вот...

Красноармейцы поднялись с коек, молчаливо ждали: что он скажет, что случилось. А он шел, вытянув в сторону обрезок руки, и говорил путано, непонятно.— Так как же это, а? Оба сразу... Что ж это?.. В два дня и такое... Кому жаловаться? Кому ж это, а?..— И немного спокойнее, дойдя до середины барака, добавил: — И отец и мать, оба в два дня, сразу, что ж это? А тут и сам скоро околеешь.

— Конечно, околеешь,— откликнулся один из красноармейцев,— околеешь, и никакой черт не пожалеет тебя. Все околеете, если так будете молчать! Зашумели, а как пришел доктор, сказал слово, так и раскисли все, о холоде забыли, поверили, что кто-то дров им сюда привезет... А по-моему,— говорил он дальше,— не выслушивать надо, не просить, а требовать, чтобы не морозили нас. Лесу хватает, куда ни глянь — лес...

Несколько человек поддержало его. Тогда поднялся Сидор и начал, как и доктор, объяснять, почему не хватает топлива. Несколько человек закричало на Сидора:

— Ладно ты там, слышали все это мы, не раз уже слышали, заткнись!..

Сидор не умеет подолгу объяснять, не любит. Потому махнул рукой и замолчал. Но его поддержал кто-то в другом конце барака. Тот говорил взволнованно, нервно.

— У нас холодно? А у других разве теплей? А может, некому это самое топливо возить, потому что на фронте все. Это понимать надо. Республика нам последнее отдает,

чтобы мы здесь лечились, потому что обдирали ее и немцы, и поляки...

Его выслушали и замолчали. Сосед Сидора постоял еще немного, недовольно махнул рукой, отошел и опять лег, уткнувшись в подушку.

Утром следующего дня красноармейцы проснулись встревоженными. С одним из больных случился припадок. Он начал кричать, вскочил на койку и с койки бросился в окно. В окне зазвенели стекла и разбились. Улица дохнула в барак холодом, сыпанула густым снежным роем. Снег залетал в барак, кружился, падал на койки, на пол и мутнел, пропадал, не оставляя следа. Больной в припадке ударился о раму головой, обессилел и упал на пол. Его схватили сиделки и с помощью более крепких красноармейцев положили на койку. С улицы в окно летел снег и с ветром вползал холод, стлался по бараку седыми клубами. Сиделка схватила со свободной койки подушку и закрыла разбитое окно. Больной притих и, укутанный одеялом, дрожал и стучал зубами.

Красноармейцы поднимались с коек, торопливо надевались и сидели молчаливые, задумчивые. Серый низкий потолок обвис маленькими тусклыми лампочками, и барак расползался в стороны, наполнялся холодом.

Пришли сестры, чтобы раздать лекарства и сделать перевязки. Руки у сестер мерзли, коченели. Кожа на обнаженных для перевязки красноармейских ногах и руках становилась гусиной, покрывалась пузырями, синела. Пришел доктор. Он дышал в свои сложенные лодочкой ладони рук, потирал их, обходил больных и уговаривал ложиться на койки.

Больной тем временем успокоился, а вскоре хриплым, слабым голосом запел старую солдатскую песню. Слова песни тягучие, тоскливые, тяжелые.

...Зачем на свет ты ро-оди-и-ла-а!..—

тянет хриплым голосом больной и, слабея, глотая в хрипе слова, продолжает:

Судьбо-о-ой не-счаст-но-о-ой на-гра-ди-и-ла...

В бараке тихо и страшно от этой песни. Молчание нарушил голос того, кто вчера кричал, чтобы не слушать никого и требовать топлива. Он подхватился с койки, натя-

нул на один рукав шинель и, ища рукою второй рукав, заорал на весь барак:

— Колейте, кто хочет, здесь, а я не хочу, я жить еще хочу, не хочу тут сидеть, чтобы вот до этого дойти!

Он показал на поющего больного, натянул в конце концов второй рукав, застегнулся ремнем и, махнув рукою, призывая за собою других, пошел к двери, ведущей в коридор барака. Торопливо надевали шинели другие, брали мешки со своими вещами и шли к двери.

— Подохнем здесь от тифа и холода,— говорил сосед Сидора,— так уж лучше на фронте от пули белогвардейской, чем тут от мороза.

И поспешно, словно опасаясь, что кто-то придет и помешает ему, он, не подпоясавшись, пошел из барака. Сидор закостылял от койки, пытался что-то сказать, чтобы задержать красноармейцев. Поднял перевязанную, закутанную в бинт руку тот, кто вчера поддержал Сидора и, нервничая, зло крикнул:

— Куда вы!.. Очумели!.. Сгубить себя хотите!..

Некоторые из красноармейцев остановились в нерешительности, но только на одно мгновение, потому что передние пошли, и тогда за ними устремились остальные. Вслед за ними выбежал в коридор доктор. Сестры стояли посреди барака возле больного. Доктор что-то кричал вслед красноармейцам, махал руками, просил, чтобы возвращались, но его никто уже не слушал.

Сидор вернулся к своей койке. У стены, посреди барака, стоял побледневший, встревоженный красноармеец с перевязанной рукой. Сидор запомнил его: светло-русый, на левой щеке возле уха шрам небольшой. Шрам начинался возле уха и терялся в густых волосах. Он стоял один среди пустых незастланных коек. У окна, заткнутого подушкой, лежал на койке больной. Возле него стояла сестра, а на стене на длинном ржавом гвозде висел оставленный красноармейский шлем. Было пусто в бараке и холодно. И пустота и холод пугали. Сидор постоял у койки, надел шинель, поправил штанину на раненой ноге и пошел. Проговорил словно сам себе, чтобы убедить в чем-то себя и еще кого-то:

— Ничего тут не будет, пойду и я, на завод свой поеду, а там заживет нога, так на фронт или на работу.

Прошел, опираясь на костыль, из барака в коридор и по длинному холодному и темному коридору на улицу.

Улица, как и всегда в эту пору, была молчаливой. Спали еще низкие деревянные хаты окраины. Мелькали по ветру ленивые снежинки, садились на лицо, залетали Сидору за воротник шинели. На дворе возле барака Сидор остановился, неловко как-то перед товарищем, оставшемся в бараке. Но от барака веет неуютностью и холодом. Едва-едва рассеивает темноту в коридоре небольшая лампочка.

«Может, вернуться к нему? Нет, зачем, что ж я делать там буду,— думает Сидор.— А как же он, один там, что он делать будет? Нехорошо, наверное, что я вот так бросил барак этот и пошел за другими, за толпой, потому что это совсем как-то не так, как надо было...» — Но как надо было поступить? Сидор не хочет думать об этом. Холод начинает со снежинками вместе залезать за воротник шинели, и стоять так, бесцельно — простынешь только. Сидор знает, что обратно в барак он не вернется, опустевший барак еще больше осунулся под широкой низкой крышей, еще глубже влез в землю.

«Нечего мне туда идти, нечего мне там делать. Дома на заводе, может, быстрее заживет нога, пользы больше будет»,— думает Сидор, мысленно оправдывая себя, и, медленно передвигая ноги, уходит из барака.

На улице все еще пусто. Спят под низко опущенными крыльями крыш деревянные хаты окраины, плотно закрыли от улицы ставни, чтобы не заглянул в хату посторонний глаз, чтобы не нарушил он их сонного покоя. Ставни в хатах низко, как раз по локоть Сидору приходятся. Локоть касается ставни, и Сидор уже совсем позабыл про барак, вспомнил такую же низкую хату на окраине другого города, начал думать о ней. И тогда торопливо зашагал в сторону вокзала.

* * *

Над заводскими воротами, как и много лет тому назад, висит старая ржавая погнутая вывеска. Одна половина ее прибита над воротами, а другую половину кто-то оторвал и загнул — заломал ее. Полоска ржавой жести свисла под ветром и стрясает с себя снег, постукивая в ворота.

— Вот уже который раз думаю оторвать ее,— говорит сторож Микода,— тревожит она меня, все кажется, что кто-то на завод пришел и стучит, а потом забуду. Вот так вспомню, когда застучит, потом опять забуду.

Он смотрит, что Сидор с костылем пришел, крутит головой и говорит:

— Навоевал, значит? Был человек, а теперь что ж, значит? Что ж тебе вот за это будет, что значит, покалечили тебя?.. С людьми, как с заводом. Был завод, а теперь двор пустой. Не понимаю, значит, я, что из этого будет.

— Завод заводом будет, а я и без костыля скоро пойду.

В деревянном доме, прежней конторе, сделали клуб. Над дверью, выходящей на улицу, на широкой доске написано слово «клуб» и еще здания и трубы заводские нарисованы. Сидор засмотрелся на вывеску клубную, замолчал. Микода из кармана достал горсть табаку, зачерпнул его с ладони трубкой и стал по коробке чиркать спичкой. Скользит по коробке спичка, сдирает бумажку, намазанную серой, и не загорается. Взял спичку пальцами ближе к головке, прицелился, чиркнул. Спичка не загорелась, а сломалась.

— Тьфу, чтоб ты сгорела, окаянная! — И со злостью бросил сломанную спичку в снег, начал потихоньку чиркать другой.

— Это клуб наш,— объясняет он, закурив,— собрания тут разные, митинги. Сойдутся бабы, кричат, кричат, значит, что трудно жить, да на том и сядут, а в другой раз опять о том же.

Микода пальцем утаптывает потихоньку табак в трубке и жадно сосет ее, а затянувшись, как можно глубже, выгоняет сквозь ноздри дым.

— У тебя, дядя,— говорит Сидор,— из ноздрей дым валит, как из фабричной трубы...

— На заводе нет дыма,— ответил Микода,— и я, значит, пускаю так, чтобы люди думали, что из трубы это.— И смеется, вынув изо рта трубку.

Во дворе, сразу за воротами, складские здания завода. Теперь на складе лишь поломанные детали станков и куча разного железа и досок.

В складе перебирал деревянные бруски Клим. Он поднял голову навстречу Сидору, отбросил ногою брусок под стенку и пошел к Сидору, вытирая полою стеганки руки, чтобы поздороваться. Столяра Клима Сидор давно знал. Звали его на заводе не просто Климом и не по фамилии, а «Клим-ботва». Сидор вспомнил это и приветливо закивал Климу. Приподнял шапку. Приподнял шапку и Клим и, когда подошел, долго тряс Сидорову руку и улыбался. Но

заговорили не сразу. Оба молчали, оба ждали друг от друга вопросов.

Микода дал Климу закурить и пошел в контору. Тогда Сидор, не дождавшись вопроса от Клима, хотел спросить:

«Ну, как живете тут, а?»

Но подумал, что не очень уж уместен этот вопрос, и поэтому проговорил:

— Так завод, значит, того, молчит...

— Молчит,— ответил Клим,— и мы не живем, а существуем тут вместе с ним... Я, братец, не знаю, как говорят, что делают и что мне делать, одним словом, как говорят, не по-моему все идет... А ты, наверное, посмотреть завод пришел?.. Идем, только не будет от этого тебе веселей. Еще в столярном цехе кое-что делаем да время от времени в кузнечном... Завод... Оглобли делаем, для повозок барахло разное, как говорят... В модельной оглобли делаем...

Модельная находилась сразу же возле склада в небольшом деревянном здании, и было в модельной теперь пара верстаков столярных да у стены груда досок. Столярный цех находился тоже в отдельном деревянном здании. А посреди двора длинный низкий кирпичный дом. Тут помещался кузнечный цех, литейный, токарный и жестяный.

В снегу, у двери литейного, валяются куски железа, какие-то отлитые давно уже детали.

— Убрать надо, а то ржавеет напрасно,— проговорил Сидор.

Клим не слышал. Он широко раскрыл дверь и ждал Сидора.

В литейном тихо, холодно и пусто.

«Точь-в-точь как в бараке тогда,— думает Сидор,— бросили, сбежали все, некому присматривать такое добро... А как же тот блондин, что он тогда делал, когда один остался? Его, наверное, перевели в другую больницу, а может, и других вернули опять в барак?»

В литейном, где когда-то плотными рядами стояли формы, теперь земля черная утоптана, на ней разбросанные валяются опоки, они поржавели, портятся.

У стены высокая круглая вагранка. Она давным-давно остыла. И совсем ненужной кажется канавка. В ней, на дне, застыл кусочками чугун. А некогда по канавке чугун

бежал белым молочным ручьем. Его набирали в ковши и, торопливо бегая по литейному, разливали в формы. Это давно было. А теперь формы разбиты, и вагранка остыла.

В окне выбито стекло. Через дырку ветер намел в литейный снегу. Снег гладким хитрым зверьком лежит на черной земле литейного, не опасаясь, что кто-то придет и потревожит его.

С крыши свисают закопченные концы электрического шнура без патронов, без лампочек.

— Как на кладбище,— говорит Сидор. Ему тоскливо, и почему-то сильнее обычного болит нога. Клим ничего не ответил Сидору, пока не открыл дверь в кузнечный цех. И, когда открылось холодное и пустое нутро кузнечного цеха, он отозвался:

— Как на кладбище, брат...

А потом, придерживая дверь, сказал Сидору:

— А вот и твой цех, любуйся...

В голосе Клима злость.

— Что ж тут любоваться,— ответил Сидор,— любоваться нечем.

— Я к тому и говорю,— согласился Клим,— потому радости большой, как говорят, нету от всего этого. Несколько горнов на днях работали. Кое-что ремонтируем крестьянам... Не завод, а деревенская кузница...

Шеренгою стоят холодные горны. И они уже давно погасли. Сидор помнит свой горн, вон тот, в самом углу. В горне залежавшиеся мелкие угольки с песком смешаны, кто-то насыпал в горн желтого песка. Сидор пальцем копнул угли. Они плотно слежались. Взял уголь в пальцы и увидел, что он совсем уже обтерся, пальцы в сажу не пачкаются.

У горна кувалда. На земле рядом с кувалдой небольшие кусочки ржавого железа. Сверху на кувалде ржавые желтые пятнышки.

— Угля даже нету,— говорит Клим,— а то, может, что-нибудь и сделали б.

Посреди цеха небольшой паровой молот. Им ковали большие детали. Теперь он клюв свой подобрал, спрятал в нутро свое.

— Как на кладбище,— повторяет теперь уже Сидоровы слова Клим.— Все мертвецкое, что ж он вот, молоток этот, без пара, без привода...

— Как у нас в мертвецкой было,— говорит за ним Си-

дор,— темно, холодно и тихо. Лежат люди, но неживые, не шевелятся...

Опять еще сильнее болит нога у Сидора, слабость по всему телу расползается. Клим угадывает настроение Сидора и уводит его от горна.

— Идем в жестяный,— говорит он,— там работают. Это, как говорят, самый живучий цех у нас: жестяные ведра, кружки, подойники делают и продают, жести у нас пока что хватает...

В жестяный Сидор отказался идти. Из кузнечного вышли во двор. Клим начал закуривать. Закуривая, заговорил:

— А от токарного ничего почти не осталось. Станки поляки забрали при отступлении, не было кому помешать им.

Клим лизнул кончиком языка папиросную бумагу, провел по папиросе пальцем, чтобы бумага приклеилась, и, подержав папиросу в зубах, взял, не закурив, опять в пальцы и закрутил кончик папиросы, чтобы табак не высыпался.

Закурил Клим, когда вышли из заводского двора на улицу.

Сидор посмотрел в открытую калитку на заводской двор. Двор снегом глубоким засыпан, позамел снег все прежние тропки, что были на дворе. Целые сугробы снега и на крышах. Все заметено.

— Много работы надо,— говорит словно про себя Сидор.

— И денег много,— добавляет Клим,— ой, как много денег надо будет...

— Оно так...

— А то как же? Отними у человека все, оставь с голыми руками, так он что ж? Ни при чем он тогда, пока кто-нибудь работы в руки не даст... И с заводом то же... Ни металла, ни угля, ни станков...

— А кто главный у нас теперь на заводе? — неожиданно для Клима спросил Сидор.

— Главный-то есть, но что из этого, смотрит только, чтобы не разворовали чего... Ну, да еще кое-какой заказ примет. Тут он и весь, наш главный, как говорят.

Так же неожиданно, как заговорил о главном, Сидор и попрощался. На прощанье Клим предложил:

— Приходи чаще, будем, как говорят, делать что-нибудь.

— Буду, буду приходить... Надо сделать, чтобы завод пошел.

— Вряд ли.

— Почему вряд ли? Сойдемся, поговорим и будем что-то делать...

— Что? Не такие заводы стали, а тут... Боюсь я, чтобы не закрыли совсем, как говорят, нашу лавочку...

— Не закроют, пойдет.

— Твои бы слова, как говорят, да богу в уши... Разве если бы взяться это...

Медленно, опираясь на костыль, Сидор пошел посередине улицы. А Клим постоял у калитки и опять вернулся на заводской двор.

III

Лукаш важно прошел в толпе крестьян и, крестясь на ходу, поцеловал в руках священника крест. Затем, расталкивая локтями женщин, направился через церковь к выходу. За дверью церкви, на широком, высоком крыльце, остановился, еще раз осенил себя крестом, глядя на сверкающий иконостас, и тогда степенно пошел с крыльца, надевая на ходу шапку.

У церковных ворот Лукаша ожидали односельчане. Вместе все они неторопливо пошли по дороге к своей деревне.

Из-за леса поднялась темная туча. Она медленно ползла навстречу и сердито ворчала. Тучу то и дело разрывали острые ломаные стрелы молний. Тяжелая, темная туча все ближе и ближе. Налетел и закружился по дороге, поднимая песок, сильный вихрь. За ветром упали первые крупные капли.

Лукаш глянул с опаской на тучу и, показывая рукой на ель, позвал:

— Идемте под ель. Под елью гроза не страшна.

Все заторопились к дереву, столпились вокруг толстого его ствола. Дождь закапал чаще, скоро светлые водяные нити потянулись от тучи до земли, устлали ее тонкой пеленой тумана. Чаще забегала по туче молния, сильней, где-то совсем близко уже, ударил гром. Лукаш снял шапку, перекрестился и шапки не надел. За ним перекрестились все, находящиеся под елью.

— От где сила божья,— начала разговор одна женщина,— побить, пожечь все может.

— Да так испепелит, что ничего не останется,— откликнулся на ее слова Лукаш.

— Говорят, много пожгло в Ложкове...

— Люди грешные стали, вот и жгет, и бьет,— опять вмешался Лукаш.— Вот еще, даст бог, и не так жечь будет.

— Что ты, Лукашка, пускай тех и жгет, которые грешат.

— А мы не грешим? Мы тем уже грешим, что грех вокруг себя терпим.

— Ох и правда оно,— опять откликнулась женщина,— боже ты мой, какая правда. Даем мы грешить. Батюшка в проповеди об этом говорил...

— А как красиво, как жалостливо говорил он,— вмешалась в разговор другая женщина,— говорит и аж плачет, бедный, за людей он.

— А ты понимай, потому что проповедь он не так себе говорил, а евангелие брал, чтоб мы посмотрели, нет ли уже того, о чем пророки говорили...

— Да есть уже, Лукашка, есть... Это ж и помор, и хворость разная, и разврат. Сын на отца пошел, гнезда сатанинские насаждаются...

— Неужто они все-таки займут двор? — спросил крестьянин, молчавший до этого.

— Коли дадим, так и займут,— ответил ему Лукаш.

— Такая землица, такая землица. Век бы навозу не надо было класть.

— Не удивительно. Так обработана: и деды, и отцы удобряли...

— А черт лысый пользоваться будет.

— Коли дадим, так будет.

— Известно... Дареному коню в зубы не смотрят.

— А как же им не дашь? — горячо спросил крестьянин.— Волость ведь за них.

— За них ли? Надо сходить поговорить.

— Известное дело, надо. А то воевали, братец мой, за землю, до революции на загоне одном душились, жизни не видели, а теперь опять. А где ж закон? Если земля панская, так, братец мой, мою долю мне дай, а на своей что хочешь делай, хоть черту лысому подари ее...

— Правду говорит. На своей части пусть хоть голову ломают, не то что коммуну делают.

Дождь прекратился. Гром гремел где-то далеко, и светило солнце. В свежих лужицах чистой воды весело искрились его лучи, обмывались.

Лукаш, не надевая шапки, степенно пошел из-под ели.

— Пойдем уже,— предложил он.— Я говорю, что делегацию нам надо в волость послать, из тех, кто на этой войне был.

— Надо.

— Чего ж? Вот Лукаша да еще двух-трех, и пускай сходят.

— Меня стоит ли? — отозвался Лукаш.

— Почему ж нет? Ты все знаешь про эту землю, все и скажешь в волости. Тебе надо пойти.

— Да оно все знаю, как и от кого земля эта...

А спустя день в кабинет к председателю волостного исполкома зашла делегация из пяти человек. Председатель поздоровался с делегацией, расстегнул воротник рубашки и, потирая ладонью шею, спросил:

— Ну, что вы ко мне, граждане?

Крестьяне переглянулись.

— С делом мы своим, за правдой.

Вперед немного выступил самый молодой из делегации и, размахивая над столом председателя шапкой, заговорил:

— Панский двор, если знаете, в Новиках у нас есть...

— Ну?

— ...Так вот же во дворе том коммуну хотят сделать...

— Ну?

— ...А оно нам и не совсем как будто подходит.

— Что?

— Ну, да эта самая...

— Коммуна?..

— Не то чтобы коммуна, а земля, что идет под коммуну.

— Земля испокон веку наша, как мы и отцы наши есть вечные местные жители,— поддержал крестьянина Лукаш.

— Ну и что?

— А то, товарищ председатель,— говорил далее молодой делегат,— что мы воевали и до этого век свой страдали за эту землю, чтобы иметь ее, значит. Не поели сытно, не погуляли, не вышли в праздник по-человечески...

Эта земля — единственное спасение наше, а они пришли, неизвестно кто, заняли...

— Так вы землю хотите?

— Ага, землю, известно, землю...

— А как же коммуна?

— И коммуна пускай, если так уж, но чтобы по закону. Панская земля всем нам поровну, а на своей части они пускай себе и коммуну делают или хоть черту лысому пускай ее отдадут.

Председатель молчал, что-то чиркая пером по бумаге. Тогда Лукаш стал ближе к столу, наклонился к председателю, чтобы подсказать ему, что написать в бумаге Новиковскому сельсовету. Наклонился и заговорил:

— Мы делегацией пришли, от всех, значит. Землю пускай сельсовет или волость по душам возьмет, сколько кому, и поделит...

— Закона такого нет, чтоб у коммуны отнять землю,— сказал председатель.

— А у нас отнять, разве есть такой закон? — заперечил Лукаш.— И кто ее за коммуной этой закреплял? Какой закон?

— У вас не отнимали, это же имение.

— А имение чье? Мы на ней, на земле этой, на пана работали, кровью и потом своим кормили ее, так тогда никто не видел, а теперь хозяева!.. Закон такой, товарищ председатель, должен быть, что земля всем малоземельным и безземельным.

— А кто там у вас в коммуне?

Делегаты заговорили все вместе.

— Да всякие там сошлись.

— Каскевичев Ян из солдат да еще такие...

— Родственников всех своих собрал...

— И если бы хозяева, а то испортят землю. Земля любит, чтобы у нее брать и чтобы ей давать.

— И всю землю они взяли?

— Оно сколько той и...

— Всю, всю начисто. Если бы свою часть только, а то всю...

— А может, вы бы с ними помирились, а?

— Без приказа вашего ничего не будет, они не мирятся.

Председатель обмакнул перо в чернила и начал писать.

— Я напишу, чтобы сельсовет в трехдневный срок законно урегулировал этот вопрос с землею, на которую вы претендуете... Вот. Сельсовет разберется и сделает все по закону.

— А как? — спросил молодой.

— А так,— председатель впился взглядом в того, кто спросил.— Раз по закону, так чтобы ни коммуны не обидеть, ни вас. Законы, братец, не для шуток пишутся. С законами тебе не шутки...

Председатель подписался на бумажке и довольно улыбнулся.

— Если бы не закон, вы бы покалечили друг друга из-за этой земли, а так по закону разберем и все...

— Вот мы и пришли просить, чтобы по закону сделали нам.

— Мы не какие-нибудь там,— добавил Лукаш,— мы век свой по закону жили...

Лукаш взял у председателя бумажку и, простившись, ушел из кабинета. Ушла и вся делегация. На дворе делегаты долго совещались между собой. Лукаш что-то объяснял остальным. А в тот же день, под вечер, под поветь, где Каскевич Ян осматривал старые поломанные повозки, пришли председатель Новиковского сельсовета и двое понятых. Председатель был пьян. Слегка выпили и понятые.

Не здороваясь, председатель сел на завалинку возле хаты, вынул из кармана бумажку, принесенную ему из волости, и позвал Каскевича. Каскевич, держа в пальцах загвоздку, вышел из-под повети.

— С чем пришли? Что хорошего скажете? — спросил он.

— Ты все хорошего хочешь? — откликнулся председатель.— А что если мы плохое скажем?..

— Меня и плохое не испугает.

— Да что там,— вмешался в разговор один из понятых,— ни с хорошим мы, ни с плохим, а с законом пришли...

— Ага, у меня вот приказ,— председатель показал бумажку.— Это чтобы я сам и по закону разобрался в земле панской. А закон такой: как всей земли пахотной шестьсот, а нас сто семнадцать, так вот и понимай, сколько вам, а сколько нам...— Он хитро подмигнул.

Из хаты вышел старый крестьянин — коммунар Дыбун. Он прислушался к разговору.

— А по какому закону это так выходит? — спросил Каскевич.

— По советскому. А ты здесь безо всякого закона сел.

— Покажи бумажку, кто ее так написал?

— Бумажки я тебе не покажу, она мне написана, официально, чтобы я собственноручно урегулировал этот вопрос. И я урегулирую его.

— Ну, это посмотрим. Так, как ты хочешь,— не будет. Земля коммуны, а что сегодня мало у нас еще семей, так это не факт, завтра может стать больше... Да такого и закона советского нет...

— Не знаешь, так не болтай, а я свое по закону сделаю.

К председателю подошел Дыбун, наклонился к нему.

— Какой ты законник, сучий ты сын! Нализался самогону, как кот сметаны, да еще законы наводишь? Ишь!..

Председатель глянул на Дыбуна посоловевшими глазами и поднялся с завалинки.

— Ты что ж это? — сердито спросил он.— Ты меня собакой обзывать? В тюрьму пойдешь за это! — помахал пальцем перед лицом старика.— В тюрьму за оскорбление во время исполнения служебных обязанностей! Я тебе это официально говорю! Я акт напишу!..

— Я тебе напишу, сучий ты сын, акт! Вот как возьму палку да как начну писать, мать свою не узнаешь. Гони его отсюда,— обратился Дыбун к Яну,— что ему здесь надо?..

Обиженный председатель сердито кричал, махал у старика перед носом бумажкой и подзывал к себе понятых. Понятые стояли молча, ждали, что будет.

— Я сделаю,— кричал председатель,— как мне приказано. И я вам запрещаю постольку поскольку пахать, раз вы идете против закона... чтобы не пахать мне, потому что я в волость донесу на такое, я вам покажу еще как означать!..

Понятые, сбитые с толку пьяными рассуждениями и криками председателя, отошли в сторонку, о чем-то беседовали между собой. Председатель все еще стоял у завалинки, махал рукой, в которой держал бумажку, и никак не мог вспомнить необходимых слов, чтобы сказать их Каскевичу. Затем вспомнил их, ступил два шага вперед, в сторону Каскевича, поднял бумажку и сказал:

— Я официально документом волостным предлагаю вам не пахать землю, а за оскорбление покажу еще, кто я есть...

Сказав это, он повернулся к старику и многозначительно покивал в его сторону пальцем. Старик зло сплюнул, оттолкнул от себя руку председателя и сердито, неспокойно заговорил:

— Прочь уходи со двора! Прочь, гадюка ты этакая! Наш двор это, какой ты нам указчик, пьяница!..

Председатель оглянулся на понятых и, покачиваясь, пошел к воротам. Там остановился и, показывая на бумажку, проговорил:

— Вы это не думайте, так это вам не пройдет! Я вам покажу еще, кто я! Собственноручно разберусь я с вами еще! Официально законом советским покажу, раз вы так...

* * *

Их было семеро. Пьяные, только что из-за стола, они, разгоряченные водкой и словами Лукаша, торопились. И Лукаш, в который раз уже, опасаясь, чтобы они под пьяную руку не наделали крови, советовал:

— Главное — напугать, страху нагнать. На семью и на самого на него страху нагнать, тогда бросит, отречется. А раз он, так и все. Если что — можно и стукнуть раз другой кулаком. Кулаком только, чтобы не до крови, чтоб напугать только. Тогда с богом, идите... Прогоним — земля тогда вся наша, по полчасти на семью припадет...

Они пошли.

Мать Яна варила есть. В печи давно выгорели дрова. Она сгребла уголь в угол печи и поставила два небольших горшка. Хотела закрыть печь и наклонилась, чтобы взять заслонку. Неожиданно заболела поясница, закокола, и она стояла, выпрямившись, держа в руке заслонку, ждала, пока пройдет боль. Тогда увидела, что по двору идут пьяные мужчины. Догадалась, что идут с угрозами, и выпустила заслонку. Заслонка упала на пол, под ноги ей, забренчала ржавой перегоревшей жестью. Бросилась в сени, чтоб запереть дверь, но не успела. Высокий, бородатый мужчина толкнул дверь и раскрыл ее. Она бросилась назад в хату и остановилась за порогом, не закрывая двери. Мужчины сразу в хату не пошли. Высокий остановился перед дверью, заглядывая в незакрытую печь, проговорил:

— Варишь? Злодея своего кормить будешь?

Обиженная за сына, мать не смолчала.

— Сам ты злодей,— ответила она,— а сын мой честный, ничего у тебя не украл.

— Не у меня, а у всех нас украл, землю нашу он украл.

Говоря, высокий переступил порог в хату. Мать отошла в сторону.

— Ищи, хлопцы, игрушку его.

Сам выглянул на улицу, потом под балки. Мужчины осмотрели сени, перерыли все в сундуке, в хате, на койках; тогда высокий, опять угрожая, обратился к матери:

— Нету? С собой взял, думает, испугаемся? Это не поможет! Со своей земли мы его прогоним. По бревнышку хату разнесем, разбросаем, но прогоним...

Из хаты мужчины, вихляя, пошли через двор на тропку, ведущую в поле. Как только мужчины ушли со двора, мать бросила, не заслонив, печь, не заперла хату, а перелезла через плетень у сараев, чтобы не заметили мужчины, и напрямик побежала в поле к сыну...

Душно Яну. Весь в поту и конь. Возле коня крутятся стаей слепни, липнут к нему, лезут ему в глаза. Конь сердито машет головою, останавливается и трет глаза о колени передних ног или достает головой и хватает зубами за места, искусанные слепнями. Ян дергает вожжами, стегает коня кнутом, и конь идет быстрее, и за ним плуг кладет, рассыпая, мягкую землю.

Ян в защитных красноармейских брюках. На ногах у него еще красноармейские ботинки, а гимнастерку сбросил, душно, и расстегнул воротник нижней рубашки.

Над полем носится игривый легкий ветер. Он прилетает, шевелит на голове волосы, залезает за пазуху и мягкими крыльями прохлады прижимается к груди.

С ветром долетел до Яна человеческий крик. Он дернул вожжами, остановил коня, прислушался. Крик повторился еще более отчетливо. Ян приложил к глазам руку и глянул в сторону деревни. Оттуда тропкой к нему шли мужчины, а в стороне от них, через поле, бежала женщина, кричала и махала ему рукою. Ян узнал мать и догадался, что мужчины идут прогонять его с поля.

Достал табак, свернул не торопясь цигарку и, закурив, стал, опершись на плуг. Уже недалеко мужчины. Они идут, вихляя, видимо, о чем-то говорят, потому что широ-

ко размахивают руками. А через поле, спотыкаясь, бежит мать и кричит Яну, чтобы он спасался. У матери упал с головы платок. Она держит платок в руке, прижала руку к груди, наверное, запыхалась очень, спотыкается от усталости и страха, падает, поднимается, некоторое время идет тише, чтобы отдышаться, и опять начинает бежать. Ян кричит ей:

— Мама! Не бойся! Не беги! Не бойся!..

А ветер навстречу доносит ее крик:

— Ухо-о-о-ди! Спасайся-а-а!

Тогда он опять кричит, чтобы мать не бежала. Она, наверное, слышит, а может, устала совсем и от этого замедлила шаги, идет и держит в руке на груди платок.

Еще ближе мужчины. Они машут кулаками в сторону Яна и кричат:

— Про-о-о-чь с поля, мать твою!.. Про-о-о-чь! — доносит ветер.— Убирайся про-о-очь!..

Кричат и машут кулаками. Ветер мягкий ласково обнимает лицо, шевелит на голове Яна густые светлые пряди, отворачивает воротник рубашки и ласково прижимается к голой вспотевшей груди, успокаивает. На воротнике рубашки виднеется небольшим черным пятнышком еще не смытая полковая печать. Ян смотрит на мужчин, слышит, как орет высокий:

— Уходи с поля! Не пойдешь — костей не соберешь!..

За ним орут другие:

— Про-о-о-очь с нашей земли!

— Во-о-о-он!..

Еще ближе подошли мужчины и замедлили шаги. Ян выплюнул цигарку себе под ноги, всунул руки в карманы брюк, крепче оперся на плуг и молча смотрит на мужчин. Мужчины думали, что Ян бросит коня или отцепит плуг и удирать будет верхом. Они приготовились к этому и, удивленные тем, что он не удирает, столпились, задержались и, заговорив, не пошли дальше. И высокий более спокойным, но все еще крикливым голосом заговорил:

— По-хорошему уходи с поля. Сам лучше уходи, не вводи в грех!

— Не дадим коммуны делать! — кричат за ним другие.— Прочь уходи!..

Мелькает перед глазами Яна воротник рубашки с полковой печатью. Неспокойно бьется в груди сердце. Но еще спокойным голосом он ответил мужчинам:

— Чего ж стали, наверное, недорого заплатили вам?.. Неужели по шкалику только?.. Дешево слишком, стоило больше бы взять за такое...

Говоря это, почувствовал, как сжалось, свернулось в комочек сердце и забилось чаще и сильнее. Тогда вспомнил далекие-далекие дни и полку, когда на фронте был. Стояла ночь, и пахота была вязкая от дождя и холодная. А надо было подползти по пахоте к сараю, снять без выстрелов белых часовых и спасти своих пулеметчиков, которых белые готовились вешать. Тогда именно вот так билось сердце. Не от страха перед угрозой, что могут заметить и убить, а от страха, что не успеют своевременно доползти и спасти товарищей. Именно вот так билось тогда сердце... ту-ту, ту-ту, ту-ту...

— Не тяни, прочь с поля! — кричит высокий.— Чего зубы заговариваешь!.. Вон с земли нашей!..

Но стоит на месте, не идет ближе к Яну. Стоят на месте все, несмело поглядывают друг на друга. Ян понял, что мужчины боятся подойти ближе к нему, что возвращается к ним в поле трезвость, и нервным голосом крикнул им:

— Купили вас! За водку купили! Эх вы, люди!..

Оттолкнулся с этими словами от плуга и пошел прямо на мужчин, тяжело ступая по пахоте ботинками, держа руки в карманах.

— Дешево заплатили вам! За коммуну стоило бы больше взять, мы за нее кровью платили...

Мужчины замолчали, растерялись, испугались и начали отступать, поглядывая на его руки в карманах. Ян идет прямо на них, идет и говорит:

— Скажите тому, кто напоил вас, и сами запомните, что коммуна будет жить!..

Идет он — высокий, спокойный, держит руки в карманах, тяжело ступает по пахоте большими красноармейскими ботинками. Спокойствие его пугает мужчин... Они отходят, льнут друг к другу так, чтобы не быть никому впереди других, и уже несмелыми голосами выкрикивают:

— Не имеешь права пахать! Не имеешь права пахать! Наша земля это! Не по закону пашешь ты ее!

Выкрикивают и отходят уже быстрее. Со стороны к Яну подошла мать. Устала она и напугалась. В глазах ее слезы. Она что-то говорит, идя рядом с Яном, то ли отговаривает, чтобы не шел он за мужчинами, то ли сетует на что-то, не понимает Ян. Мать увидела это и схватила его

за рукав рубашки, удержала. Ян остановился и оглянулся на мать, увидел на середине загона коня. Конь вылез из упряжки и, стоя боком к плугу, поперек загона, широко взмахивал головою, спасаясь от слепней.

IV

Для Панаса эта встреча была совсем неожиданной. Вечером сидели на лавках возле клуба девчата и хлопцы, ожидали начала кино. Пели. Панас сидел молчаливый, слушал. И вдруг у самого его уха девушка крикнула:

— Гляньте, «Коси сено» идет!

— Сидор-«Коси сено»!..

Девчата захохотали. Панас глянул вдоль улицы. Там, посередине незамощенной улицы, улыбаясь навстречу молодежи, шел, хромая, Сидор. Идя, он взмахивал правой ногою, словно косой на сенокосе, переставлял ее, относя далеко вправо, нес ногу над самой землей, и она пылила. За это девчата и прозвали его так: Сидор-«Коси сено». Девчата смеялись, а Сидор издали, хромая, замахал им шапкой.

Остановился Сидор, поздоровавшись со всеми, сразу. Снял фуражку и, держа ее над головой, улыбаясь, обвел всех взглядом. А потом кивнул головой Панасу и подошел к нему.

— Как будто, не ошибаюсь. Мы, кажись, вместе лежали в лазарете.

Панас встрепенулся, стал вглядываться Сидору в лицо, вспоминая, а Сидор подсказал:

— Помнишь, барак такой холодный, тогда все ушли из барака, а ты остался и еще припадочный...

Панас вспомнил.

— Помню, помню хорошо это. Ты, кажется, последним тогда ушел.

— Ага, я раздумывал еще пойти или остаться...

Хлопцы и девчата наблюдали за Сидором и Панасом, слушали их разговор. Их заинтересовала эта неожиданная встреча Сидора с новым рабочим, а Сидор, обратившись к присутствующим, показал рукой на Панаса и объяснил: — Вместе мы лежали в больнице. Холод был тогда в больнице больший, чем у нас зимою в кузнечном цеху, а раненых было много, да все такие, что поправлялись.

А тут в городе тиф, паника, народ помирает. Ну, и помирать никому, конечно, не хочется, вот хлопцы и забузили и оставили барак, сами разбежались кто куда. Все ушли, до единого. Остался только он да один больной, припадочный.

— Меня в тот же день перевели в другой лазарет,— сказал Панас,— а того больного тоже куда-то забрали в город. Лазарета того я больше и не видел. Но и злость меня тогда взяла, не знал, что делать. Мороз, холод на дворе, а они, не выздоровев как следует, без врачебного разрешения — домой.

— Чего только не было в те годы,— согласился Сидор,— и трудного, и веселого было много.

— Много-о!

В клубном зале три раза прозвенел звонок. Начинался киносеанс. Сидор вместе с Панасом пошли в залу.

V

В городе очереди такие уже четвертый день. Четыре дня тому назад в магазинах города не хватило хлеба. Это было вечером. Весть о том, что не хватило хлеба, быстро облетела весь город, и у хлебных магазинов вскоре выросли большие очереди. За хлебом пришли и те, у кого хлеб еще был. Очереди стояли до одиннадцати часов ночи и разошлись тогда, когда магазины, распродав хлеб задолго до этого, закрылись.

На второй день утром, у всех хлебных магазинов, еще до открытия, стояли длинные хвосты. В этот день завод увеличил выпечку хлеба на двадцать пять процентов против обычной, но магазины опять, задолго до закрытия, опустели. Хлеба не хватило, очереди стояли. На третий день завод увеличил выпечку хлеба еще на семьдесят пять процентов. На заводе предполагали, что обилием хлеба они остановят панику и уменьшат очереди. Грузовики, специально для этого выделенные, развозили хлеб по магазинам, и не успевал он остыть, как его разбирали. Хлеба опять не хватило. А по городу поползли слухи про голод. Вспомнились десятилетней давности времена, и невидимо поползла тогда по городу, по улицам и переулкам, по дворам и квартирам, «черная оспа» паники. Город испуганно оглядывался вокруг, взволнованно прислушивался

к слухам и потихоньку, прячась в квартиры, запасал продукты. На третий день в магазинах не хватило круп. Планы обеспечения города были нарушены. Люди, ответственные за это дело, видя, что очередь не уменьшается, растерялись, не знали, что делать. А очередь нарастала. Она перебросилась и на другие продукты. Исчезли некоторые продукты и на рынке, а на улицах, возле очередей, появились женщины с кошелками и предлагали кусковой сахар, швейные нитки и шелковые чулки. В этот день паника достигла апогея. В очередях у магазинов люди стояли с двух часов ночи. Милиция уговаривала женщин разойтись по домам. Женщины отвечали на это бранью и не расходились. Утром парткомом в город были брошены силы, чтобы объяснить положение с хлебом. На улицах, где стояли очереди, проводились короткие митинги. Ораторы доказывали цифрами, что город имеет хлебные запасы, которых достаточно до нового урожая, а толпа, пораженная паникой, слушала, не верила ораторам и опять расползалась, чтобы стать в хлебные хвосты.

Хвостами начался и четвертый день.

* * *

Панчошка видел впереди себя длинную бесконечную серую ленту людей. Лента выгибалась, то прижималась к стенам домов, то отклонялась в сторону мостовой и медленно продвигалась вперед, туда, где конец ее пропадал в магазине. И в общем движении вслед за широкоплечей низкой женщиной ступал короткими шажками Панчошка. Его взгляд то бесцельно плутал вокруг по тротуару на противоположной стороне улицы, то неподвижно застывал, задержавшись на камнях запыленной мостовой. Дома он сильно нервничал, а здесь, в очереди, успокоился и уже совсем довольный слушал крикливый разговор впереди стоящих женщин.

Перед широкоплечей соседкой Панчошки стояла старая женщина. Она уже получила один раз хлеб, но не успокоилась на этом и встала в очередь заново. Повернувшись боком к соседке, старуха достала из кошелки хлеб, чтобы показать, как его мало, а потом, глядя в лицо соседки, запихивала рукой хлеб в кошелку. Хлеб никак не попадал по назначению, у старухи дрожали руки. Панчошка следил за движением ее рук, и на лице у него появилась

усмешка. В этот момент хлеб выскользнул из узловатых пальцев старухи и упал на мостовую. Панчошка засмеялся тихонько, хотел согнуться поднять хлеб, но прежде его подняла широкоплечая соседка. Она положила хлеб старухе в кошелку и что-то сказала ей. Старуха не услышала и в свою очередь спросила соседку:

— Что это будет? Что это будет?

— Без хлеба будем,— ответила соседка.

— Так что ж без хлеба? А как же жить? — опять спросила старуха.— Что есть будем?

— Не поевши, бабушка, будем,— вмешался в разговор Панчошка,— меньше есть будем.

Сказал это и тихонько довольно захохотал. Соседка, не обратив внимания на его слова, ответила старухе:

— Сухари вон сушат люди!

Старуха не услышала.

— Что говоришь?

— Сухари сушить надо! — уже громче крикнула соседка.

— Сухари, сухари. А из чего их насушишь? Некому у меня за хлебом стоять, одна я живу, а старик мой не хочет в очереди идти, ругается. А я одна, хорошо, если еще раз управлюсь получить.

Усмешка на лице Панчошки потускнела, скривилась и исчезла... Он отвернулся и стоял, тупо поглядывая на мостовую. Из-за очереди шагнул на мостовую и подошел к Панчошке Потеруха. Еще издали он приподнял над лбом кончиками пальцев фуражку и поздоровался, а приблизившись, сочувственно спросил:

— И вы в очереди, Демьян Андреевич?

— Как видите, Семен Семенович. Евгения Степановна слегка прихворнула, так я сам пошел. Из-за этого вот и на службу опаздываю.

В это время мимо очереди проехал автомобиль. Потеруха приподнял над головою фуражку и склонил голову в сторону автомобиля.

— Кто это поехал? — спросил Панчошка.

— Секретарь парткома.

— Который из них?

— А этот, что с бородою.

— Вы с ним знакомы?

— Да, знаком, встречался...

— И близко знакомы? Беседовали с ним?

— Да, беседовал... Часто даже. Он простой такой...

— Завидую я вам, Семен Семенович.

— Нашли чему завидовать. Что ж тут удивительного?

— Все-таки секретарь, знаете...

— Я со многими из начальства знаком, ничего удивительного в этом нету,— Потеруха сделал серьезное выражение лица.— В партии так и должно быть... Но это не главное, а главное то, что он ездит в автомобиле, а в городе с хлебом вон что творится, и он об этом, наверное, не заботится. А как же Евгения Степановна? — спросил Потеруха.

— Слегка прихворнула.

— Ага, правильно, вы уже говорили. Ну, я пойду на службу. До свидания. Кланяйтесь Евгении Степановне.

Тем временем автомобиль, в котором ехал секретарь парткома, остановился около здания окружкома. «Старик», так называли его в организации, ловко вылез из машины и, прихрамывая, так же ловко, пошел на второй этаж, где находился его кабинет. Вслед за ним шли еще двое, приехавшие вместе в автомобиле. Автомобиль остался ждать. В кабинете «старик» снял пальто, сел за стол и достал из портфеля краткую таблицу данных о запасах хлеба. Глядя в таблицу, заговорил:

— Очередь растет, хоть мы и выбросили значительные запасы хлеба. Такое положение может лишь увеличить панику, значит, надо как-то по-другому организовать распределение хлеба. Я об этом думал... В городе есть на сегодняшний день муки ржаной обойной 31 вагон, отсевной ржаной 2 вагона и 58 вагонов немолотого хлеба. Муки пшеничной мы имеем 54 вагона и 3 вагона пшеницы зерном. Значит, на 8 июля мы имеем 148 вагонов хлеба. Надеемся, что в июле мы сумеем завезти 36 вагонов обойной ржаной муки и 15 вагонов пшеничного простого помола. Все это дает нам 127 000 пудов ржаной и 72 000 пудов пшеничной муки. А если учесть 25 процентов припека, я беру, правда, самое максимальное, мы будем иметь 248 750 пудов хлеба. Так... Этим хлебом надо обеспечить рабочих, безработных, детей, служащих и все остальное трудовое население города, не обеспеченное хлебом... Да... Без строгого учета каждого килограмма хлеба мы ничего не сумеем сделать. Значит, нам надо как можно точнее учесть население, определить норму выдачи и метод распределения. Я предлагаю давать по полкило на день ра-

бочим и триста граммов служащим. Это приблизительно. Количество людей надо учесть более точно. И тогда уточнить нормы. А что касается метода распределения, я считаю, что это надо производить по кооперативным книжкам и специальным удостоверениям, кто не имеет книжек...

Пока говорил «старик», все присутствующие слушали внимательно. Но представитель кооперации при этом нервничал и на бумаге, которой был застлан стол, делал для себя какие-то пометки. А когда «старик» замолчал, он заговорил первым — торопливо, взволнованно, сбивчиво.

— Я думаю, это неправильно. Мы предлагаем не по книжкам... Неправильно по книжкам, надо по хлебным карточкам выдавать. Книжки не дадут мне возможности учесть каждый килограмм хлеба...

— А я заявляю,— перебил его «старик»,— что кооператоры сами испугались паники, хотя в появлении ее сами в значительной степени виноваты. Теперь карточки нельзя вводить,— говорил он,— карточка хлебная сегодня вызовет еще большую панику. Надо нормировать выдачу хлеба книжками, а там посмотрим, может, отыщем и лучший метод, более совершенный...

— Но мы уже печатаем карточки! — заявил кооператор.

— А кто вам разрешил это делать?

«Старик» замолчал, ожидая ответа, и, не дождавшись, заговорил зло:

— Я предлагаю немедленно изъять карточки из печати, думаю, что все с этим согласятся. Паникой паники не ликвидируете, товарищи кооператоры! Нам не это надо. Примите, согласовав с профсоюзами, окончательно нормы и с сегодняшнего дня выдавайте хлеб по книжкам. Завезите хлеб на заводы и буфеты, чтобы рабочие не стояли в очереди. Увеличьте количество хлебных магазинов, меньше людей будет в очередях. А на заводах надо сегодня же после работы провести кратенькие собрания, чтобы информировать рабочих о положении с хлебом. Через два часа агитпроп выделит необходимых для этого людей... Вот и все... Ну, профсоюзам вообще, по-моему, надо более систематически работать на предприятиях над всеми вопросами такого плана... Вот так... все...

«Старик» поднялся из-за стола и с таблицей вышел из кабинета. Возвратившись, еще раз напомнил кооператору:

— Немедленно примите меры, чтобы изъять из печати хлебные карточки, и займитесь хлебным вопросом... без паники...

VI

Поссорились.

Жена запричитала, взявшись за голову, и ушла в кладовку. Оттуда еще некоторое время доносились ее неразборчивые слова. Слова пропадали во всхлипах, потом слов не стало слышно, а доносились в хату только короткие, отрывистые всхлипы.

Сам Петро сидел у стола и ладонями крепко сжимал виски, думал про свою трудную, неудачную, как он говорил, жизнь. Силился продумать, из-за чего только что произошла у него ссора с женой, и никак не мог найти необходимых мыслей. А если и ловил их в общем потоке дум, то никак не мог найти конца их. На лавке, недалеко от двери, опершись на подоконник, сидел сын Петра и смотрел неотрывно куда-то во двор в одну точку. На печи, повернувшись лицом к стене, лежал, бормотал что-то неразборчивое и стонал отец Петра.

В печи ярко пылают сухие дрова, трещат на огне. Закипела в печи и бежит из чугуна на горячий под вода. На поду шипит. Петро понимает, что надо подняться, взять вилы и вынуть из печи чугун с водой, но не может подняться, потому что не может снять ладони с висков. Понимает и сын, что надо сделать, чтоб не шипела в печи вода, но тоже сидит неподвижно и смотрит в окно.

Но вдруг из кладовки донеслись частые неровные всхлипы, а затем жена опять запричитала, произнося неразборчивые слова растянуто и крикливо, нарочито, чтобы слышал их Петро и чтобы слышали другие в хате. Тогда вдруг сорвался с лавки сын и вышел из хаты, не прикрыв двери. Слова женщины стали громче и отчетливее. Повернувшись на печи, отец поднялся и сел, спустив ноги, и громче застонал, согнувшись, что-то забормотал, пересыпая слова стонами.

В печи из чугуна все так же бежала вода и шипела на горячем поду. Петро подхватился с лавки, глянул в окно, достал из-под лавки мешок и пошел из хаты. За дверью, в сенях, у него появилось желание подойти к кладовой и сказать жене ласково: глупая, не плачь, в печи вон все выгорело, иди в хату, а я пойду муки одолжу. Но не сделал

этого, а только остановился на полминуты за дверью, прислушался к всхлипываниям жены, к ее словам, выплывающим из всхлипов, и пошел через двор на улицу деревни.

На дворе Петро остановился, опять хотел увидеть сына, но сына не увидел. Взгляд его остановился на раскрытом с гнилыми стенами сарае, на поломанной без колес повозке, на разбросанном плетне. Стало обидно за себя, что поссорился с женой, хоть она ни в чем не была виновата.

По обе стороны длинной и грязной улицы стоят старые давние плетни. Под плетнями выросла густая и высокая крапива, а за ней широколистый зеленый репей. Кусты репейника подошли под самые ступеньки подслеповатых хат. Хаты крыты соломой или дранкой сосновой, и на старых крышах с северной стороны вырос густой бурый мох. А рядом с хатами стоят, как калеки, еще более старые, с гнилыми, наклонившимися на двор углами, сараи. Коегде лишь здания немного новее, да в конце деревни, под высокими липами, большой и крепкий еще дом священника.

За этим домом, немного в стороне от деревни, церковь. А дальше в поле хутора. Хуторов немного.

Петро миновал улицу и пошел напрямик через холм на хутор к Мышкину. Шел торопливо, словно боялся, что опоздает, не застанет дома самого Мышкина и не одолжит муки.

Мышкин, совсем не старый еще человек, подгребал навоз у сарая. Он, не прекращая работы, ответил на приветствие Петра и, поглядывая на испачканные в навоз грабли и на лапти Петра, спросил:

— С чем бог принес, сосед?

— С горем,— ответил Петро.

— С горем не надо на мой двор ходить, а то и у меня горе заведется.

— Ты счастливый, тебе везет.

— Где оно везет? Нет, дорогой мой, того богатства, что некогда было.

— Конечно... Но тебе-то что?

— То самое... На собрании так и мы беднота, и мы такие, и мы сякие, за советскую власть все, а про себя и забыли. А тот приедет, отбарабанит языком свое и уехал. У него в кармане есть, а ты дохни, пухни с голоду...

— Не говори... Я к тебе, спаси, хоть на клепки дай.

А Мышкин словно не слышит и продолжает рассуждать.

— ...и если бы один так, два, а то все, вся деревня.

— Спаси, брат,— просит Петро,— а то дети помрут. Старик умирает на печи, жена ревет, а я уже не знаю, что делать. Я отдам или отработаю, как захочешь.

— У меня у самого нет. Где взять?

— Пожалей, сосед, мне некуда больше идти.

— А кооператив? Бедноте ж, кажись, там дают? Или нет? Может, и это только так себе они языками треплют? Они-то сытые...— Помолчал.— Может, пуд какой-нибудь и наскребу. Тебя я знаю, ты свой человек, старательный, а если бы лодырю, ни за что не дал бы... А там рассчитаемся, цену ж ты нынешнюю знаешь... Летом, может, жена отожнет или сам откосишь, пускай уж, по-соседски рассчитаемся.

— У меня не пропадет,— ответил Петро,— ты ж меня знаешь, отработаю. Спасибо и за это. Хоть по горсти на клецки будет...

Когда Петро взял муку и собрался идти домой, Мышкин спросил:

— А там ничего не слышно разве о какой-нибудь помощи, или что? Люди ж это осенью хлеб сдавали, может, все-таки и для своей бедноты немного там?

— Не слышал я.

— Да оно где там дадут. Лишь бы взять... А я вот ссудил тебе, а сам боюсь, что не дотяну. А как выпадет год такой, что не уродит, что тогда?

— Да уродит. Спасибо что одолжил, братец.

— Ешь на здоровье, дорогой мой... Дожили-и, слава богу.

Петро старательно закрыл за собой калитку и пошел.

Поле покрыли зеленя. Над полем такое чистое весеннее небо. Под этим чистым небом ветры разносят и рассыпают густые трели жаворонков. Радостно. Все тяжелое отступает. Издалека приходит безотчетная надежда на что-то лучшее. Надежда. Как много людей, попадавших в объятия отчаяния, спасла надежда. Она появится, далекая, как мираж, но всегда зовущая, и пробудит в человеке угасающую искорку желания жить. Такую недежду лелеял в мыслях и Петро, пока не дошел поближе к своей усадьбе. Тогда надежда вдруг пропала. Петро услыхал, как на огороде за хатой закричала и отчаянно заплакала жена.

Он рванулся и побежал по улице. Во дворе бросил у повозки мешок с мукой и побежал к огороду, но остановился у плетня. Плетень, загораживавший гряды, показался очень высоким. Петро не мог поднять ноги, чтобы перелезть через него. В глазах у него потемнело, перед глазами поплыли пятнами неправильные светлые и зеленые круги.

На густой зеленой высокой траве лежал, вытянувшись во весь свой рост, тонкий и длинный сын. Казалось, он лег в тенек на росную еще траву, чтобы остыть от весенней жары, чтобы отдохнуть. На земле около сына сидела мать, дергая плечами, глотала короткие, частые всхлипы.

* * *

Спустя полтора месяца после этого случая в Терешкином Броду было собрание. На собрании с большой речью выступил инструктор окружного исполкома Евмен Астюк. Речь была спокойная и длинная. Крестьяне сидели молча, подолгу смотрели на оратора и думали о чем-то своем, что было значительно ближе, что наболело и о чем ничего не сказал оратор.

Когда Астюк закончил свою речь и, вытирая платочком вспотевшее лицо, сел за стол, слово взял местный член сельсовета, председатель собрания.

— Докладчик закончил,— сказал он,— и будут теперь вопросы. Из города,— продолжал он, поглядывая на приглаженную прическу Астюка,— докладчики у нас очень редко бывают, поэтому и не знают они, как мы живем в Терешкином Броде, где нет ни партии, ни комсомола, чтобы нам кто-нибудь помог. Так вот, граждане, чтобы знали в городе все наши обиды и жалобы, надо, граждане, все сказать товарищу докладчику... У кого есть какие вопросы?

Он сел. Молча сидело и собрание, никто не откликался. Молчаливые люди смотрели на Астюка, на своего члена сельсовета, смотрели через окно на двор, гадая, какая будет погода, и думали о чем-то своем. Сквозь окно падало в хату солнце. Мутным пятном лежало оно на сером полу, у дедовых ног, обутых в лапти. Дед внимательно смотрел на Астюка. Астюку было неловко от этого взгляда мутных, застывших дедовых глаз, и он опустил свои глаза, глядя на пол у дедовых лаптей. Астюку уже казалось, что у собрания не будет вопросов к нему, что вообще собрание скоро кончится и он еще засветло заедет на станцию.

Поднялся из-за стола председатель собрания, хотел еще что-то сказать и не сказал, потому что с угла, от самой двери, кто-то крикнул:

— Давайте вопросы! Чего воды в рот набрали! Как за углами, так всего у нас наслушаешься, а как приехал человек — молчите!..

За ним нестройным хором, перебивая друг друга, заговорили женщины:

— Правду говорит!

— Чего молчите?

— Говорить надо!

— За углами умеете говорить, а здесь нет! Боитесь!..

И незаметно в этот хор женских голосов вплелись крикливые мужские голоса.

— Пускай знает товарищ, как мы живем!

— Почему в кооперации нашей нет ничего?

— Что есть будем?

— Что с беднотой будет, которая вон пропадает без хлеба?..

Астюк не успевал записывать вопросы, морщился и просил председателя собрания, чтобы вопросы задавались поочередно. Председатель выслушивал Астюка, тоже морщился, постукивая карандашом по столу, и призывал собрание к порядку.

— Так ведь нелья, граждане! — сказал он.— Товарищ так нечего не запишет. Надо вопросы ставить поочередно, а потом прения — там и выскажете все...

— Я ж и ставлю вопрос,— отозвался кто-то из середины.— Известно, вопрос. Как приезжают, так все у них гладко и все за бедноту, а когда бедноте есть нечего, так их здесь нету!..

— Так что же ты спрашиваешь? — обратился к нему председатель.

— Вот и спрашиваю, почему оно так!

— Почему редко, значит, приезжают и почему голод, он спрашивает,— сформулировал по-своему вопрос другой крестьянин. А затем опять заговорили все вместе.

Крикливые голоса наплыли на Астюка громадной глыбой тяжелых вопросов, а он опять не успевает записывать их и с тревогой наблюдает за собранием, за подвижными лицами людей, ждет, когда они умолкнут. Смотрит и нервничает, как ответить на все эти вопросы.

Из потока крикливых и разнообразных голосов выр-

вался сильный, женский, победил остальные. Женщина махнула в сторону Астюка рукой, бросила в него гневными словами:

— Почему вот, вопрос, советская власть дозволяет богатым брать по десять рублей за пуд и издеваться над бедным! Я не постыжусь, я прямо скажу в глаза Горбулю: я пришла к нему, так он смеется надо мной, иди, говорит, пускай тебе комитет взаймы даст, ты ж беднячка, и не дал, и не одолжил!..

— Правду Палашка говорит!

Наперед протиснулся низкорослый мужчина. Расстегнул ворот грубой домотканой рубахи, обнажил худую грудь и выставил ее Астюку.

— Бедняк я! — кричал он надрывным голосом.— Я на фронте был в обеих войнах! Силы свои растерял по окопам, а тут в кооперации сволочь разная сидит, о нас не заботится так, как советской властью сказано. Правду Палашка говорит, пускай знает этот товарищ, нечего таить нам!..

Когда собрание к вечеру успокоилось, высказав самое больное, что тревожило его все дни, Астюк опять произносил речь. В хате было тихо. Крестьяне то ли слушали речь, ожидая ответа на свои высказанные мысли, то ли думали о чем-то совсем ином. Только когда Астюк в выступлении помянул коммуну, его перебил старый дед, сидевший впереди, напротив Астюка.

— Нагляделись мы на жизнь коммунскую,— сказал он,— знаем ее, слава богу. Были наши там, да побежали что-то, недаром, наверное...

Замечание деда выбило из уст и из памяти Астюка слова, приготовленные собранию. Астюк замолчал, начал торопливо подыскивать новые слова и, не найдя их, быстро закончил выступление.

Когда собрание расходилось и Астюк готовился надеть пальто, к нему подошло несколько мужчин. Мужчины остановились перед столом, подождали, пока Астюк надевал и застегивал на все пуговицы пальто, а потом старик с широкой рыжей бородой сказал:

— Вы не подумайте, товарищ, про нас что-нибудь плохое. Мы народ темный, ничего не знаем. Кричим мы потому, что говорить не умеем. Разговор наш мало помогает, так мы кричим. А кого и научат, чтобы кричал...

— Э, кто там учит,— вмешался в разговор еще один,—

болит, так мы и кричим. Темный народ не видит пути-дороги и зовет, а может, кто и отзовется...

— Почему не учат? У-учат,— проговорил первый.

* * *

На станцию Астюк ехал, когда уже совсем смеркалось. От собрания у него осталось очень тяжелое впечатление. И сложилось оно, наверное, потому, что собрание было слишком шумным и Астюк не сумел произнести свою вторую речь до конца. И еще брала злость, что послали его в такое далекое от железнодорожной станции место. Злился Астюк на партком, и на партком хотелось взвалить вину за шумное собрание, за тяжелую крестьянскую жизнь. Немного успокоившись, он уже думал, как напишет свою докладную записку президиуму и ОИК и в записке выскажет всю свою злость. Намеревался обвинить в записке кого-нибудь за это крикливое деревенское собрание.

Повозка катилась ровно по глубокой, вырезанной за многие годы колее, и колеса потихоньку вздрагивали. Это успокаивало. Астюк молча сидел, откинувшись плечами к задней спинке, и смотрел в спину молчаливому подводчику. Иногда колесо попадало в ямку. Тогда вдруг наклонялась на бок повозка, сильно вздрагивала, и Астюк ударялся локтем о боковую спинку. Мысли прерывались, но быстро опять возвращались, и Астюк опять успокаивался.

VII

Большая рыночная площадь горбилась покатым квадратным холмом среди низких деревянных хат окраины, и испуганные хаты разбежались по сторонам и столпились вокруг узких переулков, и на площадь поглядывают несмело из-за густо зачастоколенных палисадников. Из-за хат, с поля, что за окраиной, прилетает сердитый северный ветер, гонит на площадь сухой мелкий снег, обсыпает снегом людей, подводы, лошадей.

Из узких переулков выползают коренастые мохнатые крестьянские кони, тянут за собой по скользской городской дороге низкие санные возы и, тяжело упираясь, выползают на холм. Еще в переулке соскакивает крестьянин с воза, оглядывает заполненную площадь, выбирает место,

чтобы проехать через рынок, на избранную стоянку. А рынок уже с самого утра живет своей, свойственной ему, жизнью. Густо снуют между возами люди, приезжают и уезжают подводы и растасовываются, как карты, по рыночному квадрату, занимают отведенные им места. Недалеко от большой улицы Либкнехта, где еще возвышаются высокие каменные белые дома, пришедшие сюда из центра, столпились подводы с зерном, картофелем, спрятанным в мешках, в соломе. Возле подвод женщины с корзинами, в которых куры, яйца, сыры, лук. Женщины и дальше рядами, почти до середины площади. В стороне от них возы с сеном, соломой, снопами. За ними близко, редкие, будто случайные здесь, возы с дровами. И дальше, занимая почти половину площади, столпились подводы с привязанными к саням коровами и лошадьми. Между подводами ходят торопливые люди с кошелками. На подводах сидят или стоят возле них люди, одетые в бурые кожухи, в серые поношенные армяки. Пряча от ветра головы в высокие воротники, они топают возле саней, чтобы не мерзли ноги, и лениво отвечают городским на вопросы о цене.

Клим пришел на рынок, чтобы купить дров. Он пересек площадь от самой улицы и остановился возле подвод, где продавались коровы и лошади. Покупателей и здесь было много. Они осматривали у коров вымя, обходили вокруг, давали поесть сена или пальцами щупали, сытая ли корова, и предполагали ее вес. Лошадям подолгу смотрели в зубы, осматривали копыта, грудь, потом стегали их кнутами, гадали об их ловкости или попросту так осматривали их, стоя в стороне.

Мохнатые крестьянские коровы ежились, вбирая в себя и так тощие бока и прижимались к возам, становясь задом к ветру. Кони топтались у саней, выбирая заснеженное сено, тоже поворачивались, чтобы ветер не дул в глаза, потом становились, слегка расставив задние ноги, и, вздрагивая всем телом, стряхивали с себя снег, согревались.

Клим стоял, поглядывая на высокого гнедого коня, вокруг которого ходило несколько мужчин. От коня отошел один из них и, поравнявшись с Климом, сказал:

— Двенадцать рублей за коня. Дешевле, чем гусь или курица...

Клим не поверил.

— Что вы, неужели?

— Да вон ведь! — он показал на людей, стоявших вокруг гнедого высокого коня.— Хозяин просит уже восемнадцать, а дают двенадцать... а за двадцать пять можно отличного коня купить.

— Двенадцать рублей? — удивленно повторил Клим.

— И отдаст,— сказал мужчина.— Больше они и не дадут. Продают на шкуру, лишь бы с рук сбыть.

Мужчина пошел. Клим некоторое время постоял, думал о чем-то, потом пошел в сторону, где находились возы с дровами.

Низенький крестьянин, хозяин дров, подкладывал коню сена. Когда Клим подошел к дровам и стал осматривать их, хозяин выпрямился, держа горсть сена, и сказал:

— Дрова хорошие, гореть будут, как керосин, будут... восемнадцать рублей. Берите, каяться не будете...

— Восемнадцать рублей за воз дров? — удивленно переспросил Клим.

— А вы думали за что? — спокойно ответил крестьянин.— За воз, за мой воз...

— Дорого,— заметил Клим.

— А что теперь дешевое? — спокойно продолжал крестьянин.— Все теперь дорого...

— Дорого-то дорого, но ты же за дрова больше берешь, чем за коня...

— А что конь, конь не до толку нам теперь,— сказал крестьянин,— коня, может, и рад теперь кто-нибудь продать, хоть на шкуру, лишь бы сбыть, а без дров холодно, дров теперь никто не везет...

Сказал, хитровато улыбнулся и замолчал.

Клим ничего не ответил. Он отошел к другому возу, но крестьянин не позвал его назад, не предложил сбавить цену, на что немного надеялся Клим, а сел на воз и сидел молча, постукивая нога об ногу, согревался. Другие два воза дров, находящиеся на рынке, были меньшими, но цену за них просили такую же, и Клим опять вернулся к первому возу.

— Так не сбавишь, дядька, цену?

— Нет, мил человек, хочешь, бери, не хочешь, другой возьмет... дрова теперь нужны.

Клим стоял молча, осматривая дрова, готовый уже согласиться с тем, чтобы заплатить за них восемнадцать рублей, и не хотел сказать этого крестьянину, злился на себя, что не умел торговаться и несмело надеялся, что

крестьянин сам сбавит цену, если постоять еще немного. Хотел уже молча отойти, побродить по рынку, но боялся, что придет кто-нибудь другой и заберет дрова, поэтому, отходя, словно про себя, сказал:

— Черт его, наверное, придется взять... я вот только немного по рынку пройдусь, может кое-что куплю.

— Ладно, только долго не задерживайся... времени у меня нету ждать лишнее...

Пробираясь между подводами, Клим вышел на самую середину рынка и остановился, раздумывая, что бы такое нужное купить в дом. На широких розвальнях, заваленных соломой, сидела женщина. Она укрывала соломой свои ноги и, вытягивая из-под покрывала солому, укутывала от ветра ящик. В ящике сидели, сжавшись от холода, куры. Около воза толпой стояли женщины. Они тянулись руками к ящику, хотели достать оттуда кур и посмотреть, сыты ли они. А хозяйка отталкивала их руки и натягивала на ящик покрывало, потом наваливалась на ящик всем телом и, со злостью глядя в лица женщин, кричала:

— Куда вы лезете со своими лапами! Кур подавите! Не видели?.. И так видно! По двенадцать рублей штука!.. Плати и бери, а не щупай!.. Расщупались!.. Выбирать еще хотят!..

Женщина накрыла ящик покрывалом, набросала наверх солому и тогда успокоилась.

— Да ты имеешь ли бога,— заговорила одна из женщин,— это ж надо от бога отрешиться, чтобы просить столько за курицу.

— Это вы бога не имеете,— отозвалась крестьянка,— а я имею.

— Да стоит ли она, курица, двенадцать рублей, что ты, тетка,— вмешался в разговор Клим.

— Возьми дешевле, если не стоит!.. Найди!.. А мы у вас в городе даром берем?.. Еще и не столько будете платить,— добавила она многозначительно.— Не стоит!.. А приди ботинки купить, так вон сколько сорвете!

Одна из женщин полезла в сумочку, достала измятые бумажки и подала крестьянке. Та пересчитала деньги и, держа их в руке, вытянула наугад из ящика курицу и подала ее женщине. Женщина взяла курицу, осмотрела ее и посадила в свою кошелку. Тут же взяли и последние три курицы. Но женщины не расходились. Крестьянка, пряча в платок деньги, сказала:

— Еще не столько будете платить, да и негде будет взять... Теперь народ тайком, да продает, а как отберут да обобществят, так и продавать нечего будет, хотя б самим с голоду не сдохнуть.

— Ого-о! Не болтай лишнего, тетка,— сказал Клим.— Кто это там у вас отнимет так?

Женщины насторожились, а одна из тех, что купила курицу, сказала:

— Хорошо было бы, если б у вас все отобрали, может, тогда не загибали бы таких цен.

— Кукиш ты купишь, бабочка, а не курицу,— ответила ей крестьянка.— Пускай душу у тебя отберут! Вот что продала б я тебе, а не курицу, если бы знала...— крестьянка махнула в сторону женщины рукой, показала ей кукиш. Женщина сразу не поняла, в чем дело, потом плюнула, выругалась по-женски, не зло, но гадко. Женщины вокруг захохотали, заговорили все одновременно. Клим отошел от них.

К дровам Клим вернулся, ничего не купив. Крестьянин все так же сидел на возу, грел в рукавах кожуха руки и качал ногами, постукивая ими в воздухе.

— Так скидки не сделаешь, дядька? — улыбаясь, спросил Клим.

— Скидки? Нет... Хотя... для тебя тройку скину, а ты мне за это пачку махорки дашь. Ладно?

— Ладно.

— Ну, вот видишь, скидку получил... Я без махорки помираю, нигде купить нельзя.

— Разве у вас в кооперации не дают?

— Дают, да только колхозникам, а кто не в колхозе, тому — нет.

— Этого не может быть.

— Ей-богу, правда... сельсовет так приказал... Везти куда тебе? — спросил крестьянин.

— На Советскую, возле сада...

— Да... Далековато.

Крестьянин кнутовищем подобрал сено, которое давал коню, собрал его в горсть, чтобы положить опять в мешок, и почему-то засмотрелся в сторону переулка. Там, перед въездом на рыночную площадь, стояла подвода и возле нее несколько человек, постоянных рыночных завсегдатаев. Крестьянин затолкал собранное сено в мешок и направился в переулок.

— Пойду посмотрю, что там такое.

Клим пошел вслед за ним.

Подкованные железом полозья въехали на голую, чуть прикрытую снегом мостовую. Конь напрягся, дернул сани в одну, в другую сторону, фыркнул и стал. Коня понукал низкий коренастый мужчина. Он весь зарос бородою. На лоб из-под мохнатой шапки нависли густые длинные волосы. Из-под армяка вылез и обмотал его шею рыжий воротник кожуха. Борода спуталась с овчиной, взлохматилась. На усах, на бороде и на воротнике у бороды иней. Мужчина уперся плечом в сани, стеганул коня кнутом раз, второй, третий. Конь рванулся, замотался в стороны, аж согнулись оглобли, но не сдвинул саней с места. На сани давило длинное тяжелое бревно. Мужчина бросил на бревно вожжи, начал стегать коня кнутом. Кнут взвивался у коня над головой, бил его по спине, по шее, путался в дуге и гужах, а мужчина еще больше злился от этого и еще злее махал кнутом. Конь от боли напрягался, брал воз рывками, бросался в стороны. Гнулись оглобли, скрежетали полозья, терлось железо о камень, но сани с места не трогались.

Кнут обмотался вокруг дуги и оторвался. Разгневанный мужчина начал бить коня кнутовищем. Конь напрягался, забирал передними ногами дорогу, но неподкованные ноги скользили по гладкой холодной мостовой, и конь падал на колени, поднимался и, тяжело дыша, махал головой на удары и фыркал. Мужчина вспотел, истязая коня, и устал. Какое-то мгновение он стоял, раздумывая, безразлично глядя на людей, окруживших подводу, потом вцепился рукой в оглоблю, потешно заплясал возле коня, взмахивая кнутовищем. Кнутовище било коня по бокам, по спине, по голове. Несколько мужчин взялись толкать воз. Конь опять рванулся в стороны, начал брыкаться, дернул и упал на колени. Кто-то из толпы крикнул:

— Не бей, сволочь ты, не имеешь права!

Мужчина посмотрел в сторону толпы, матюкнулся и опять замахал кнутовищем. Кнутовище ударилось и разломалось. В руке мужчины остался короткий кусок. Опять из толпы крикнули:

— Не давайте бить, самого бы его такой палкой...

Клим пробрался сквозь толпу, что-то крикнул мужчине, тот остановился на минуту, глянул на Клима злыми, помутневшими глазами, замахнулся обломком:

— Отойди! Не лезь! Убью! Моя!..

И не успел Клим схватить его за руку, как он опять уже махал палкой, нанося коню удары по спине. Конь еще раз рванулся, почувствовав новую боль, подхватился с колен и тяжело грохнулся боком на оглоблю. Оглобля согнулась, треснула и половиной отскочила в сторону. Клим схватил мужчину за рукав армяка, пытаясь оттянуть от коня, а тот упирается, неумело толкает Клима в ногу своей ногой, бьет коня по вздувшемуся боку и зло, сквозь сжатые зубы, кричит:

— Не лезь!.. Мать твою!.. Убью-ю, моя-а-а!..

А конь еще раз собрался с силами, вскинул голову, чтобы подняться с земли, но тяжелая голова взмахнула густой всклокоченной гривой, брызнула из-под губ на снег, под ноги людям, комьями кровавой пены и грузно упала на вытянутой длинной шее. Клим рванул мужчину за армяк, крутнул его, навалил плечами на бревно. Мужчина рвется, напрягается и от злости кричит:

— Пусти! Убью!.. Пусти!..

Из руки его выпал обломок кнутовища. Клим отпустил мужчину, отошел в сторону. Появился милиционер. Коню расстегнули хомут, сняли дугу. Он все еще тяжело дышал, высоко поднимая бока, скалил большие желтоватые зубы и оттопыренными губами ловил снег, смачивал его окрашенной в кровь пеной.

Милиционер составил протокол и дал двум свидетелям расписаться. Толпа стала расходиться.

— Искалечил коня, сдурел, что за народ...— проговорил Клим.

На его замечание кто-то из толпы ответил:

— Злыми люди стали теперь, как звери... Ничего не жалеют: ни человека, ни животного.

— А что жалеть,— отозвался крестьянин, у которого Клим купил дрова,— все равно конь теперь не евоный, общественный...

Клим молчал. Он все еще никак не мог успокоиться после всего виденного и не слышал того, что говорил крестьянин. Тот замолчал, ловко вскочил на воз, дернул вожжами и погнал коня через рынок в один из переулков. Клим пошел рядом с возом.

По пути крестьянин опять заговорил, спрашивая Клима:

— Что выйдет, гражданин, из всего этого? Как жить будем теперь? Неужели это мужика так-таки всего и ли-

шат?.. До чего довели! Вам, городским, что: заработал и купил, съел, но и купить нечего будет. Теперь дорого, а потом еще и не так дорого будет.

— Почему ты так думаешь?

— Тут и думать очень не надо, оно и так уже видать. Сгоняют в общественное все добро: и корову, и свинью, и курицу... всего человек лишается, что имел, что век собирал...

— А ты не выдумывай уже так. Не все ж обобществляется, но и то, что обобществляется, в колхозе оно твоим будет, а не чьим-нибудь.

— Твоим...— крестьянин иронически усмехнулся,— мое да не мое... свое сало да в чужой кадке, оттуда не возьмешь, когда захочешь...

— А ты, если так уж боишься колхоза, не иди туда.

— Не идти? Если бы меня спрашивали, хочу ли я...

— А как же? Кто ж тебя силой туда гонит?

— В том то и дело, что не спрашивают. Придет, поговорит и записывает, а кто не записывается, угрожают, а то и арестовывают...

— Кого у вас арестовали?

— У нас пока что никто не идет. Собрание уже три раза было по этому поводу, но никто не идет... а арестовать, у нас оно никого не арестовывали, а по другим волостям, говорят, что и высылают, не только арестовывают. Все отнимают и высылают...

— А ты меньше слушай, что говорят,— посоветовал Клим,— а своей головой лучше прикинь, передумай и увидишь, что не убегать тебе от колхоза надо, а идти туда. Для вашей же пользы колхозы, чтобы ты лучше жил, чтоб не рылся, как крот, в земле, а по-человечески ее обрабатывал.

Увидев, что Клим не верит ему, крестьянин замолчал и внимательно слушал то, о чем говорил Клим. И позже, сбросив дрова, заворачивая в газету пачку махорки, сказал:

— Кто его знает, гражданин, как оно лучше. Может, и действительно в колхозе лучше будет, только наши люди боятся этого, никогда не видели, не слышали...

— Бояться нечего, думать надо, рассуждать.

— Когда вокруг говорят, что гонят, что все отнимают.

Крестьянин молча подобрал сено, закурил, повернул коня и, простившись, выехал со двора. Складывая в сарай-

чике дрова, Клим злился на себя и был чем-то недоволен. Его беспокоило увиденное на рынке. Было неудовлетворение тем, что он, как ему думалось, не сумел переубедить крестьянина.

* * *

Клим согрелся, начал успокаиваться. У печи стоял толстый, приземистый самовар и смеялся над Климом блеском своих гладких холодных боков. А Клим напрягался, вытягивая шею, и, надув щеки, выдыхал собранный в легких воздух в самоварную трубу. Уголь в самоваре вспыхивал несмелыми желтыми огоньками, но щепки не загорались. Уставший Клим вздохнул и сел возле самовара на полу. Минуты три сидел так, думая, что предпринять, сидел потому, что приятно было вот так посидеть спокойно и отдохнуть, но скоро самому стало смешно — он, как малое дитя, сидит на полу. Он поднялся на колени, достал из кармана газету, оторвал кусок и щепкой затолкал ее в самовар на горячий уголь. Бумага начала тлеть. Из самовара пошел едкий дым. Тогда он наклонился над самой трубой, набрал как можно больше воздуха и выдохнул. Из самовара хлынул в глаза Климу густой едкий дым. Клим, как стоял на коленях перед самоваром, отшатнулся, закрыв глаза, и руками начал протирать их. От дыма глаза наполнились слезами.

— Ха-ха-ха!.. Не идет дело!

Клим раскрыл глаза и повернул голову к двери.

На пороге, опираясь на палку, стоял Сидор.

— Не идет, говорю, дело! А ты голенищем, голенищем раздувай,— посоветовал он и подошел ближе, подал Климу руку. Клим, не поднимаясь, стоя на коленях, поздоровался и, пожимая руку Сидора, проговорил:

— Нюхалка у тебя, видать, хорошая — точно на чай успел.

— Где же тот чай, если самовар холодный.

— Не разгорается что-то уголь,— ответил Клим,— наверное, сырой.

— А ты сапогом его, голенищем раздувай.

— Наверное, так и придется. Раздевайся и садись.

— Я ненадолго...

— Оно и не будет долго. Вот сейчас разожгу, так он сей момент закипит... Самовар, что надо...

Сидор снял пальто, повесил его на гвоздь в стене и сел у стола. Клим начал разувать левую ногу, чтоб сапогом, как советовал Сидор, разжечь в самоваре уголь. Снимая сапог, увидел — на сверкающем носу самоварного крана висела крупная светлая капля воды и медленно покачивалась, но не падала. Клим тронул ее пальцем, и капля расползлась и пропала. Минуту он молча смотрел на кран, потом поднялся, поставил сверху на самовар, голенищем вниз, сапог и начал раздувать уголь. А Сидор взял с табуретки газету, развернул на голом столе ее широкое серое полотно и застыл взглядом на строчках густого тусклого шрифта.

К Климу, когда зашуршал Сидор газетой, опять вернулись неудовлетворенность и злость на себя. Теперь ему захотелось унять эту злость с помощью Сидора. Надевая сапог, он проговорил:

— Ненавижу!.. Одно еще ненавижу я у нас, что очень часто мы правду не говорим о себе...

Сидор положил ладонь на газету и поднял голову.

— ...Самим себе не говорим правды,— продолжал Клим,— и сами не знаем потом, что у нас под боком творится.

Сидор улыбнулся.

— Ты о чем это, отец?

— А про то, что какого черта крутить перед самим собою? У нас же, кажется, этого не полагается.

— А-а!.. очередное выступление против советской власти. Ну, ну, поворчи, отец,— шутя, проговорил Сидор,— поворчи. Что это сегодня с тобой приключилось?

— Ты меня, братец, не пугай, будто я против советской власти, я ее, может, больше тебя люблю, но вот спрашиваю тебя, почему газеты не пишут правды о том, что у нас происходит?

— Где? Что происходит?

— Где? Что? Вот и сам ты ни черта лысого не знаешь. А еще, как говорят, секретарь... Ну, зачем скрывать? Скрывают, а из-за этого сплетни разные ползут, болтают вокруг разное, и сам черт не разберется во всем этом... Тут ведь такое дело, что его потихоньку, тайком не сделаешь, да и незачем тайком делать...

— Да ты о чем говоришь? — уже серьезно спросил Сидор.— Ты толком скажи.

— Да о колхозах... читаешь газету, так там только и

пишут, что организовали: там организовали, тут организовали, там столько процентов, а как организовали, об этом, небось, не пишут. Как читаешь, так все славно и гладко у них там, а на рынке мужики черт знает что говорят...

— Не всему надо верить, что говорят, да еще на рынке...

Клима эти слова немного смутили. Он сам всегда не любил новостей, которые приносила жена с базара, ругал ее за них, и теперь ему стало неловко, что сам он базарными слухами мотивировал свое настроение, и он становился мягче, но, не сдаваясь, все еще продолжал:

— И я всему не верю. Но если говорят, значит, хоть толика правды есть... Добровольные колхозы у нас? Добровольные, так? — спросил он. И, не дав Сидору возможности ответить, говорил опять и горячился: — Добровольные работники приезжают в деревню, и, черт знает, что творят там, лишь бы вовлечь мужика. Мужик идет, конечно, пойдет, как же не пойти, если запугают. Но мужик хитер. Он слушает тебя, молчит, а свое думает... Ты ему свое, а он свое... Он свое думает, что, если гонишь, значит, как говорят, что-то не так... Как же он поверит, что это для его пользы, если его запугали. Он пойдет, как говорят, запишется, а работать не будет, будет волком в лес смотреть, на хутор. А если работать не будет, какая ж от этого польза колхозу?.. А ты погоди, знаю я, как там объясняют. Если бы объяснили да убедили, не то было бы, а то что-то объяснения того и не видать, а мужик ногами в колхоз будто идет, а руками на рынок тащит корову да за двенадцать рублей отдает коняку на шкуру... А пахать весной чем будет? Если бы объясняли, не потащил бы... курица двенадцать рублей и конь двенадцать. На шкуру, бери только... Так если уже на то пошло, почему бы государству не скупить коней, чтобы не дать их уничтожить, потому что спекулянт, как говорят, берет и на шкуру уничтожает.

Сидор поднялся из-за стола, подошел к Климу, чтобы успокоить его.

— А ты, отец, спокойнее, не волнуйся,— сказал он,— о таких искривлениях и в газете писали, за это не хвалят...

— Искривления... Ты меня не учи, я понимаю, что партия не так указывает делать, но почему газета не учит, как надо делать, а только о процентах пишет...

— Ей-богу, пошлем тебя, отец, на коллективизацию.

— А думаешь, не поехал бы? И еще как бы сделал. Лучше, чем многие другие... На такое дело, раз революция полная в хозяйстве, как говорят, надо посылать людей с головою, кто и политику, и хозяйство хорошо понимает, а не тех, кто языком лишь исправно чешет. А вот они и делают так, что потом и черт не разберет, кто виноват.

— Да ты погоди...— Сидор махнул рукой.

— Чего мне ждать? Пускай работают лучше, показать надо, а не так... Не все испоганили? Да если бы все, разогнать надо было бы таких работничков... Не всюду... Но и немало.

Сидор опять отошел к столу и, сидя, спокойно слушал и по слову вставлял в речь Клима, охлаждал ее. Клим и сам уже чувствовал, что успокаивается, и, чтобы не сдаваться сразу, легко, он нарочито зло говорил, стоя над самоваром:

— Все хозяйство к черту уничтожить так можно. Не скажут толком мужику, что к чему, болтают, а тот думает, что отнимают, и тащит на рынок, а потом у него ничего не будет, ни в колхозе... за двенадцать рублей коняку отдает, а то и просто бьет, калечит, лишь бы не сдать в колхоз... Нахозяйничаешь с такими... а если бы объяснили как следует, разве он поступал бы так? Этим бы и шептунов разных били...

Сидор молчал и потихоньку улыбался, ожидая, когда Клим выговорится и замолчит. Он слишком хорошо знал характер Клима. Начни очень уж хвалить что-нибудь, как Клим сердито начнет хаять то же самое, придираться, искать самую маленькую прицепку, чтобы доказать, что хваленое не заслуживает похвальбы. А начни сам охаивать что-нибудь, Клим так же ожесточенно будет защищать. Чувствуя себя полным хозяином жизни, строящейся вокруг него, Клим считал себя вправе ругать то, что по его мнению было не совсем хорошим, но, ругая сам, в то же время не позволял хаять жизнь кому-нибудь другому. Таков уже характер. И Сидор, молча улыбаясь, любовался Климом, ждал, когда он замолчит.

Самовар зашипел, забулькал, казалось, и он потихоньку довольно смеется над Климом. Вырвался из самовара и пошел сизыми столбиками пар. Клим быстренько снял с самовара жестяную приставную трубу, и самовар немного присмирел, пар из него пошел медленнее.

Из крана в большой белый размалеванный чайник

ручьем бежал кипяток. Клим на корточках стоял у самовара и, держась за кран рукой, заглядывал в чайник. Там суетились — то тонули, то всплывали наверх — темно-бурые чайные палочки.

Сидор свернул газету, положил ее на край стола и, улыбаясь, спросил:

— Чай, значит, готов? А где же хозяйка?

— В кооперации где-то, а чай мы без нее пить будем, она потом попьет,— ответил Клим.

— А я таки, признаться, с охотой попью, промерз немного на улице.

Клим поставил чайник наверх на самовар, осторожно взял самовар за уши и перед собою понес его на стол. Самовар все еще ворчал и шипел, подразнивая своим теплом. Сидор, склонившись над столом, вглядывался в сверкающий самовар. Оттуда, с гладкой поблескивающей поверхности его боков, улыбалось Сидору широкое, растянутое в стороны незнакомое лицо. Сидор невольно захохотал.

— Ты чего это ржешь? — спросил Клим.

— Увидел себя в самоваре, давно себя не видел.

— А-а-а! Гм... нашел, называется, работу человек.— Клим улыбнулся.— А знаешь, я, ей-богу, поехал бы теперь в деревню — так на месяц, на два и здорово там работал бы. Напрасно беспартийных не посылают.

— Почему не посылают? Вот и пошлем, погоди немножко. Тогда, отец, наведешь там порядок...

— И наведу...

Пили чай. Клим наливал его из стакана в блюдечко, подолгу ждал, пока он совсем остынет, и тогда пил. Между глотками говорил:

— И на заводе надо было бы, как говорят, порядок навести. Не хватает его. Не хватает хорошего хозяйственного глаза. Разве есть толк в нашем литейном? Разве это работа? — Клим опять заговорил зло.— Не предмет дают для обработки, а лом. Гонят в отходы чугун, портят. Да если бы на хорошего хозяина, он бы так подтянул, а мы возимся, уговариваем...

— Опять заворчал. А разве наказаниями что-нибудь сделаешь тут? От одних наказаний толку мало.

— Мало. Ты их уговаривай еще, а они в отходы.

— Не-ет! Надо, чтобы не только администрация говорила, а чтобы сами рабочие, чтобы вот вы, токари.

— Ты секретарь, почему этого не сделаешь?..

— Дай же мне, отец, хоть слово сказать. Я за этим к тебе и пришел.

Клим замолчал. Но не успел Сидор начать разговор, как Клима опять прорвало:

— Взял бы, как секретарь, подзадорил наших хлопцев, у нас дружные, мы бы их и подтянули.

Сидор развел руками.

— Вот тебе и на. Дай же мне сказать. За этим, говорю, и пришел я к тебе. На бюро мы обсудили. А теперь я к тебе пришел, чтобы ты это организовал. Понимаешь?

— Я-то понимаю,— ответил Клим.— А ты подсоби. Приди к нам на летучку и сказани слово, а то у меня не так складно получается.

— У тебя не получается! Как же! Целый час говорил, мне слова не дал вымолвить, и у него — не получится... Условились?

— Ну, конечно. Я зря не говорю.

Потом, закрывая за Сидором дверь, Клим еще раз сказал:

— Так я летучку послезавтра в полдень соберу, а ты приди, скажешь слово, поможешь...

* * *

В комнату бюро, где находился Сидор, Клим забежал прямо с работы. В пальцах он держал длинную, свернутую пружиной железную стружку. Подойдя, бросил стружку на стол перед Сидором.

— Наши обедают уже,— проговорил он.— Я что надо сделал, поговорил со старшими хлопцами, а на летучке утвердим свои пункты.— Он опять взял со стола стружку, повертел ее в пальцах и согнул. Стружка разломалась сразу на три куска. Клим бросил их на стол, на бумаги, лежащие перед Сидором. Сидор смахнул стружку на пол.

— Так ты приходи сейчас же после обеда,— сказал Клим, постоял минуту, что-то вспоминая, и вышел.

Напротив окна большой застроенный плац. Еще весной прошлого года он пустовал. Там паслась чья-то корова, да еще ходили под присмотром детей два гуся. Плац зеленел густой молодой травой. На траве играли стайками дети. Гуси важно щипали траву желтыми клювами. Часто склоняли низко, над самой травой, свои белые гибкие шеи и, вытягивая их на всю длину, шипели угрожающе на детей.

Летом плац измерили, обгородили плотным забором из досок-ополок и начали возить кирпич, железные балки и лес. Тогда же начали закладку фундаментов для новых заводских цехов. И все лето на плацу велись работы, с каждым днем все выше и выше поднимались новые заводские стены.

Сидор почти каждый день бывал на стройке, и, несмотря на это, он всегда, возвращаясь домой после работы, останавливался у забора и сквозь узкие щели между досками подолгу смотрел на строительную площадку. За оградой долго делали фундаменты. Затем долго, казалось Сидору, выводили стены. Стены постепенно вырастали, стягивали простор плаца в неправильный обрубленный треугольник и полнили плац своим свежим багрянцем.

Посматривал Сидор на плац через заборные щели до тех пор, пока не выглянули из-за забора на улицу сами стены. Тогда у него появилась другая привычка. Когда надо было идти мимо, Сидор потихоньку шел по тротуару подальше от стройки, чтобы видеть ее издали. Идя, следил за каждым прохожим, следил, как тот реагирует на строительство. Если прохожий замедлял шаг, поглядывая на стройку, Сидор незаметно присоединялся к незнакомому, шел рядом с ним и спрашивал, показывая на плац:

— Что, нравится?

И когда незнакомец спрашивал, что там строится, Сидор охотно объяснял:

— Завод, новый завод. Вон видишь,— говорил он, останавливая прохожего, чтобы показать старый заводской двор,— там старый завод, и не завод, а скорее мастерская, а это новые цеха строят: литейный, кузнечный, токарный, жестяный...— Сидор останавливался рядом с незнакомцем и вместе с ним, словно тоже впервые, любовался большой стройкой, всегда находя в ней что-то новое, чего прежде не замечал.

...Теперь зима. На площадке молчаливые заснеженные здания нового завода. Над просторными их стенами уже стоят высокие стропила. Из-за города на новый заводской двор приходит метельный ветер. Он подолгу бродит над пустым двором, прячется в лесах, сердито свищет, заблудившись там, а вырвавшись, гоняет под стропилами снеговые белые табуны.

— Глядишь на новый?

Сидор вздрогнул и отвернулся от окна.

— На новый засмотрелся? — опять спросил Панас.— Ну, как решили?

— Поедешь. Месяца на два, чтобы и сев провести там,— сказал, не отрывая взгляда от окна, и добавил: — А здорово все-таки мы растем. В прошлом году весною природой отсюда любовались, а теперь завод. Интересная, брат, наша жизнь. Вот какая интересная.— Он развел в стороны руки.— Давно ли в больнице холодной лежали, удирали оттуда, чтобы не околеть, не было сил топливо достать, а теперь заводы строим...

Оттого, что вспомнил Сидор барак-больницу, Панасу захотелось тоже что-то сказать, сравнить былое с чем-то, но сказал лишь два слова:

— Хорошо, брат...— и, помолчав, глядя на стройку, добавил: — Так я на днях и поеду.

— Хочешь в токарный на митинг? — спросил Сидор.— Токари литейщикам ультиматум предъявлять будут. Клим организовал. Добрый он, ворчит, как хозяин, что бы ни случилось...

— Я не обедал еще,— ответил Панас,— пойду пообедаю... А у тебя кожух добротный...

— А что из этого?

— А так, ничего, хорошо было бы в нем поехать в деревню.

— Вон куда ты гнешь! Подумаю, может, и дам тебе, если ничего теплого у тебя нет.

— Есть пальто, я так, шучу.

Панас кивнул Сидору, сбежал с высокого крыльца и так, почти бегом, прошел через двор к столовой.

VIII

Дорога ровная, гладкая. Она выползает из-под ног и то неожиданно теряется впереди среди снегов, в лощине, то, разбежавшись в стороны, появляется на холме и искрится оттуда, с тропинок, отполированных полозьями, россыпью драгоценного сверкающего камня.

С холма дорога вдруг сползает вниз и прячется в густых молодых зарослях, а оттуда опять поднимается на холм и на самой его вершине застывает, залюбовавшись далями. Из-за холма, навстречу ей, выходят старые березы. Съежившись, они высоко вверх вытягивают свои обна-

женные вершины и испуганно всматриваются вдаль, туда, откуда пришла дорога.

В лощине за холмом, рядом с березами, толпой сошлись крестьянские хаты. Над хатами вьется сизыми столбами дым. Как призраки, поднимаются они в тусклом воздухе вечера, тянутся далеко в высоту, в морозное синее небо и, оторвавшись от земли, расплываются там и тают.

Из-за берез выглянула белым заснеженным куполом церковь и опять скрылась, затаившись среди деревьев. Глянули из-за холма белые соломенные крыши хат, взмахнули пугливо серым пятном печных труб и скрылись, а еще через пять минут целой толпой выступили они и застыли на месте.

Выбежал из деревни навстречу гостям загороженный плетнями узкий прогон и за гумнами затаился, спрятался в снегах в стороне от дороги. Из снега кое-где выглядывают концы жердей да неровные, кривые колья плетней.

Вьется над деревней сизыми столбами дым, расплывается вверху над крышами. С севера тихими ветрами наплывают густые сумерки и наполняют собой лощину. Воздух в лощине становится гуще, разбавляется темными красками, плывет в улицу и легким мягким сумраком окутывает хаты. Пустует в эту пору длинная молчаливая улица. На улице густые частоколы и старые дощатые заборы. За ним под старыми кучерявыми грушами присели до земли низкие хаты, настороженно через заборы они выглядывают на улицу.

Улица напоминает Панасу детство. Она почти совсем не изменилась. Все так же несмело поглядывают на улицу из-за заборов низкие старые хаты. Только еще ниже к земле присели они за эти годы и еще ниже склонили за эти годы над дырками окон шапки соломенных крыш.

— Жизнь здесь, как вода в сажалке,— говорит Панас,— отвык я от такой жизни.

Рядом с Панасом идет Камека. Но он не слышит Панаса, идет, смотрит себе под ноги, о чем-то думает. У него такая привычка — по пути думать о чем-то своем. В такие минуты он ничего не слышит, ни на что не обращает внимания.

Молчаливость Камеки удивляет Панаса, но он не хочет нарушать эту молчаливость и больше не делает попыток завязать с Камекой разговор. Молча, каждый со своими

мыслями, прошли они половину улицы. Тогда заговорил Камека:

— Мы к свекру Галины зайдем,— сказал он,— свекор ее членом сельсовета состоит. Так что ты сразу и ее увидишь,— и Камека улыбнулся, поглядев на Панаса. Зашли во двор.

В темных сенях, перед дверью в хату, Камека громко стучал об пол сапогами, чтоб не занести в хату снегу, а рукой шарил по двери, искал задвижку.

Перегнувшись из-за печи, смотрела навстречу гостям хозяйка. Поднялся с лавки хозяин, воткнул свайку в высокую пяту лаптя и пошел навстречу гостям, подался вперед к Панасу, шевельнул улыбкой густые усы и протянул руку. Подала морщинистую слабую руку хозяйка и, здороваясь, пытливо вглядывалась Панасу в лицо, узнавала. Розовея, подала и быстро отняла свою руку Галина.

— Так вон кто к нам! — хозяин взял куски лыка и, свернув их, положил в чугун с теплой водой.— А мы думали — кто-нибудь другой, потому что городские тут теперь не диковина: то за налогом, то по лесным делам, то по каким-нибудь другим, да все едут... Как же это ты к нам? — спросил он Панаса.— По службе или так, навестить?

— И не по службе и не так себе,— ответил Панас,— а решил посмотреть, как вы живете здесь, и, может, что-нибудь посоветовать, как своим...

— Благодарны,— ответил хозяин,— мы рады новому человеку, да еще давнишнему, благодарны, может, что-нибудь и посоветуешь.

И хозяин насторожился. Слова Панаса встревожили застоявшуюся было воду его мыслей, и в голове побежали кругами настороженные беспокойные догадки. Захотелось ему улыбнуться хитро, чуть-чуть, и, как своему, сказать Панасу: знаем, зачем ты приехал, о колхозах говорить нам будешь, но мы об этом слышали уже, всюду вокруг себя слышим это ежедневно, и ты лучше не говори об этом, потому что все равно ничего не будет, лучше про что-нибудь другое. Но не сказал этого, а сел на лавке с другого конца стола, оперся локтями на стол и заговорил о другом, нарочито, чтобы отвлечь внимание Панаса от недобрых его мыслей и тем самым хоть на некоторое время отгородить от них свой покой. Но вместе с тем хотелось ему как можно скорее из уст самого Панаса услышать, зачем

он приехал, и в словах его прочесть ответ на свои мысли, что так тревожат его последние дни. И поэтому заговорил он так, чтоб далеко быть от тревожных дум и чтобы услышать ответ на них.

— Оно так и надо. Городские люди много слышали, много видели, может быть, и подсобите, чтобы кое-что лучше сделать для нас. Что ж, поговорите, покажите, а мы народ старый, нового, теперешнего не знаем, так вот послушаем, подумаем, может, что и сделаем потом, посоветовавшись...

Говорил, а внутри у него росло беспокойство. За спокойным и хитроватым видом этого простого человека скрывался другой, напуганный слухами и догадками, и тот навязчиво шептал, нарушая покой: подумаешь? посоветуешься? ■ если не дадут подумать? а что, если и спрашивать у тебя не станут, хочешь ли ты? что тогда?.. Этот испуганный человек своим шепотом опять пробуждал тревогу и усиливал ее. И хозяин замолчал, нервно затеребив усы, и тяжело вздохнул. А потом совсем неожиданно, злясь, что сами не догадаются сделать этого, сказал женщинам:

— Кувшин поставьте, может, чаю попьют люди с дороги.

Хозяйка достала с печи лучину, сбросила ее на хату. Галина взяла лучину, разожгла огонь в железной печурке, налила широкий желтый кувшин воды и поставила его сверху на печурку. В кувшин бросила малиновых веток.

— Вот и гости,— опять заговорил хозяин.— Ты это, Панас, надолго или скоро и поедешь?

— Наверное, с месяц пробуду, а может, и больше,— ответил Панас.

— Аж месяц? Ого! — удивился хозяин и, помолчав, несмело, вопрошающе проговорил:

— Так, наверное, всех уже в колхозы загонять будете? — спросил и насторожился, ожидая, что ответит Панас.

— Загонять мы никого не будем,— ответил Панас.

Хозяин не поверил.

— Не будете?.. Так зачем же аж на месяц ты?.. Значит, ты по этой линии приехал. Тебя от самой власти прислали или как? Значит, и власть приказывает, это, в колхозы идти?.. Бог его знает, что это будет, как это оно...

— Лучшая жизнь будет, дядька.

— Лучшая? А кто это знает, что она лучшая будет?

— Мы знаем, люди знают.

— Люди... А мы вот что-то его, лучшего того, и не видим. Так вот люди начали подниматься понемногу, а теперь что ж, ни к чему пойдет...

— Неправда. Только так и достигнем лучшего, только так и поднимемся.

— Может, может...

— Он больше всех колхоза боится,— сказал Камека,— как только заговоришь, он ни близко.

Хозяин промолчал. Панас улыбнулся. Взгляд его встретился с взглядом Галины. Она сидела на скамеечке у печи и, вслушиваясь в разговор, кивала головой и улыбалась на слова свекра. Панас сказал, улыбаясь Галине:

— Чего бояться. Вот соберемся, поговорим, и дядька первым в колхоз запишется.

— Не-е-ет!..— откликнулся хозяин,— я первым не запишусь. Погляжу, как уже там будет, если уж на то пошло, а тогда может быть... Я хочу век свой еще по-старому пожить, как мои родители жили...

— Чтоб не гневить бога жизняй,— вставила свое замечание хозяйка. А хозяин, помолчав, закончил свою мысль.

— А это пускай уж молодые, как хотят, головы свои крутят. Выделю сыну долю, и пусть идет себе, если хочет, а я уж так доживу свой век... Может, молодым и лучше оно будет...

В печурке ярко пылала смолистая сухая лучина. Из узкого выгнутого горла кувшина пошел пар. Вода в кувшине забулькала, пузыри дошли до верху, закружились в узком кувшиновом горле, и закипевшая вода ручейком полилась на печурку, зашипела, пенясь на горячем металле. А за окном, где-то в заборе, давно уже завяз ветер метельный и глухо, зло свищет и сыплет в освещенное окно охапки мелкого снега.

* * *

С собрания в соседней деревне Панас в Терешкин Брод попал как раз на вечеринку.

В большой, просторной Ашуркиной хате было душно, накурено, тесно.

Стол из хаты вынесли в сени, и на столе в сенях сидел хлопец с девчиною. Прикрывая девчину полой кожуха,

хлопец прижимал ее к себе и, затянувшись папиросой, пускал ей в лицо табачный дым. Девчина отворачивала лицо, стремилась руками выбить у хлопца изо рта папиросу, а он удерживал ее руки, опять затягивался папиросой и обдавал ее лицо дымом.

— Привыкай,— сказал хлопец, заметив Панаса.— В колхозе всем равенство будет, все курить будем.— И захохотал. А затем обратился к Панасу: — Правда, товарищ, а?..

Панас глянул на него, но ничего не ответил и вошел в открытую дверь хаты. И, стоя на пороге, услышал, как хлопец сказал вслед ему:

— Ишь, сволочь, уже и говорить не хочет... Уговаривает хлопцев ячейку комсомольскую организовать.

У двери, у окна напротив печи стайками стояли приодетые по-воскресному девчата, ждали, пока пригласит хлопец на танец. Возле них терлись отплясавшие с потными лбами хлопцы и много курили. У стен на лавках сидели парами девки и хлопцы, смотрели на танцующих и о чем-то шептались. В самом углу хаты, под иконами, сидели музыканты. Пьяный гармонист рывками, широко, на весь мех, растягивал гармонь и, не торопясь, перебирал огрубевшими и тонкими пальцами белые, пожелтевшие пуговицы голосов. Гармонь удивленно, широко раскрывала складки своих мехов, тонко вскрикивала и опять собирала их, чтобы развернуть еще шире. А гармонист перебирал пальцами пуговицы голосов и, склоняя низко к гармони вялую от вина голову, вслушивался в ее дыхание, и казалось, что за ее крикливой музыкой он слышит другую, внутреннюю ее музыку, более благозвучную, одному ему понятную. Рядом, тяжело вздыхая, охал барабан и часто, взволнованно бренчал навешанными на его лубок жестянками.

Гармонь тяжело вздыхала, развертывая свои складки и выгибаясь, выкрикивала давно привычные для нее «тим-там, тим-там, тиль-лиль, лим-там, тим-там, тим-там, тим-там-там».

А на середине хаты густо кружились вспотевшие пары, мерно выделывали ногами несложные «па», тяжело дышали, утирали пот грязными платочками и опять кружились, а после танца хлопец вел девчину через круг в сени, чтобы остыть. На пороге Панаса встретил хозяин. Поздоровался.

— Гуляют,— он показал на молодежь,— а про жизнь мало думают, им хоть бы что, недалеко ушли от родителей... Трудно с нашими людьми сделать что-нибудь...

Вышли в сени. Хозяин искал ведро, чтобы напоить корову. А стоя с ведром, добавил:

— Если бы чаще, разве, к нам ездили или чтобы близко где ячейка была, а так мало толку...

В сени из хаты вышла Галина.

— Ты здесь уже? — спросила она.— Ловкий! И на собрании, наверное, побыл, и на вечеринку успел.

— А как же,— ответил Панас,— не одними же собраниями мне жить.

Вышли во двор. Галина сказала:

— Петро хороший человек, он тебя очень любит и не против колхоза, но боится, затукают потом люди. И он не один такой...

Хозяин открыл сарай. Ворота скрипнули, упали аж до стены и повисли на стояке, открыв холодную темную пустошь просторного сарая. Сарай старый, стены на середине опустились ниже, наверное, подгнили стропила, и от этого осела, прогнулась на середине крыша.

Из сарая вышла к колодцу бурой масти корова, стала у корыта и молчаливо смотрит куда-то за двор, пить не хочет. У коровы обвис живот, спина вогнулась и отчетливей проступили на спине кости, а на боку обвислый живот натянул шкуру, и из-под нее, выгибаясь, торчали худые коровьи ребра.

Недавний ветер сорвал с крыши как раз на середине целый кусок струхлевшей, старой соломы и обнажил между стропилами посиневшие, сухие, старые осиновые латы. Снега на крыше нету, и латы на бурой дряхлой соломе торчат голыми почерневшими ребрами.

— Имущество...— словно про себя, произнес Панас.— И в большинстве у вас такое, а в колхоз их на веревке надо тянуть... И почему такие странные у вас люди? — спросил он.— Неужто не верят, что в колхозе лучше будет жить?

Галина ответила не сразу. По улице шли к усадьбе Петра четверо мужчин. Галина вглядывалась в них и, узнав, сказала Панасу:

— Кто и верит, да боится, а большинство не верит, сами не знают, чего хотят. Говорят разное. Когда тебя нет, такое про колхозы плетут, страх берет.

Подошли с улицы мужчины. Свекор Галины первым подал Панасу руку и предложил закурить. Но когда к его кисету протянул руку один из хлопцев, он торопливо свернул его и положил в карман:

— Теперь, братец, не те времена, чтобы других табачком угощать, самому нечего курить.— И, обратившись к Панасу, спросил:

— Ну, так как же, пишутся ли хоть где-нибудь к тебе люди в колхоз?

— Будут записываться,— ответил Панас,— не все сразу. Я хочу, чтоб терешкинцы первыми записались.

— Э-е, нет, мы уже опосля, за другими, разве.

— Все вы опосля. А пускай бы другим пример показали. Я вот смотрю на имущество Петра. И в сарае на крыше ребра торчат, и у коровы ребра торчат. А у вас ведь у всех почти такое имущество... И я понимаю, ну если человек еще более-менее зажиточно живет и боится нового, жалеет, а то ведь не живут, а гниют люди...

— Да оно правда, гниют,— отозвался один из мужчин.

— Потому что жить не дают,— перебил его другой.

— О! Опять жить не дают. Да кто не дает? Ну, неужели вам вот от такой жизни жаль отрешиться? Это же ад, а не жизнь. Хуже, наверно, нигде не найдешь.

— Да, конечно, нехорошо мы живем,— откликнулся свекор Галины,— но в колхозе еще хуже будет.

— Вот тебе и на! Хуже вашей жизни не придумаешь, если бы даже хотел.

Тогда заговорил Мышкин:

— Панас правду говорит, тут, как ни крутись, правда. Как ни крутись — правда. И мы, Панас, не против колхоза. Вместе, сообща лучше, спорней, кто ж этого не знает, но другого люди боятся, я так думаю, боятся, что, ну, скажем, человек на своей работе, так на рассвете встанет и на работу, и не смотрит, поел он или нет, а работы не оставит, а тут по несознательности, думается, что не на себя уже, на казну работает, вот человек и не будет стараться... Не будет ладу в работе, этого люди боятся.

— Конечно же,— вмешался в разговор свекор Галины,— сравнил человек работу. Один работать будет, а другой в тенек под кусты пойдет, прохлаждаться.

— Почему вы так думаете, что уже и в кусты?

— А что тут думать? Кто это охоч на казну работать?

— Далась вам эта казна. Сами на себя работать будете,

а не на казну, свое же хозяйство будет, а не государственное. Государство еще поможет. А что касается согласия, лада, как вы говорите, все зависит от самих себя. В колхозе меньше ссориться будете, чем теперь. Теперь вы друг от друга отгорожены, каждый в свою сторону смотрит, тянет, а там вот и будет лад, дружба...

— Да оно, конечно, не без ссоры, в семье нельзя, чтобы без ссоры прожить. Бывало, и отец с сыном ссорятся и судятся, и брат с братом, сам знаешь, при дележке отца твоего убил брат, но не то...

— А в колхозе и не будет этого, не надо будет рвать на куски добро и драться из-за этого, потому что все работать будут и иметь будут.

— Кто ж его знает, дай бог дождаться.

Опять начали закуривать. Галина простилась и пошла на улицу, домой. Мужчины молча стояли посреди двора, курили, а в хате гармонь, ловко успевая за топотом легких, гибких ног, выкрикивала свое, давно знакомое ей, только более пискляво и задиристо.

IX

Это было третье собрание.

Панас сидел у стола и слушал вступительную, перед началом собрания, речь Камеки.

На досках, приспособленных хозяином под скамейки, плотно сидели в кожухах, шапках и суконных платках серьезные и молчаливые люди и слушали. Панас внимательно вглядывается в их лица, хочет увидеть, угадать, что таится в их мыслях, что они ждут от собрания, чем закончится это третье собрание. И ничего не может угадать. Он видит перед собою худые морщинистые пожелтевшие и бледные лица. Видит на некоторых из них крупные капли нездорового пота. Видит их большие, потрескавшиеся, побитые и в мозолях руки, видит порванные старые кожухи, залатанные порыжевшие армяки и свитки. Видит измученные, со слезящимися глазами, лица пожилых женщин, их ноги в лаптях с высоко заплетенными домоткаными онучами. Видит и отдельные новые желтые кожухи и свежие с румянцем лица, но взгляд не задерживается на этих, что-то приковывает его к вспотевшим бледным лицам, к худым большим рукам, дрожащим, когда человек поднимает их, чтобы расстегнуть

ворот армяка или снять шапку. Панас представляет жизнь этих.

Темные тесные хаты с земляным полом. Грязь, полуголодное существование, забитые, напуганные дети.

Постоянное стремление к лучшему, проклятие и ненависть к тому, что есть, и страх, вечный страх перед тем, что будет.

Хочется Панасу подняться, бросить этим людям горячие и тяжелые слова правды про их жизнь, разжечь в их сердцах веру в другую жизнь, в которую так крепко верит он сам. Молчаливо сидят люди и смотрят немыми взглядами, в которых не угадать, что спрятано, что затоено: то ли страх, то ли надежда, то ли просьба о чем-то, то ли ненависть к чему-то.

«Надо сказать им так, чтобы поняли, что я для них, для их жизни лучшего хочу»,— думает Панас. И как только замолчал Камека, он встал у стола и, волнуясь от богатства простых и искренних мыслей, начал говорить.

— В жизни вашей и теперь еще много страшного, тяжелого, темного. Тяжелая доля с холодом, с голодом весь век ходит рядом с бедняком, с его детьми. Эта доля досталась от недавнего прошлого. Тогда, с одной стороны, были голод и нищета, и весь век, бесконечно, тяжелый труд. Это было для рабочего и крестьянина. А с другой стороны — были светлые дворцы, украшенные золотом, роскошь, имения с тысячью десятин земли и сытая, за чужой счет, жизнь. Это было для помещиков и капиталистов. Все это навеки уничтожено революцией, чтобы на земле была жизнь счастливая, радостная, чтоб была разумная жизнь равных людей. Но эта светлая жизнь не придет сама, ее надо строить. Путем к такой жизни и есть жизнь колхозная. Вот почему мы в третий раз собираемся, чтобы доказать, чтобы убедить вас, что нет иного пути, нет иного выхода из нищеты...

Собрание молчаливо, напряженно слушает слова Панаса, и откуда-то из этой напряженности вырвался крик, остановил Панаса:

— Где же выход, скажи, где?

— Ага, где, где он? — поддержали еще несколько голосов.

— В создании колхоза выход, вот где,— ответил Панас,— иного выхода нет, иной путь — это тот же, старый, путь к старому.

— Так почему ж,— спросил тот же голос,— нету того, о чем говорите вы?

— На словах, наверное, только есть,— сказал кто-то из толпы.

— Неправда, гражданин, есть и практика, и очень хорошая. Есть немало колхозов, коммун, вот хотя бы Новиковская у вас в районе.

— Благодарим, товарищ,— откликнулось несколько иронических голосов,— за такое добро! Не дай бог познать такую жизнь, как в той их коммуне.

— Почему? А что ж там такого страшного? — спрашивает Панас.

— Почему? Не знаете? Так я скажу, перед всеми скажу, перед народом...

С койки поднялась женщина, расстегнула ворот кожуха, отбросила с головы на плечи платок.

— Беднячка я, все это знают. Я была в Новиках в коммуне. Я испытала, что есть за счастье в коммуне. Привезла я в коммуну и коника, и повозочку, и плужок, и коровку с телкою.— Она заплакала и продолжала сквозь слезы, растягивая слова: — Гнула спину, горевала, работая от темна до темна, вечно недосыпала, недоедала, недопивала, а там такой нашему брату почет, что если больной ты, так лодырь и вон иди... Каскевич там над всеми пан... Выгнал с коником одним, с санями поломанными, а корову взяли, свинок взяли... Не знаете? Так я скажу, как там живут. Голые да босые ходят все, только он в сапожках и пальто, только у него покои, а у коммунаров вши по стенам ползают, хлеб с тараканами едят они... Вот почему я от такой жизни ушла, чтобы не знать ее больше никогда, чтобы не ведать...

— Конечно, от хорошей жизни не побежит зазря человек,— сказал кто-то.

— Разве бы я от добра ушла. Дети там голые, босые, хворают все от жизни той.

Спорить было бесполезно, и Панас решил послать от деревни в коммуну крестьян, чтобы они посмотрели сами, чтобы сами проверили жизнь в коммуне. И когда собрание немного успокоилось, он предложил послать в Новики делегацию.

— Неправду тетка о коммуне говорит, налгала уж очень много, пускай делегаты сами поедут и проверят,— сказал он.

— Не надо нам делегации,— закричало опять несколько голосов,— и так все знаем.

— Нет, не знаете и верите всему.

— Потому что оно так и есть, поэтому верим.

Но большинством собрание согласилось с предложением, и делегацию выделили. Когда голосовали состав делегации, из середины кто-то сказал:

— Гляди не гляди, добра, наверное, мало там.

Говорили еще.

Панас внимательно слушал короткие крикливые и тихие замечания крестьян и думал, как ответить на эти замечания, чтобы собрание поняло его. А собрание говорило. И в коротких замечаниях были и жалобы, и недоразумения, и скрытая злая ирония.

Потом сзади поднялся старик, переступил передние ряды, снял шапку и дрожащим голосом заговорил:

— Я весь век свой, товарищ, аж сорок пять лет, в коллективе прожил, и теперь опять вы сгоняете...

Кто-то захохотал. Старик замолчал, оглянулся вокруг и сел.

— Он у пана батраком был,— объяснил кто-то.

Дед услышал это, опять поднялся, опять заговорил:

— Освободили нас было от панщины, от звонков этих, а теперь, стало быть, опять звонки, а мы ненавидим их...— И дед опять сел. Тогда заговорила, захлебываясь от скороговорки, старая женщина.

— Правду Демид говорит, правду, почему опять звонки? Дайте пожить нам хоть несколько лет вольно, чтоб никто надо мной не стоял, а тут опять в батраки иди в том колхозе...

Сердце Панаса сжимается от боли и обиды, почему не понимают, что колхоз — это их хозяйство.

— Почему в батраки? — спрашивает он.— Колхоз ведь ваш, ваше это хозяйство будет. Всех вас.

Камека до этого сидел молча, слушал и курил. Теперь он решил включиться в прения.

— Стыдно, граждане,— заговорил он, поднимаясь за столом,— как это вы не понимаете, что товарищ говорит. Войдете в колхоз, и все: дома хозяин — и там хозяин, только над всем уже хозяин.

— А что будет,— спросила женщина,— если я не пойду в колхоз, вот режьте, стреляйте меня, а я не пойду? Что?

— Что? — Камека на некоторое время задумался.— А вот ты, хозяин, едешь по шляху, и все мы из Терешкиного Брода едем, а на шляху забор поставили, так мы объезжать его будем или отбросим в сторону от шляха, чтобы не мешал? Мне кажется, что все понятно. Если вся Беларусь, весь СССР пошел в колхозы, один ничего не сделаешь...

— В кусты, значит?

И за этим заговорило собрание, зашумело, и все: и слова Камеки, и крикливые слова женщины, спорившей с ним,— потерялось в общем шуме. Камека еще что-то говорил, потом замолчал и смотрел на собрание, качая головой. Панас взял слово, чтобы разъяснить то, что сказал Камека.

— Не в кусты, товарищи,— сказал он,— это неправильно будет, этого никто делать не станет. Мы убеждаем вас идти в колхоз потому, что нет иного пути у крестьянина, чтобы улучшить свою жизнь, а кто не захочет идти в колхоз, его воля. Пусть сам решает, как поступить, но, известное дело, если вся деревня в колхозе, а один или два — нет, так не дадут же им земли в центре колхозного массива, а с краю отрежут где-нибудь, вы это сами понимаете.

— А если все не пойдут?

— Почему не пойдут? Я уверен, что если не все, то большинство будет в колхозе, и уже весною вы коллективно выедете на колхозное поле...

Еще долго продолжалось собрание.

Горячие бурные прения то вырастали в общий говор, и тогда ничего нельзя было разобрать, то переходили в крикливые краткие речи отдельных крестьян, вкладывавших в эту свою речь лишь свои собственные желания и сомнения, то принимали характер переговоров между Панасом и каким-нибудь крестьянином, то опять перерастали в говор.

В хате душно и угарно от дыма. Синий махорочный дым висит под потолком в хате, словно туман, и окутывает собою лица людей. В дыму мигает, вот-вот погаснет, небольшая тусклая лампа.

Было четыре часа утра. На дворах под поветями давно уже перекликались петухи.

* * *

Больно стоять коленями на твердом току. Ноют ноги. Чтоб отдохнуть и подумать, Клемс сел, вытянул перед собой ноги, веялку бросил на мякину.

Вправо от его ног кучка непровеянной ржи. Дальше, впереди, небольшим полукругом мякина, а еще дальше, тоже полукругом, чистые ржаные зерна. Зерна легли густо, и оттого, что чистые они, кажутся очень крупными. Клемс взял горсть непровеянной ржи, начал пересыпать ее с ладони на ладонь. Мякина отлетает в сторону, а на ладони остаются чистые сухие зерна. Он пощупал зерна пальцами, взвесил их на руке и сыпанул в провеянные. Зерна зазвенели и скрылись в куче.

«Пудов около двадцати наберется...» — подумал Клемс. Посидел еще несколько минут молча, скользя взглядом по толстому чистому зерну.— «А ить тогда его в один закром ссыпать надо будет, в один закром...»

Опять поджал под себя ноги, подгреб веялкой под колени мякину и начал веять. От веялки далеко отлетают и кладутся полукругом чистые зерна. Впереди, ближе, тихонько стелется в полукруг мякина.

Стелется мякина, и ровно, спокойно плывет дума. Уже все решено, осталось только сказать о своем решении жене. Сказать надо скорее, не откладывая это до последних дней, чтобы дать ей время поругаться, поворчать и подумать. Думает об этом Клемс и, подгребая в веялку последнее зерно, планирует, как, придя с гумна, заговорит с женой, как скажет ей самое главное. И самое трудное для Клемса сказать, а потом пускай злится она, пускай ругается, потом сумеет отговориться.

В хату Клемс пришел, когда смеркалось. Жена сказала что-то ласковое навстречу ему и быстро накрыла стол, поставила есть. А сама села у печи и начала рассказывать новости, услышанные на улице. Клемс молча ел, не отзывался на ее разговор, несколько раз клал ложку, собираясь заговорить сам, но не осмелился, только разозлился и, поужинав, пошел поить коня. Раздраженный, покрикивал на коня, что тот не пьет, а набирает в рот воды и, жуя губами, выливает ее под ноги Клемсу. Но в сарае, подкладывая коню сена, стал мягче и решил, что придет в хату и скажет жене то, что надо, а она пускай как хочет потом, хочет — молчит, хочет — пусть ругается.

Когда клал сено, конь всунул голову в ясли и, разворачивая мордой сено, начал искать в нем более вкусную траву. А не найдя, начал тереться головой о хозяйскую руку. Клемс похлопал ладонью коня по подбородку, провел рукой по его шее под гривой.

— Да ить и тебя, тогда в одну кучу...

Конь в ответ зафыркал, махнул головой, взял в губы несколько былинок сена и так держал их, не пережевывая. Клемс еще погладил коня рукою по шее и вышел.

Когда он возвратился в хату, жена на печи готовилась спать. Он разделся, сел на лавку, напротив печи, и начал разуваться. Решил завести разговор немедленно и проговорил как-то неожиданно для себя:

— Приходил опять тот, Панас.

Жена смотрит молча.

— Ей-богу...

— Чего его носит?

— Хочет все-таки уломать наших.

— Так и уломает. Пусть погодит еще немножко... И для кого он только старается?

Жена начинала злиться. Клемс, сняв один сапог, сидел, не разматывая портянки.

— Для себя старается, для людей. И уломает. Ты думаешь, нет?

— А кто это пойдет?

— Люди пойдут. Почему не пойти?

— Может, и ты пойдешь? А?

— А я разве хуже других? Я вот и думал... Мы сегодня с Евсеем советовались. Можно и пойти. И Тодор бы пошел, и Петро, и Палашка.

Жена насторожилась.

— И ты с ними в компании?.. Сдурел! Почему умные люди не идут? Небось, Горбули не пойдут...

— Их и не примут, хоть бы они и хотели.

— Не примут! А ты и рад, что тебя примут. Каждого дурака примут, лишь бы пошел!

Она села на печи, свесила ноги.

— Ума-разума где-то набрался, пойдет уже... Тебе, конечно, надо первому лезть в это, не зная, что будет? Век свой ты так. Как только что-нибудь такое, он вперед: я тут, меня! Ассе-е-сор такой. Пойди, поешь вот хлеба там, может, даст бог, попробовав, назад вернешься... Попробуешь, как это кишки метрами делят. Иди, иди...

— Да чего ты разошлась? Какой это дурак кишки делил? Может, еще и вас там делить будут, у кого женки нет?

— А может, и нет? А что люди говорят, послушай.

— А чтоб тебя с людьми такми!

Старуха не умолкла. Разозленная, она быстро сыпала словами.

— Добро увидели, рады-радехоньки, что их просит туда какой-то черт полосатый, а почему он сам не идет? Сам только ездит да уговаривает! Пускай бы в городе прежде коллективы делали, так нет, они из мужиков наших все хотят... пойди вот, сдурей на старости!..

Клемс так и сидел с одной неразутой ногой. Хорошее настроение пропало, как будто его и не было. Появилась злость на жену.

— Вот намолола, чтоб тебе язык присох! И чего ты только ворчишь? Захочу,— пойду и тебя не спрошу.

— Не спросишь? А я ли не частица в хозяйстве? Пойди!..

— Я тебе такую часть задам, что ты и места не найдешь! Горбули ей компания...

— А тебе Палашка компания?

— Молчи! А то сапогом брошу!.. Луковица эта...

— Ты тоже молчи, старый гриб, не думай, что ты умнее всех!

Клемс не ответил. Он плюнул себе под ноги, поправил на ноге портянку и опять надел сапог. Потом взял кожух и, не раздеваясь, лег на лавке лицом к стене.

Клемс все эти дни ходил неспокойный, даже немного злой. Началось это с тех пор, как в деревне появился Панас. А дело было вот в чем. Слухи о колхозе в Терешкин Брод попали не сразу. Сначала они сплетались где-то далеко, аж в соседнем районе, и оттуда доходили запутанными, как нечто далекое, что не имеет отношения к Терешкиному Броду. Поэтому они Клемса и не беспокоили. А теперь то, что вкладывал Клемс в понятие колхоза, подступало болью к груди и спрашивало: ну, а как же ты, как же ты решишь, куда ты пойдешь? Теперь оно не отступало, не давало нигде покоя. Придет Клемс в гумно, станет на току, а с боков наклоняются ощипанное сено, солома, снопы, тянутся острыми концами колосьев в самое сердце и спрашивают: а как будет тогда? Чьими тогда будут снопы и сено? Ляжет вечером спать и долго не может ус-

нуть, ворочается с боку на бок, нервничает, и оно все не отходит. Хотел весной пересыпать сараи, купил семь пней леса для этого, а теперь как? Делать или нет?

Когда разговоры о колхозах ходили еще далекими околицами в стороне от Терешкиного Брода, Клемс, как и другие, заранее решил не верить, если о колхозах будут хорошо говорить, и заранее отгородился от колхоза стеной своих весомых, как ему казалось, рассуждений. А тут появился Панас, и все перепуталось, и первое же собрание эту стену разрушило. Панас говорил о жизни правдиво и так, что в его словах Клемс слышал свои мысли, которых, он, правда, не мог высказать. Клемс злился, нервничал, чувствуя, что неверие его разрушается, что все меньше и меньше остается для него оснований, но на собрания шел, слушал разговоры Панаса и спорил с ним зло, задиристо. Задиристость эта была средством защиты его от Панаса. Он понимал, что Панас раскусил его и нарочито бьет словами по его самому слабому и уязвимому месту. Вздумает Клемс перечить, а Панас сразу же скажет то самое, только по-своему, иначе, но так, что перечить больше нельзя, и Клемс после этого соглашается или садится и молчит.

На третьем собрании Панас нарочно, так думал Клемс, предложил его в состав делегации, которую посылали в Новики. Клемс возражал, отказывался. Он понимал: поедет в коммуну, и если там хозяйство ведется хорошо, ему придется покориться и решать. Поэтому он после собрания откладывал поездку в Новики, упрашивал делегатов, чтобы ехали без него, но без него не ехали, и он еще больше злился и нервничал.

А когда сели в розвальни и конь зачастил копытами по знакомой легкой наезженной дороге, Клемс схватился за последнее: была надежда, что в коммуне плохо, может быть, не так, как говорит Бобковичиха, но все-таки плохо. Эта надежда жила до тех пор, пока не увидели с холма большой коммунарский сад и ее серые здания. Тогда эта боязливая надежда съежилась и исчезла. Появилась тревога: а что, если там хорошо? Тогда придется сдаваться и решать безотлагательно, сейчас же, и снова появилось желание, пусть хоть немного было бы плохо, чтобы не сразу сдаваться, чтобы иметь хоть какие-нибудь аргументы против жесткой правды Панаса.

В коммуне распряженного коня поставили под поветь, а сами пошли к гумну. В гумне дед Дыбун и три подрост-

ка резали сечку, когда ворота раскрылись и в пороге остановились, здороваясь, делегаты из Терешкиного Брода.

Клемс стряхнул с лаптей снег, постукивая ногой об ногу, и заговорил первым:

— Поглядеть хотим, как вы тут?

— А вы откуда? — спросил дед.

— Из Терешкиного Брода, делегацией.

— Ну, глядите, нам не жалко. Тут у нас солома только сложена и немного сена.

Делегаты вошли в середину просторного панского гумна. С обеих сторон под самую крышу лежала солома. Дед указал рукой на солому:

— Скормили уже много и на подстил немало пошло. Соломы у нас, ага, сколько.

— И добра, наверное, много? — проговорил мужчина-делегат.

— И добра немало, увидите и добро... Вы уже сами, хлопцы, режьте,— обратился он к своим,— а я пойду покажу им.

Когда шли из гумна по тропинке в снегу, дед остановил делегатов и показал им сарай с сеном, а потом повел делегатов в свинарник.

— Его мы построили еще в прошлом году. Скотинка теплое любит. Внутри тут и кухня для стада есть. Понемножку все делаем. Теперь, это, нам многие завидуют! А прежде и трудно было, да еще как трудно,— рассуждал он.— Сколько бабы поплакали, ай, ай! А теперь смеются, что боялись. Да и сам я, как поехал сюда сын и поступили мы уже, ни за что не хотел позволить хату сюда перевезти, пускай в коммуне, думал, буду, а хата чтоб стояла, мало что, всякое думалось. А сын не послушался, и перевезли хату, вон она,— дед показал рукой на низкое старое здание,— там теперь сбруя наша лежит. И хорошо, что перевезли. Когда трудно было и всякое думалось, назад пойти не раз намеревался, но хаты нет своей, куда пойдешь? Из-за этого остался, а то ведь и от сына хотел пойти. Сын знал это, потому и разобрал хату, а теперь я благодарю, что разобрал, что сразу все свое с корнем вырвали и сюда перенесли... Вот...

Дед открыл дверь и пустил делегатов в свинарник. Это был низкий сарай с помостом. Посредине узкий коридор, а по сторонам загородки для свиней, каждой отдельно.

— Восемнадцать у нас кабанов одних,— сказал дед,—

что для себя, а что и продать, потому что и деньги нужны. Присматривают за ними хлопцы, три хлопца.

Дед согнулся, просунул в загородку руку и погладил по голове кабана, почесал пальцем у него по шее. Кабан вытянул голову и захрюкал.

— Дюшка, дюшка,— позвал его дед и вслед за этим объяснил: — Этот хворал, но поправился и теперь уже ест. Немного похудел, конечно, недоедал, но пудов пятнадцать будет... А тут за стеною куры. Идем, да только, чтобы не выскочили, они у нас шустрые.

На деревянном помосте просторного отделения расхаживали высокие белые куры и разгребали разбросанную на полу солому. Дед сыпанул на помост горсть зерна, и куры сразу сбежались, заквохтали, стали собирать зерно.

— Дорогие это куры, пока что на завод лишь покупают. По рублю яйцо продаем...

— Ого! Почему так — спросила Палашка.

— Таких кур очень мало,— объяснил дед.— Мы сами их чуть купили... А это кухня рядом здесь.

На кухне сложенная самими коммунарами печь с громадным котлом. В углу какая-то простая машинка и возле нее кадка со свеклою. Дальше у стены бочки с мякиной и отрубями. У печи стоял, улыбаясь, молодой хлопец. Когда одна из женщин подошла к машине и стала рассматривать ее, он подсыпал в машину свеклы и покрутил колесо. Внизу в кадку посыпались мелкие порезанные свекольные куски.

— А теперь,— позвал дед,— к коровам пойдем. Коров у нас много, а коровника им еще хорошего не построили, так у них не совсем тепло.

В высоком просторном сарае под потолком узкие окошки. По сторонам сарая загородки для каждой в отдельности коровы. Делегаты молчаливо стояли посреди сарая и оглядывались... Каждый из них в этот момент мысленно пересчитывал, сколько в сарае коров. Палашка обводила вокруг себя глазами, держала палец у губ и молча считала.

— Аж сорок три штуки! — удивленно проговорила она.

— Сорок три,— подтвердил дед,— и два быка племенных.

Коровы смотрели на удивленных делегатов, сопели и пережевывали жвачку. Палашка еще раз оглянулась и спросила:

— А масло как? Отнимают у вас?

— Как это?

— Ну, чья коммуна, кто руководит вами.

— Как это, кто отнимет? Что лишнее, продаем кооперации, а отнимать — никто не отнимает.

Заметив удивленное Палашкино лицо, он объяснил:

— Кто ж отнимет, если мы растим стадо? Масло мы продаем, и себе хватает. В столовой увидите,— утром у нас масло к чаю есть и вечером.

Когда шли от сараев к клети, где хранили коммунары свое добро, Клемс отстал от делегации. Ему хотелось побыть одному, разобраться в своих мыслях, посоветоваться с самим собою. Он остановился на узкой тропинке посреди двора и стоял так, глядя куда-то в заснеженное поле, за коммунарские постройки, аж пока не зашла делегация в клеть. И тут, на тропинке, Клемсу стало совершенно ясно, что он уже решил для себя вопрос, волновавший его все эти дни, и решил окончательно, хотя нигде и никому еще не сказал об этом. И может поэтому Клемс чувствовал себя так, словно что-то очень хорошо знакомое для него, но что — он не хочет самому себе напомнить теперь, потеряно им уже навсегда.

Но, как ни странно было это для него, чувствовал, что совсем не жалеет этого потерянного. Было что-то другое. Неловко было прийти теперь на собрание и сразу сказать, что он, Клемс, согласен с Панасом.

В клети делегаты стояли у закромов, слушали рассказ деда.

Палашка слушала деда и смотрела во двор в открытую дверь, а руками, незаметно для самой себя, набирала полные горсти чистого овса и, поднимая руку, сыпала овес назад в закром. Чистое золотистое зерно падало с горсти, как ручеек, и тихонько звенело, рассыпаясь по закрому.

Клемс не спеша подошел к клети, остановился у порога и, глядя на Палашку, сказал:

— Так, может, домой скоро поедем?

Палашка вздрогнула, высыпала из горсти овес и ответила:

— А еще председатель придет, расспросим у него коечто.

— Спрашивать нечего,— заметил Клемс, но вслед за другими пошел в коммунарскую столовую, чтобы дождаться Каскевича.

В столовой дед оставил делегатов одних, а сам пошел

искать Каскевича. Делегаты молча сидели на скамье у стены и рассматривали столовую. Напротив них, в небольшой комнате, играло трое малышей. Дети были в одинаковых пальтишках, все были обуты в валенки. В другой стороне за незакрытой дверью находилась кухня. Палашка все время смотрела на детей, а потом поднялась, тихонько подошла к двери детской комнаты и остановилась. Дети стояли коленками на низких скамейках и рассматривали книжку с рисунками. Заметив Палашку, они отвернулись от книги, и один спросил ее:

— Тетя хочет посмотреть игрушки?

— Ага, хочу, детки, покажите мне ваши игрушки.

Дети слезли со скамьи, и все трое принесли Палашке разные игрушки. Палашка смотрела на игрушки, на лица детей и спрашивала:

— Чьи это свитки у вас?

— Насы,— удивленно ответили в один голос,— а у тебя, разве не тетина свитка?

— У меня своя, а у вас казенные, наверно...

— И у нас свои.

— И сапки такие у всех.

— И валеноцки.

Палашка погладила по щеке меньшого, хотела идти назад, но неожиданно мальчик спросил ее:

— Ты у нас зыть будес?

— Ага, у вас, детки, в коммуне.

— И мы все в коммуне зывем.

— А чем же вас кормят?

— Всем. Яицки дает тетя, сыл, масло. Это нас стол, а там мамы насы едят.

Палашка еще немного постояла и отошла назад к своим. Вернулся дед и сел рядом с делегацией.

— Нет его, в лес поехал. А в обед и его увидите.

— А разве он и в лес ездит? — удивленно спросил мужчина.

— А как же?

— А Бобковичиха говорила, что он, как пан, только руководит.

— Еще что она скажет. И руководит он, и работает. Выгнали ее, так болтает всякую ерунду. Не хотела работать, по гостям все ездила, а говорила, что в больницу, а как проверили, сразу исключили, теперь болтает. Его только жаль,— сказал дед,— он тихий, работящий муж-

чина. Если б не он, ее давно бы выгнали, но его жалели. А из-за нее сколько споров было. Все ей не так: тот больше съел, тот меньше сделал, тот скрылся с яблоками и ей не дал, иной ей еще чем-нибудь не угодил, и всё ссоры... Ей и черт никогда не угодит, такая у нее натура.

Позже делегаты осмотрели еще несколько квартир коммунаров. А домой возвращались, когда смеркалось, после ужина в коммуне.

Выехали в поле. Конь побежал по ровной заснеженной укатанной дороге. Подул холодный ветер. Палашка спрятала лицо в воротник кожуха, съежилась и начала рассуждать сама с собой по поводу виденного в коммуне. Клемс сидел молча. А два других делегата беседовали между собой.

— Старик, [redacted] не перекрестился после ужина,— сказала женщина.

— Подумаешь! Было бы что поесть, так и без крещения можно.

— Это, есть, как видно, много у них добра... Хлеб в корзинах, сколько кто хочет, мясо, котлеты... А молока — не перегон совсем, а чистое — дед аж три стакана выпил... Много добра у них.

— Почему ж нет, на готовое панское сели,— отозвался мужчина.

Замолчали. Потом женщина тихо сказала:

— Кто его знает, как оно лучше будет, может, и надо эта коммуна уже, может, такой свет теперь настал...

Мужчина ничего не ответил на ее слова. Разговор на этом прекратился. И уже ехали молча всю дорогу до самого дома.

* * *

Только закончив письмо, Панас почувствовал, что замерз.

Чтобы согреться, начал ходить по комнате. Ходил и насвистывал мелодию очень знакомой песни, но слов ее никак не мог припомнить. Вот-вот где-то шевелятся в памяти эти слова, но не задерживаются, ускользают. Панас перестал свистеть и тогда заметил, что в квартире за коридором уже давно царит глухая тишина, там давно уже спят, а за окном притаилась густая ночь. Подошел к окну, остановился и приложил к холодному стеклу лоб, вгля-

дываясь в ночь. За окном на снегу светлое пятно окна, на пятне его тень, и дальше густая темень, и мертвые глухие звуки ночи. Беспричинно закрался в душу страх и, обдав неожиданно все тело холодом, сначала приковал Панаса к месту, потом отбросил его от окна. Еще не опомнившись, Панас с середины комнаты бросил взгляд на окна, завешены ли они газетами. Увидел газеты и успокоился, но еще немного постоял, не трогаясь с места, вслушиваясь в тишину за окном, а потом, удивившись страху, улыбнулся и опять сел за стол, чтобы перечитать написанное в письме. Прочитал следующее:

«День добрый, Сидор!

Написал «день добрый», а за окном уже совсем ночь. Это механически. Решил я написать тебе все, что передумал за это время.

Я тут очень часто вспоминаю заседание парткома, на котором стоял вопрос о коллективизации. Помнишь, когда слушали доклад одного из райкомовцев? Как правильно уже тогда ставил вопрос «старик»! Очень правильно. Процесс коллективизации назрел давно, его надо организовать и помочь его росту. Это правильно и в отношении тех районов, где еще нет ни одного колхоза. Когда я думаю о деревне, я представляю ее громадным организмом. В нашем организме с первых лет революции было наибольшее количество бактерий, работавших на нас. За эти годы бактерии так развелись, что организм начинает изменяться, приобретает совсем иной вид. На этом организме нарастают новые клетки, живые, здоровые, и спустя некоторое время весь организм будет здоровым, крепким и совсем другим.

Плохо только, что еще очень мало сил, людей, которые помогали бы развитию этого процесса оздоровления и обновления. Особенно это чувствуется у меня. Сельсовет, в котором я нахожусь, самый удаленный от центра района. В районе говорят, что тут до последнего времени почти не было советской власти. Это же, наверное, можно сказать и про весь район. Во всем районе лишь две партячейки. Одна в центре, в деревне, где РИК, а вторая, кандидатская группа, а не ячейка, в коммуне. Тут всего один член партии да четыре кандидата. Правда, зато комсомольская ячейка насчитывает двенадцать человек, но и эта коммуна от моего сельсовета очень далеко.

Люди из районов до последнего времени в сельсоветы

попадали редко, лишь во время перевыборов, да еще когда налог собирают. Теперь, правда, бывают чаще, но крестьяне к приезжим относятся недоверчиво, настороженно, потому что среди крестьян ведут работу другие люди, не наши. И все же деревня меняется.

Все, знаешь, все и повсюду говорят теперь о коллективизации. Слово «колхоз» самое распространенное теперь. Это — бактерия. Она будоражит. Но по той причине, что мы в деревне мало работали, а враги наши постарались сделать свое,— колхоз в понимании еще очень многих что-то страшное, это почти крепостное право, барщина. Надо очень много работать, чтобы убедить, что это не так. Поэтому я выработал для себя собственную тактику. Я хочу добиться создания колхоза сначала в Терешкином Броде, а потом уже и в других деревнях. Разъяснительную работу мы силами сельсовета и учителей ведем во всех деревнях, но главное внимание я концентрирую на Терешкином Броде. И уже теперь чувствую, что колхоз здесь будет. Уже определяются понемногу и люди, будущие колхозники.

Деревня взбудоражена (я не только про Терешкин Брод говорю, а вообще про деревню), и теперь жить по-старому она уже не будет. Я не думаю, что очень легко и гладко начнется новое, но для меня совершенно ясно, что по-старому уже не будет. Революция своими идеями и понятиями пропитала глубоко все, даже самые глухие уголки. Всюду растет новое, растет бурно. И все же переделать жизнь не так легко. Перестроить наш завод, возвести новый тоже было нелегко. Переделать жизнь и людей значительно труднее. Потому что если на новом заводе старые люди, то на этом заводе, вместе с людьми, очень много и того, что перенесено людьми в наши времена от старой жизни. Тут, в деревне, еще труднее. И все же идеи и планы, о которых многие говорили и говорят как о фантазии, превращаются в действительность, хотя действительность наша, к слову, всегда была и будет фантастичнее, чем самые смелые фантазии человека.

На фронте я, молодой еще тогда, нутром, головой понимал, за что гибли люди, а теперь понимаю это по-иному, теперь вижу и очень хорошо понимаю, что недаром потеряно так много сил.

Теперь вся страна — фронт. Разве неправда? А мы постепенно, раз и навсегда, выбиваем врага с его позиций.

А враг лезет всюду, забирается в каждую щель, где нету нас. Враг часто и в сознании людей, социально совсем близких для нас. Оттуда выбивать врага не очень легко, во всяком случае это значительно труднее, чем выбивать врага из окопов на фронте войны. Пулею, силой вообще очень легко действовать и просто. Ума для этого большого не надо и думать не надо о смысле и содержании человеческой жизни. Поэтому, наверное, люди и выбрали для борьбы между собой самое легкое и простое средство — пули, штыки, газы, бомбы. Излюбленное средство буржуазии. И все же, как ни широко она использует это средство, коммунистические идеи проникают в рабочие головы очень глубоко. И главное, что расстрелять идеи эти нельзя и нельзя сослать их на каторгу. Можно расстрелять сотни революционеров, десятки тысяч рабочих, и все же коммунизма расстрелять нельзя.

Сегодня я представляю мир сплошным фронтом. Над землей не облака, а бескрайнее громадное полотнище, окрашенное кровью. Оно застилает все больший и больший простор. Оно свидетель того, какой дорогой ценой можно купить коммунистическое завтра, с которым придет общечеловеческое счастье. Этого счастья нельзя получить так вот, на блюдечке, как горячий пончик. Оно не придет тебе в комнату в мягких ночных туфлях. Оно придет, ступая через годы тяжелыми шагами, придет, растаптывая старое, и у каждого из людей нашей эпохи спросит, что он сделал для его торжества. Общечеловеческое счастье, вижу я, идет под полотнищем, окрашенным в кровь. Это символ нашей веры. Это символ того, что общечеловеческое счастье можно завоевать только в жестокой борьбе. Мы его завоевываем, но еще не завоевали. Но среди нас уже и теперь есть такие, что обеспечили свое личное существование, засев в кабинетах социалистического государства. Они думают, что их миссия закончена и что они имеют право на свою долю того, общечеловеческого счастья. Они сегодня готовы уже сесть в мягкие кресла своих квартир, в которые (кресла) так удобно вмещаются их толстые зады, и вспоминать о битвах революции, как о далеком прошлом.

Они готовы повсюду вывесить лозунги о революции и ее завоеваниях, назвать улицы городов именами великих революционеров нашей эпохи, объявить социализм построенным и призывать человечество к вечному миру.

Они готовы вогнать социализм в форму бронзовых и гипсовых статуэток и памятников, чтобы этим парализовать его деятельную силу.

Сюда бы их, этих героев. Тут бы они, наверное, убедились, что борьба еще не окончена, что враги далеко еще не разгромлены и, наверное, убедились бы, что садиться в мягкие кресла еще рановато.

Видишь, Сидор, каким злым стал я тут. Считаю, что это хорошо. Прощай.

Панас.

17 февраля 1930 года».

Панас прочитал письмо, улыбнулся довольно и дописал внизу еще:

«Теперь за окном ночь, темная, темная. Обычно в такую пору кончаются собрания, и я иду с собрания домой. По пути я никогда ничего не боялся, а сегодня сижу в хате, а на меня какой-то страх глупый напал. Наверное, потому, что вокруг тупая какая-то тишина, а я никогда ночью не сидел в комнате в такой тишине и один. Мне все кажется, что кто-то за окнами ходит, крадучись. Я ничего не слышу. Глупость такая в голову влезла. Ладно, хватит надоедать тебе еще и этим. Прощай.

Панас».

Панас положил письмо в конверт, подписал адрес и опять против желания начал прислушиваться к тишине ночи, не двигаясь с места. Опять пришел страх. Чтобы убедить себя, что за окном никого нету, Панас встал, подошел к окну, прижался лицом к стеклу и долго стоял так, вглядываясь в густую темень ночи.

X

— А я все собираюсь прийти к тебе,— сказала Галина,— глянуть, как ты живешь.

Панас замедлил шаги, взял Галину под руку и ответил:

— Отчего ж! Идем теперь, я очень рад буду.

— Идем, а то давно я тебя не видела, истосковалась совсем была.

— И я здорово соскучился.

Оба захохотали. А через некоторое время Панас, сворачивая на тропку к дому, уже серьезно добавил:

— Шутки шутками, а я таки тоскую и здорово.

Галина засмеялась.

— Тебе все смешно. Любил, называется, девушку, столько любил, а как только поехал, так она скорее замуж, где и любовь та подевалась...

— А что, тебя надо было ждать? — сказала, улыбаясь, Галина.— По тебе могла бы в девках век вековать.

— Не вековала бы, пришел.— И с улыбкой предложил: — А знаешь, оно ведь не поздно и теперь еще исправить ошибку, бросай Макара, и айда ко мне.

— Дай подумать прежде, стоит ли. Чтоб не сменить быка на индюка...

Панас открыл дверь, и первой в комнату вошла Галина. Комната дохнула теплом и угаром, только что трубу закрыли, наверное. Галина остановилась недалеко от двери и стояла так, оглядывая комнату, а потом сказала:

— Угарно у тебя, голова заболит.

Панас подошел к окну, поднял крючок и открыл форточку. Воздух ворвался в комнату холодной струей и закружился по углам, расстилаясь по полу. Галина все так же стояла на одном месте посреди комнаты и смотрела куда-то за окно. На ней новый желтый кожух, голова повязана простым шерстяным платком. Такой она помнится Панасу с давних времен, и такая очень нравится она. Панас отошел от окна, встал рядом с Галиной и сказал, глядя ей в лицо:

— Ты, Галина, очень красивая, когда вот так одета и так платок завяжешь. Не могу я тогда сдержаться.

Галина порозовела на мгновение, потом помолчала некоторое время и, глядя все туда же, за окно, сказала:

— Подумаешь, платок... Небось, в городе у вас лучшие, со шляпками.

В голосе, которым были произнесены эти слова, Панас услышал и иронию, и обиду, и тихо ответил:

— Я ведь теперь о тебе говорю, о твоем платке, так при чем тут кто-то со шляпкою.

Она ничего не ответила, развязала платок, сняла кожух и отошла от печки. Остановилась, прижалась к печке спиной и сказала:

— Закрой форточку, а то будет холодно в хате. Я люблю вот так возле печки погреться. В школе у нас

такая печка была, так я на переменах все грелась... Ну, иди и ты погрейся. Стань вот тут.

— А я думал, ты злишься на меня,— ответил Панас и встал рядом с Галиной.— Не люблю я злых.

— Полюбишь, если не любишь еще. Может, думаешь, на тебя и злиться никогда никто не будет?

— Думаю,— сказал Панас, прижимаясь к ней.

— Ой, ой! А как же, жди, тебя только пестовать будут...

А позже, когда сидели на кровати близко друг возле друга и беседовали, Галина наклонилась к Панасу и, как некогда на огороде, обожгла неожиданным поцелуем его щеку. И смущенному, и радостному Панасу сказала:

— А я... любила тебя... тогда...

Панас спросил:

— А теперь?

Взял ее руки, сжал их в своих.

— Может, и теперь люблю, но ведь теперь...

Хотела сказать, что замужем. Панас угадал это. Привлек ее к себе, обнял, стал целовать. Когда отпустил, Галина отшатнулась, поправила на голове сбитую набок косынку и заговорила.

— Ну и здоров ты... Нельзя же... По деревне нашей сплетни разные ходят,— сказала она,— до моего Макара дошли уже. Говорят, что я с тобой гуляю.— Она улыбнулась.— Что потому и за колхозы говорю. Болтают, а мне только смешно как-то. Совсем я этого не боялась. И знаешь,— продолжала она,— я это так, по правде тебе скажу, мне как-то назло им хочется, чтобы так было, как болтают. Поэтому нарочно с тобою сюда пошла... А мне лучше, мне хорошо с тобою... Я для тебя одного берегла себя, долго берегла, но ты не пришел...

Далеко за лесом пряталось большое позолоченное багрянцем солнце. Поздний луч его заглянул через окно в комнату и, задержавшись на минуту на теплой печке, пополз по белому сверкающему изразцу вверх под потолок и там пропал.

Попрощавшись, Галина сказала:

— Ты не иди со мной, не надо, я одна, а то еще увидят... Чтобы только Макар не узнал, что я с тобою вот так уже... Я его не боюсь, но ругани его не люблю, надоело уже... Он догадывается про нас, но не знает. Тебя не любит, поэтому он никогда в колхоз не пойдет...

* * *

Опять, все в той же хате, собиралось собрание. Панас вышел на крыльцо закурить. Вслед за ним вышел немолодой мужчина и тоже начал сворачивать папиросу. Закурил, подал спичку Панасу.

— Все уговариваете, товарищ?

— А что?

— Да как сказать... страшновато оно, если бы кто-нибудь первым пошел.

— Почему если бы кто-нибудь? А сам ты, дядька, почему не хочешь первым? Возьми кого-нибудь из соседей, из родственников, и будешь первым.

— Я не против, но первым, это, брат, товарищ, не наше дело. Никогда я такой не видел жизни, а тут наслушаешься разного по людям страшного...

— Разве кто пугает?

— А как же!

— Кто?

Крестьянин подумал немного и сказал:

— Да так, которые сами себя... А может, кто-нибудь и запишется.

— Ничего, запишется кое-кто, а потом и все.

— Может. Мы не против. Может, и мы, немного подумав, запишемся.

— Конечно. Уже три заявления есть.

— От кого?

— От Мышкина и еще от двоих.

— Он подал? — в голосе крестьянина прозвучало не то удивление, не то тревога.

— А что? Каков он? — спросил Панас. Крестьянин помолчал, раздумывая.

— Человек, как человек, но не думал я, чтобы он пошел на такое.

— А вот пошел. Ну, идем в хату, делегаты, может, что-нибудь скажут.

— Ах, что они скажут. Может, и на собрание не пришли.

Панас пошел в хату. Когда он зашел за стол, в хате стало тихо. Люди приготовились слушать.

— Поговорим, дядьки,— сказал он.

— Чего говорить,— откликнулся один из крестьян,— ты говори, а мы послушаем.

— А потом мы поговорим,— вставил слово другой,— а ты послушаешь.

— Я уже все сказал, а теперь вы должны. Пускай делегаты расскажут, что видели в коммуне.

Крестьяне в передних рядах оглянулись, чтобы посмотреть, есть ли на собрании делегаты. Возле печи стояла одна лишь Палашка.

— А что они скажут? — послышалось несколько голосов.— Есть ли у них что сказать...

— Как это? Что видели, о том пусть и расскажут.

— Хорошего, наверно, мало видели,— крикнул кто-то из-за угла.

— Пусть расскажут о том, что видели,— ответил Панас.— Плохое, так плохое, а если хорошее, пусть о хорошем скажут, только бы правду. А тогда будем уже решать, чтоб мне больше не ходить к вам с уговорами.

— Вы приходите. Мы любим послушать людей.

— Выходи, Палашка, скажи, что видела,— раздались женские голоса.— Послушаем и тебя.

Кто-то засмеялся.

— Ничего я не умею говорить, сами уж говорите,— ответила обиженным тоном Палашка.

— Скажи, что видела.

— Что видела, то и видела!

— А я предлагаю, что можно пойти и нам в колхоз,— заговорил неожиданно для собрания Мышкин,— пойти и работать с богом. Советская власть нас не обманет, она наша власть.

Собрание молчало. Мышкин продолжал:

— Что тяжело нам, об этом власть наша знает, потому что сама власть и налог с нас берет, и все такое. Власти оно, значит, больше видно, как надо. Народ растет, а земли мало, хлеба мало. Рабочих в городе у нас много стало, хлеб нужен, так вот я и говорю. Раз товарищ из города говорит, значит, надо так делать. Правда, бывало, город нас и обижал иногда, а теперь, может, и не будет, теперь, может, и ситчику больше даст, и подошвочки... Раз пролетариат,— значит, хозяин, и слушаться надо...

Внимание Панаса было занято в это время другим. Он хотел во что бы то ни стало добиться выступления делегата, потому что чувствовал, что его выступление принесет ему победу над собранием. Наблюдая за собранием, прислушиваясь к репликам крестьян, он угадывал, что это

собрание будет решающим. Потому, когда Мышкин закончил и сел, Панас ничего не сказал по поводу его выступления и опять обратился к делегатам:

— Вы скажите, что видели в коммуне. Так ли оно страшно и плохо, как Бобковичиха говорила, или нет? Что ж вы?

Никто не ответил. Палашка стояла у печи и молчала.

— Жаль... Жаль... Что ж это вы?

— Да они и не пришли на собрание. Мужчины не пришли, а Палашка что скажет. Она неграмотная...

— Что видела, о том пусть и скажет.

— Не умею говорить я, вот и все,— откликнулась Палашка.

Она отошла от печи к порогу, постояла минуту там и вышла в сени.

— Если б что плохое было, сказала бы, а то, наверное, нет, а правды о хорошем не хотят сказать, вот и молчат, и это ничего. Пускай себе так, обойдемся. Ну, так что ж будем делать? — спросил Панас.— Кто еще сказать что хочет?

Собрание молчало. В одной группке крестьяне переглядывались, что-то говорили друг другу, посматривая то на президиум, то на собрание, наверное, что-то сказать хотели, но никто из них не решался заговорить первым. В углу кто-то шепотом, зло ругаясь, выговаривал другому. Тот оправдывался. Несколько человек, укрывшись в середине собрания, тихонько иронически посмеивалось. А большинство собрания сидело молча и ждало.

— Так кто еще сказать хочет? — повторил вопрос Панас.

В этот момент пискливо скрипнула дверь, широко раскрылась, и у порога остановился, снимая шапку, Клемс. Он глянул на собрание, ожидая, что оно ответит на слова Панаса, не дождавшись, пошел к столу.

Панас заметил Клемса, угадал его намерение и навстречу ему сказал:

— Может, дядька Клемс что-нибудь скажет про коммуну?

— Про коммуну ничего не скажу,— ответил Клемс уже у стола.— Скажу только, что хуже, как было, не будет, видно по всему. А если хуже — разойдемся. Сами делаем, сами и разрушить сумеем. Но я не для того говорю, чтобы разрушать. Делать чтобы навсегда, чтобы прочно...

Он посмотрел на угол, хотел перекреститься, но встретился взглядом с Панасом и протянул руку за карандашом.

— Давай подпишу протокол, я за колхоз, значит,— сказал он. И на протоколе, где указал Панас, Клемс поставил три косые крестика.

— Сам хочу записаться, чтобы не бежать если что.

Затем, обратившись к соседу Евсею, стоявшему у печи, сказал:

— Иди, кум, записывайся. Я уже.

К столу подошел кум, снял шапку, торопливо три раза перекрестился на иконы и так же торопливо вывел на протоколе под Клемсовыми крестиками два кружочка.

— А это мое будет... Чтоб только лад добрый был...

Он отошел за Клемсом и стал возле печи.

— Так, и я, как уже говорил, запишусь.

К столу подошел Мышкин и подписался на протоколе.

— Пишитесь, граждане,— обратился он к собранию,— чтобы не думали товарищи, что мы какие-нибудь там...

Тогда поднялось собрание, зашумело. Крестьяне подходили поочередно к столу и на протоколе ставили по-разному свои подписи, а потом, взволнованные, смущенные, словно стыдясь чего-то, отходили и закуривали. Из угла закричала женщина:

— Пускай бы они сами писались в городе! Из комиссаров своих пускай бы колхозы делали, так нет, из мужика все! Идите! Пишитесь! Попробуйте хлеба коллективного!..

А к столу подходили крестьяне, подписывали протокол и отходили. Когда подписал протокол сто тридцать седьмой — последний, Панас, радостный, взволнованный, взял протокол, дал подписать его председателю и секретарю собрания, а потом обратился к собранию с горячими, искренними словами о жизни, которую надо построить коллективными силами. Крестьяне сошлись ближе к столу, плотно, молчаливо стояли, слушая Панаса, и опять нельзя было разгадать, о чем они думают. Лишь некоторые взгляды искрились новой, нарастающей радостью. И когда Панас закончил, послышались голоса:

— Спеть! Спеть надо!

— «Марсельезу»!

— Спеть! Такое дело!

И неровными густыми голосами затянули слова пес-

ни. Панас оперся ладонями рук на стол и молодым, сильным голосом вмешался в песню, подхватил ее, поднял выше.

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Песня крепла, нарастала, казалось, раздвинет она бревенчатые стены, поднимет потолок и, торжественная, пробуждающая, поплывет по громадным просторам полей.

А на дворе начинался день.

* * *

Полный день ходила по хатам комиссия и в толстую разлинованную тетрадь записывала все имущество и, осматривая сараи, скот, инвентарь, напротив каждой вещи, строения или животного указывала стоимость. Мужчины посвободнее делали в новой недостроенной хате закрома для обобществленного зерна и подчищали и утепляли соломой два хлева, готовили их для колхозного скота.

Под вечер привезли из кооперации весы — взвешивать зерно, а к хлевам воз соломы, который разбросали как настил для скота. Ждали следующего дня. Некоторые с тревогой, — что будет? Другие равнодушно: что будет, то будет. Третьи с какой-то радостью, смешанной с тревогой. И до позднего вечера люди ничего не делали. Ничем не занятые мужчины стояли группками у хлевов, советовали тем, кто работал, как сделать, чтобы не залетал под крыши снег, как сделать загородки для коров, как отпилить жердь, и много говорили между собой. Другие собирались по нескольку человек в одной хате, много курили и много говорили про колхозы. С женщинами происходило то же самое. Деревня жила новым, никогда прежде не изведанным. Это новое было уже совсем близко. Завтра оно должно войти в деревню, и тогда сразу изменятся многие понятия. Моя корова, мой конь, мое зерно — все это завтра отойдет, ичезнет, и придут новые понятия — наши коровы, наши кони, наше зерно. Так думал Панас. А крестьяне думали об этом каждый по-своему. Одни с тревогой представляли, как завтра опустеет хлев и не будет в нем коровы и коня, и что тогда не будет он больше кормить их как своих, и от этого больно ныло сердце. Другими овладели в связи с этим какие-то непонятные

чувства, в которых они никак не могли разобраться. Все понимали только одно — завтра в деревне произойдет что-то такое, от чего все переменится. А пока, накануне этого завтра, многие думали о своей пережитой жизни и оглядывались назад перед тем, как сделать завтра шаг вперед.

Лишь поздним вечером люди разошлись по своим хатам, и тогда начались: у одних тихие беседы о завтрашнем, в которых люди делили со своими семьями надежду и тревогу, и сомнения свои; у других тихие молчаливые ужины; у третьих, как и накануне, ссоры.

Поссорился с женою и Клемс.

В ту ночь, когда Клемс поставил первым три свои крестика под протоколом за колхоз, жена ушла с собрания и, молча поплакав, легла спать. Молчаливо ходила она и весь следующий день. Клемс понимал причину этого молчания и не заговаривал с ней. Но это ему вскоре надоело. Вот почему, придя в этот вечер в хату, он первый заговорил с женой о завтрашнем дне, как о чем-то для них известном и знакомом.

— Завтра обобществлять будем коров и коней,— сказал он,— хлевы уже подготовлены. Значит, по-новому жить начнем.

Жена сучила нитки. Клемсу хотелось, чтобы она остановила прялку и согласилась с ним. Но жена, словно не услышала, молчала и еще быстрее крутила колесо прялки. А потом заморгала глазами. На щеке под ее глазом остановилась слеза, сверкнула и растянулась по щеке, аж до губ. Клемсиха вытерла глаза и щеку рукою. Остановила колесо прялки, поднялась со скамейки и поставила прялку в углу возле кровати, а сама отошла к печи, отодвинула в сторону заслонку, словно намеревалась достать что-нибудь из печи, и дрожащим голосом сказала:

— Не дам я корову вести! Не твоя она! Не дам!..

Клемс рад был, что жена заговорила, и ласково, спокойно ответил ей:

— А ты не кричи, глупая, прежде толком разберись, что к чему. Сведут коров в стадо, тебе же лучше будет, а не хуже.

Замолчал, чтобы подумать, что сказать еще. А жена торопливо полезла на печь и легла там, отвернувшись к стене. Клемс больше не говорил. Он молча сидел у стола. То ли дремал, то ли о чем-то думал. Догорела лучина. В хате потемнело, замелькали, засуетились сумерки.

Головешки на коминке еще долго сверкали малюсенькими ползучими синенькими огоньками и незаметно, как слабела сила огоньков, гасли, одеваясь в тонкий пласт пепла.

Клемс уснул. Он не слышал, как слезла с печи жена, как она надела кожух и вышла из хаты. Не слышал, как звякнула в сенях тяжелая щеколда и заскрипела дверь.

На дворе было холодно. Высоко в небе, за редкими облаками, плыла на восток луна. Сквозь облака пробивался и стлался по земле ее редкий свет. За облаками искрились холодные и далекие беловатые звезды.

Клемсиха стоит на крыльце, глядит на луну и тихо шевелит губами. Ей кажется, что наступил конец света, что теперь она, старая и заброшенная всеми, лишенная своего хозяйства, вынуждена будет пойти по людям просить ради Христа, и еще ей кажется, что никто не посочувствует ей, не пожалеет ее за то, что сама она согласилась остаться без своего хозяйства. Крупными каплями наплывают на глаза слезы и ползут по щекам, и падают на воротник кожуха.

Она сошла с крыльца и направилась к хлеву. Тихонько отодвинула засов в воротах. Тихонько открыла ворота и вошла. В хлеву темно, слыхать только, как пережевывают жвачку коровы, да едва заметны их расплывчатые силуэты. Хлев дохнул на нее теплом и запахом молока. От этого стало еще обиднее, что вот, не спрашивая ее, заберут коров из хлева, что не будет она сама больше доить их, что кто-то чужой будет давать ей молоко от ее собственной коровы. Она подошла к старой корове, погладила дрожащей рукой ее голову и, не сдержавшись, обхватила руками за шею. Корова постояла минуту, не двигаясь с места, потом повернула к хозяйке голову, обнюхала кожух и начала лизать ей руку. От руки, от места, которое лизнула корова, с нетерпимой болью потекла по всему телу обида, и Клемсиха заплакала громко, навзрыд.

У окна Клемс вскоре озяб и проснулся. Захотелось выйти во двор. В сенях удивился, что не заперта дверь. В хлеву как будто кто-то разговаривал. Он прислушался более внимательно и догадался, что в хлеву плачет жена. Торопливо подошел и распахнул ворота. Плач сразу прекратился. Из хлева навстречу ему пошла жена. Она остановилась в воротах, не ответила на его вопрос,— «чего это она тут ночью ревет»,— и пошла в хату. Когда Клемс запер ворота хлева и возвратился, жена опять лежала на

печи. Он, не раздеваясь, как это делал каждый раз, когда был не в духе, лег спать.

Утром, лишь только рассвело и жена начала хлопотать возле печи, Клемс вышел на улицу. Захотелось встретиться с кем-нибудь из соседей и поговорить, чтобы прошла тоска.

Медленно шел он по улице, заглядывал в соседние дворы, а боль от того, что плачет и ругается жена, тревожила сердце и не давала покоя. У соседа увидел раскрытую дверь в клеть. Остановился у соседских ворот и, постояв немного, пошел во двор. Заглянул в раскрытую дверь клети и увидел: у закрома с мякиной стоял хозяин. Он согнулся над закромом и руками разгреб в мякине яму. Потом взял новый хомут, лежавший у его ног, и осторожно положил в закром. За хомутом снял с колка сыромятную уздечку. «День добрый»,— поздоровался Клемс. Испуганный неожиданным голосом, хозяин вздрогнул, торопливо засунул уздечку в закром и, опасаясь, что Клемс войдет и увидит, что он делает, начал нагребать на хомут и уздечку мякину. Нервничая, зацепил рукой удила уздечки. Удила забренчали. Чтобы Клемс не зашел в клеть, хозяин загородил собою дверь.

— Надо корове поесть в последний раз дать,— сказал он,— так вот мякину беру... поведем, значит коней?

— Если утвердили на собрании, значит, надо вести.

— А что оно будет из этого?

— То будет, что будем делать сами!..— зло ответил Клемс. У него больше не было желания разговаривать с соседом.

И, немного постояв возле клети, он повернулся и опять пошел на улицу. Сосед, как будто за чем-то необходимым, заглянул в сени, но спустя полминуты возвратился в клеть.

* * *

Утром Галина с мужем пошла на ток. Надо было ссыпать в мешки провеянный вчера овес и набрать овцам сена. Когда насыпали в мешок пудов пять овса, муж потянул мешок по току к скирде снопов. Потом отбросил несколько снопов в сторону и попросил Галину, чтобы она помогла положить мешок между снопами и сеном.

Галина не поняла, зачем он хочет это делать, и не двигалась с места. Тогда муж пояснил:

— Это на всякий случай,— сказал он,— мало что может быть. Ссыплем, а это все ненадолго, где тогда возьмешь? А что ссыплешь, того уже не возьмешь, дудки...

— Что это ты говоришь?

— То, что знаю. Лишь бы туда, а потом только его и видели!

— А где оно поденется?

— Найдутся хозяева. Вон голод повсюду, а никто не продает, так они по-другому хотят взять.

— Кто тебе наговорил такого. Панас бы не обманывал, он справедливо говорит.

— А ты, как я вижу, слишком уж веришь ему!

— Так, как и другим. Что он мне? — Галина покраснела.— Но это обман. Зачем тогда было записываться, если так поступать.

— А что делать? Не запишешься, так ничего в кооперации не дадут и все равно отнимут все.

— Болтают, черт знает что... Если записались, так нечего прятать!

— Все прячут! Никто всего не отдаст, нет дураков таких!

Галина не двинулась. Муж взял мешок и с трудом один втянул его на снопы, а там забросал сеном и заложил сверху снопами. Галина полезла за сеном для овец. Когда сбрасывала сено, увидел муж ее обнаженные, выше чулок ноги, и почему-то вспомнил ее беседы с Панасом на собраниях. Перелез со снопов на сено, подошел к ней. Она, раскрасневшаяся от работы, молодая и здоровая, будила кровь. Муж взял ее за плечи, обнял и колючей щекой своей начал водить по лицу, искал губы, чтоб поцеловать. Галина сперва удивилась, потом встретилась с его взглядом, полным страсти, и, испугавшись, легко оттолкнула его.

— Ты чего толкаешься?

— А чего ты лезешь? Мало ночи, что ли?

Тогда он схватил ее опять и, сжимая в объятиях, стал сгибать ее тело, чтобы повалить на сено. Галина теперь уже со злостью сильно толкнула его и вырвалась.

— Отойди! Чего ты?..

Соскочила на ток, стала подбирать в подстилку сброшенное на ток сено.

Муж, разгоряченный и злой, стоял на сене.

— Знаю, почему ты так,— сказал он.— Комиссарского не попробовала ли?

Грязные и злые слова мужа обидели ее. Галина подняла голову, глянула на него и зло, с обидою в голосе, спросила:

— Ты что ж это выдумал?

Муж отвел глаза в сторону и, слезая с сена, ответил:

— А на собраниях как ты с ним? Думаешь, не понимаю? Если поймаю, прибью, ногой в хату не ступишь!

Ничего не ответив, Галина взяла сено и ушла.

* * *

Доение коров было поручено специально выделенным для этого восьми женщинам. Одна из них, старшая по возрасту, Гарпина, была назначена ответственной за доение и распределение молока. Но когда вечерком впервые восемь доярок направились в коровники, за ними сразу же пошли, торопясь с кувшинами и доенками, женщины. Они пришли получать молоко и проследить, как будут доиться коровы, не отольет ли молока куда-нибудь тайком доярка. И по этой причине в этот вечер у Клемса с женой опять произошла ссора. Заметив, что с доенкой по улице пошла соседка, она бросила топившуюся печь, отодвинула от горячего угля чугуны и, схватив кожух, начала искать, что бы такое взять с собою.

— Куда ты? — спросил Клемс.

— Молоко ведь любишь жрать, а корову отдал, так вот и надо бежать!..

— Еще ж не подоили?

— Жди, пока подоят, так все покрадут!

— Кто это будет красть, что ты плетешь?

— Сами ж вы посадили таких, и не будешь знать, где поденется! Гарпину нашли старшей посадить...

— А почему нет?

— Тогда будешь знать почему. Она яловку в хлев привела, а кричит, словно троих дойных.

— Так что она их съест? Пускай кричит.

— Тогда ты вот такой кукиш съешь.

— У-у-у, чтоб тебя, луковица ты несчастная!.. Болтает и болтает без конца, и что ей уже надо? Скажу уж, чтоб тебя разве старшей назначили.

Последних его слов жена уже не слышала. Она достала из-под лавки кувшин и не вышла, а выбежала из хаты.

У коровников собралась большая толпа женщин и несколько мужчин. Многие из них стояли в хлеву, наблюдали за работой доярок.

Гарпина, подоив корову, выходила из загородки и, держа в руке ведро, поворачивалась, пристукивала башмаками по мерзлой утоптанной земле и припевала:

Как в садочке голубочки на веточки сели,
Плачет хлопец, девок просит, чтобы свадьбу спели...

И, важно повернувшись на месте, она еще раз пела те же слова и, согнувшись, лезла под жердь в загородку к другой корове.

Мужчины смеялись, шутили.

— Гарпина в колхозе у нас спектакли давать будет.

— Мы работать, а она, чтоб веселей было, будет петь и танцевать.

И просили Гарпину спеть еще. Гарпина просила подождать, пока подоит корову, а, подоив, опять с приплясом шла к следующей корове и пела:

Девкам хохот, девкам смех:
В холостяцкой хате
Угости скорей горелкой,
Чтоб могли гуляти...

Когда закончили доить и вынесли последнее молоко на доски, лежащие у коровника, женщины столпились возле ведер с молоком и заговорили, закричали, перебивая друг друга. Одна кричала, что не всех коров подоили, что это по молоку видно, что, если бы подоить всех как следует, можно было бы залиться молоком. За ней другие кричали, что дояркам все равно, подоена корова или нет, что они своих только хорошо доят.

А возле досок Гарпина медной кружкой черпала молоко из ведер и переливала его в доенки и кувшины. Получив молоко, некоторые женщины шли домой. Некоторые опять лезли в толпу и, обиженные, что не они, а Гарпина раздает молоко, начинали кричать, что кое-кто привел три штуки, а кое-кто ни одной, что нет правды, потому что тот, кто не привел ни одной, и ест и пьет больше того, кто привел трех коров. Другие в ответ первым начали с еще большей злостью кричать, что мину-

лось богатым богатое и что пришла бедняцкая пора. Еще кто-то кричал, что по ночам некто доит коров и ест и масло, и молочко, что некто крадет из закромов обобществленное зерно, и тогда нечем будет весною сеять поле.

Крики эти и говор умолкали в сумерках. Доярки уносили в общую клеть молоко, оставшееся после раздачи. За ними уходили на улицу женщины и разбредались по своим дворам.

А когда потемнело и в хатах начали гасить огни, из-под плетня, что возле коровника, поднялись две женские фигуры. Они перемахнули через плетень и притаились у густого рябинового куста.

Вокруг было тихо. Легкий ветер прилетел с околицы, гнал перед собою мелкие сухие снежинки, застревал в кустах и тихо, и жалобно свистел.

Тогда с другой стороны, из-за копны соломы, вышли еще две фигуры. Они остановились, постояли минуту и подошли к стене коровника, а затем исчезли, неразличимые на темном фоне стен.

Долго стояли так те, пришедшие раньше, прислушивались, скрипнут ли ворота в коровник, и приготовились бежать к хлеву с палками и бить тех, кто полезет в коровник. Но ничто не нарушало покоя ночи. Все так же прилетал с околицы легкий ветер и так же жалобно свистел, застревая в кустах рябинника. Было поздно. Во дворах запели первые петухи. Тогда из-под стены вышли черные в темноте ночи фигуры и пропали за стогом, пошли на улицу. А вслед за ними, торопясь, чтобы немного согреться, пошли домой и те, что стояли под рябиновым кустом.

* * *

До пасхи оставалось всего четыре дня.

Последнюю ночь Клемс никак не мог уснуть. Он вспоминал собрание, когда едва не перекрестился перед тем, как подписать протокол, и что-то решал. А утром снял иконы с угла и положил их в печь. Когда желтые языки пламени забегали по краскам ликов божьей матери и Ильи-пророка и бумага на огне сморщилась и скривила лики святых, он взял сковородник и слегка приподнял их над пламенем, чтобы быстрее сгорели. Бумага сгорела

быстро. Остался черный неразбросанный пепел и пылающие сухие рамы. Тогда он забросил рамы за дрова, чтобы горели не на глазах, растер пепел, оставшийся от бумаги, и, всунув голову в печь, дунул на него. Черные куски сгоревшей бумаги поднялись, рассыпались на пылающих дровах и в пламени совсем пропали.

— Раз в колхозе, так какие тут иконы. Одного чего-нибудь надо держаться,— сказал он тихо, словно сам себе.

Жена молча толкла в ступе семя. Потом начала замешивать свиньям тесто и сердито звенела чугунами и кружкой о ведро.

После завтрака Клемсиха с внуком пошла на ток набрать мякины. Внук Семка, десятилетний белесый мальчик, стоя на коленях, наталкивал в мешок мякину. Время от времени он поднимал руку и запыленным рукавом свитки подтирал нос. Клемсиха тем временем насыпала свой мешок и наблюдала за внуком.

— Испачкался ты весь. Не вытирай нос рукавом — болеть будет.

Семка посмотрел на нее, улыбнулся и провел еще раз своим рукавом под носом. Старухе захотелось поговорить с ним.

— Вон, Семочка, в колхозе уже и богу не дают помолиться, иконы поснимали и пожгли... без бога уже жить будем...

Семка поставил мешок на ток, потряс его и нажал сверху всем телом. А, согнувшись, лежа на мешке, неожиданно для старухи выпалил:

— А на кой черт иконы, скоро то же самое с церковью будет,— и захохотал. Клемсиха, как стояла, согнувшись над мякиной, побелела, схватила горсть мякины и зло изо всей силы бросила ее в Семку. Но мякина рассыпалась, а Семка захохотал еще громче. Клемсиха начала ругать его.

— Ах ты нечестивец, злодей, балбес здоровенный, чтоб тебя... Я тебе покажу, я тебе!..

У нее не хватило слов. Губы ее дрожали. Глаза искали, чем бы ударить Семку. А он угадал намерение бабы, схватил мешок и убежал с тока. Тогда Клемсиха вышла вслед за ним за ворота и остановилась, прислонившись к стене.

Недалеко от гумна, на холме, стоит серая высокая церковь. Три раза в год священник справляет службу: на

Николу осеннего, на троицу да еще на Петра и Павла — и еще случается, что кто-нибудь умрет.

Возле церкви на кладбище березки, а над ними белый в снегу купол и крест серый в белой снежной шапке.

Клемсиха уже который раз осторожно, чтобы никто не видел, выходит за ток и торопливо молится на церковь.

Когда Семка с мякиной скрылся за сараем на дворе, она зашла на ток, закрутила хохол своего мешка, поставила у ворот и вышла на снег.

Перед глазами ее до самой церковки заснеженное белое поле, чистое, словно льняной выбеленной скатертью застланное. Над полем кружатся и падают медленно на заснеженную мягкую постель белые птички-снежинки. Летят и падают они беспрерывно.

Клемсиха смотрит на церковь, а снежинки мелькают перед глазами, растягиваются в тонкие белые нити, и из них сплетается большущий занавес. Занавес этот скрывает церковь. Крест и купол, и вся церковь, словно в тумане, дрожат тихонько.

Клемсиха складывает три холодных пальца, подтыкает ими волосы под платок, чтобы не мешали глазам, крестится и шепчет:

— Боже ты мой, батюшка милостивый! Уже иконы твои святые снимают, уж и мой глупый старик сжег иконы. Я не за себя, боже, а за него, глупого, молюсь... Иконы пожгли, до тебя, боже, добрались, не уважают и твоего святого имени, воскресенья Сусового не дождались... боже...

Шепчет и крестится. А снежинки, словно нарочито, суетятся все быстрее, и все от этого дрожит, все вокруг закрыто белым густым занавесом.

У Клемсихи дрожат веки, падает снег на них, и на глаза наплывает слезливая муть. Ей показалось, что дрожит, шатается на церкви крест. Она перестала молиться и вглядывается, но думает, что это потому, что плохо видит уже. Она протирает глаза, смахивает с век снежинки и хочет поднести еще раз руку ко лбу, но рука остановилась у губ, растопырились сами пальцы, как-то сам разинулся рот. Крест на церкви качнулся в одну, в другую сторону несколько раз и медленно, наклонившись, словно собираясь взлететь, упал на купол, зазвенел по жестяной крыше и упал, переворачиваясь, в снег. А вместо креста высунулась из купола жердочка, и ветер раз-

мотал на ней и начал играть вверху над церковью куском красного полотнища. Жердочка качнулась несколько раз над куполом и затем прочно стала на месте, которое прежде занимал крест.

У Клемсихи опустилась рука. Позабыв про мякину и про то, что не заперла ворота на току, она еще раз глянула на церковь и почти бегом бросилась во двор.

Из-за плеча видела: трепетал среди снежинок над церковью кусок красного полотнища. Торопилась, ноги скользили по узкой гладкой тропинке, проваливались в глубокий мягкий снег по сторонам. Снег набирался в ботинки. Она подобрала рукою юбку и, ступая одной ногой по тропинке, другой в снег, оглядываясь на церковь, пошла домой.

На дворе, у колодца, Клемс поил овец. Когда жена, взволнованная, с испугом на лице, остановилась напротив колодца, он выпустил из рук ведро, шагнул вперед и хотел спросить, что с ней такое. Но она вспомнила сожженные иконы, о чем-то догадалась и, слегка наклонившись в сторону Клемса, зло плюнула ему под ноги и пошла в хату.

Сильно стукнула за ней дверь. Звякнула и весело зазвенела новая щеколда.

XI

Холодный ветер надувает повешенный от клуба через всю улицу плакат, хлопает его полотнищем. На плакате, на красном полотнище, огромными белыми буквами написаны слова:

Пролетарий, помни!
Сражение за пятилетку —
сражение за коммунизм!

А рядом, у стены клуба, большой разрисованный плакат об утильсырье. Ветер пролезает между каменной стеной и фанерным плакатом и стучит плакатом по камню. На красное полотно плаката льется свет из клубных окон. В клубе собрание. За освещенным столом президиум, и в стороне, у стола, наклонившись, говорит Сидор:

— Нам дали,— говорит он,— всего три места, учитывая, что этот штат нам самим, заводу, очень необходим. Так вот этих трех человек нам и надо выделить, и таких выделить, чтобы сделали, что требуется от них. В дерев-

не теперь работы очень много. Крестьянство осознало, что из неверия можно выйти только сообща, общими усилиями. Крестьянство организовывает колхозы, начинает новую жизнь, совсем непохожую на ту, которую жило веками. А вот как начать такую жизнь? Как ее строить? Этого толком не знают. Партия ведет разъяснительную и организационную работу, но ведет свою работу и кулачество, которое делает все для того, чтобы колхозы развалить. Молодым колхозам нужна помощь от рабочих. Дело в том, что близок весенний сев, а надо, чтобы он, как говорит партия, прошел по-большевистски. К севу, значит, надо готовиться и готовиться хорошо. Для этого рабочие из города посылают в колхозы свои бригады, чтобы пособить там и в организационном деле ремонта инвентаря. Но ремонт этот — не просто ремонт. Ремонтировать сейчас в колхозе плуг или борону — это значит укреплять колхоз, это значит бить кулачество, бить всех наших врагов. Так вот, исходя из этих задач, пошлем и мы свою бригаду. Потому и надо послать лучших рабочих. Вот и все мое слово...

Сидор замолчал. А председатель собрания спросил:

— Кого же посылать будем, товарищи, предлагайте.

— Тихона! — крикнули из зала.

— Ицку!

— Клима Чурилова!

— Митрофана Комяча! Он хороший работник.

— Климовича!

Председатель записывал фамилии, названные в зале. Кто-то обратился к президиуму:

— Нельзя всех самых лучших посылать, со станками некому будет управляться.

Председатель собрания ответил ему:

— Всех не пошлем, будет кому и со станками управляться, а там нужны лучшие, потому что надо иметь дело с людьми, с живыми, а не только ковать.

Когда собрание решило послать Чурилова, Тихона и Ицку бригадой в Терешкин Брод, слово попросил старый рабочий Комяч.

— Я им хочу слово сказать,— начал он свое выступление,— чтобы они, как наши представители от всех рабочих и от партии, не подкачали, не испугались. Чтобы они, конечно, и агитировали словом, но чтобы больше агитировали трудом своим, чтобы после работы их и плуг был,

как следует, и чтобы колхоз был крепкий. Поел или нет, поспал или нет, но работа чтобы была по-большевистски.

За его словами по залу, начиная с передних рядов, прокатились аплодисменты. В это время с задних рядов поднялись женщины, вышли вперед, и одна подошла к самому президиуму собрания. Аплодисменты смолкли. Женщина попросила у председателя слова и, как стояла на сцене, начала взволнованно разворачивать небольшой бумажный сверток.

— У нас в деревне,— заговорила женщина,— происходит сейчас революция. Она не может быть без машины, без трактора. Мы посылаем на помощь деревне своих лучших рабочих, но этого мало. Есть и еще у нас одна возможность помочь. Вон у нас возле клуба плакат об утильсырье. Утиля у нас много у каждого. И не только от одежды старой или от обуви, но и от минувшей жизни много утиля у нас. Вот я и принесла этот утиль.— Она держала, показывая в руке, что-то маленькое, сверкающее, что нельзя было узнать сразу.— Это мой золотой крестик, что на шее носила я в молодости...

Слова ее потонули в бурной волне аплодисментов и опять выплыли из них тихие отчетливые.

— ...Молилась, как дура, а боги не помогали. Помогла мне теперь революция, так и я хочу божеским помочь ей...

И опять прорвались и поплыли аплодисменты. Женщина продолжала:

— ...А еще кольца золотые, мое и человека моего, которыми венчались мы. Этим утилем я хочу пособить революции, чтобы она быстрей шла в деревню белорусскую тракторами и машинами.

Женщина положила крестик и кольца на стол перед президиумом, покраснела от волнения и торопливо сошла вниз в зал. Зал проводил ее продолжительными шумными аплодисментами. А к сцене подошли толпой женщины, разворачивали разных размеров свертки и ложили на стол перед президиумом собрания золотые и серебряные вещи. На столе появились, кроме крестика и колец, серебряные и золотые серьги, браслеты, еще кольца и кресты, серебряные подсвечники, двое золотых часов. Росла, увеличивалась на столе горка вещей золотых и серебряных. Переливался в них блеском искорок свет ламп, а зала шумела, кричала звучными аплодисментами, и из

аплодисментов, из самой гущи, прорвались звуки гимна и подняли с мест людей, заполнили собою залу и поглотили аплодисменты...

Это есть наш последний
И решительный бой...

Крепли, вырывались и плыли через освещенные окна в вечернюю тихую улицу слова гимна. В зале стояли люди. Одновременно поднималась и опускалась у них в этот момент грудь, вместе, одним звуком всех грудей, вырывались простые, но полные могучей силы слова и звучали твердо, уверенно.

Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем...

На улице ветер хлопал полотнищем плаката, еще крепче надувал его, разглаживал, чтобы легче было читать то, что выведено на полотнище большими белыми буквами.

XII

За дверью сразу затопало несколько человек, стрясая с ног весеннюю липкую грязь. Панас прислушался и поднялся из-за стола, чтобы открыть дверь и посмотреть, кто пришел. Предполагал, что пришли крестьяне. Но не успел двинуться, как дверь в комнату открылась и вслед за Камекой вошли Тихон, Ицка и Клим. Клим, улыбаясь, остановился у порога, глянул на свои испачканные в грязь сапоги и пошел к Панасу здороваться.

— Мы работу в Цингалях закончили,— сказал он.— Провели напоследок и еще одно собрание. Если там поработать еще немного, колхоз будет. Там хорошие хлопцы есть, да вот все чего-то боятся. По-моему, когда выедет Терешкин Брод в поле, они придут в колхоз. Хорошие там хлопцы есть, толковые.

— Добро, если так,— ответил Панас.— Я схожу туда. А теперь, значит, в Терешкин Брод?

— Мы только что оттуда,— вмешался в разговор Камека.— Никто не хочет взять к себе товарищей на квартиру,— сказал он.— У всех стало вдруг тесно, негде спать. Мы всю деревню обошли.

— А почему так?

— Не хотят. Промеж себя говорят, что им не нужна бригада. Боятся, что как дадут ремонтировать рабочим, так не расплатятся потом.

— А им объяснили, что это помощь от рабочих, без денег?

— Объяснили, а они не верят.

— Нам бы только начать,— сказал Клим,— а потом понесли бы. Да вот зацепиться не за что, остановиться негде на ночь. А нам много не надо, лишь бы переспать и перекусить. А раз тут слабое место, надо обязательно этого добиться и ремонт сделать.

— Надо остановиться вам пока что у Клемса,— посоветовал Панас,— а потом начнете работу, и все наладится...

Так и решили. А после полудня кузнецы вернулись в Терешкин Брод. Вещи они свои оставили в хате Клемса, а инструмент понесли в кузницу, чтобы подготовиться к работе.

Когда открыли низкую косую дверь тесной кузницы и Клим веником начал выметать мусор, возле кузницы стали собираться мужчины. Они подходили, здоровались и стояли, покуривая. Беседовали о том, о сем, но не касались кузницы. Но когда стало неловко уклоняться от разговора о главном, о том, что сейчас все думали, один из мужчин сказал, обращаясь к Климу:

— Давно уж не ковали в нашей кузнице, и она нам так что и не нужна была...

— Как это не нужна? — удивленно спросил Клим.

— А так что и не нужна, потому что если было что делать, ехали в местечко, кузнецы и там гуляли...

— Да и железа нету, если бы что и хотел сделать,— заметил другой мужчина.

— А железа немного мы с собой из района привезли, а немного найдется и у вас, у каждого, если хорошенько поискать над поветью или в кладовой.

— Где оно найдется, если где и завалялось было, так уже давно отыскали и использовали... нет железа.

— А как же вы пахать, сеять выедете, не отремонтировав инвентарь? Что ж это за работа будет?

— А так, что нечего ремонтировать очень...

— А как за колхозом теперь, так отберем лучшие плуги у кого, бороны, и хватит, сколько уж ее, той ра-

боты? Это, когда один, так каждый себе смотрел, своим делал, а теперь обобществим и все...

— Обобществите вы! У-у, чтоб вас! — вмешался в разговор Клемс.— Говорите только, а как обобществлять, так никого и не увидишь. Не стойте вот, а несите плуги, чтоб работали люди! Ну, ты вот почему не несешь? — обратился он к одному из присутствующих.

— А мне нечего -ремонтировать. Лука сломалась, то я ■ сам сделаю.

— А ты?

— А я так что с осени ремонтировал, а теперь ручки только неисправные на плугу, так я тоже сам сделаю.

— Оно и слишком торопиться пока некуда,— заметил один из присутствующих.— До пахоты еще далеко, еще поле пока просохнет...

— Ага,— вмешался в разговор еще один.— Поле нынче больно уж грязное. Помню, лет пять тому назад была такая весна ранняя и вязкое поле, так пахать поехали что-то недели через две после пасхи. И пасха была не ранняя, и то кони вязли...

— Хи-хи, вязли, говорит,— вмешался еще один.— Теперь и грязищи такой нету, как когда-то. Вот, родители говорят, как на «Дьяково» ездили пахать, вот где вязли.

— Хм, «Дьяково»! Это же трясина живая, болото сплошное. Бывало, как погонит пастух коров, так и знай, что таскать будешь, непременно завязнут...

— Весной не удивительно, что вязнет, весной корова слабая... отощает за зиму и весной едва ноги волочит.

— А вы что ж это, дядьки, про коров разговорились,— перебил разговор Клим,— надо ж решить, что с плугами будет, чтоб нам напрасно не сидеть тут, потому что и в другое место надо.

— Оно, конечно, а что про коров, так это к слову пришлось. Так пускай посмотрят хлопцы, где у кого что неисправно и несут, кому надо. Конечно, так, чтоб людей напрасно не задерживать...

По одному, ссылаясь на то, что пора скот кормить, мужчины разошлись. Но к вечеру над кузницей взвился в морозном воздухе седой редкий дымок, и кузница, давно молчавшая, отозвалась звоном железа, скороговоркой молотков. Ремонтировали плуг Клемса. Опять к кузнице пришло несколько мужчин. Они смотрели на плуг Клемса, на новый сошник, на хорошую работу кузнецов и прики-

дывали, сколько стоит такая работа. Хотелось им, чтоб об этом сказали сами кузнецы. А кузнецы шутили, говорили, что если бы за деньги все это делать, работа стоила бы не меньше пяти рублей. А вечером опять мужчины ушли от кузницы, не обещая, что принесут плуги, пошли, что-то обдумывая.

Назавтра утром в кузницу принесли еще два плуга и собранное их хозяевами железо. Кузница опять ожила, опять отозвалась звоном металла, а перед полуднем опять замолчала и опять кузнецы тосковали без работы.

— Может, еще собрание созвать? — спросил Клемса Клим,— не то вся работа сорвется...

— То же и на собрании скажут. Как медведи. У-у, чтоб их!.. Надо эти плуги отдать, может, тогда принесут.

И действительно, через некоторое время после того, как из кузницы унесли мужчины свои отремонтированные плуги, колхозники друг за другом понесли на плечах плуги, бороны, неисправные колеса повозок. И вскоре в кузнице не хватало места.

А на третий день, в полдень, к Клемсу пришли два колхозника и, посидев, пока кузнецы обедали, предложили:

— Пойдем разве к нам. Ицка ко мне, а Тихон к нему,— сказал один из мужчин,— а начальник-бригадир у нашего начальника останется или к другому кому-нибудь... Люди работают, так чего ж...

А еще через четыре дня, в воскресенье, деревня праздновала. Крестьяне сошлись у кузницы, курили, беседовали и отговаривали от работы кузнецов:

— Человек не машина, требует отдыха, а вы почему? Оно не то что в воскресенье, так отдыхать. У вас, у городских, оно по-новому, но сегодня вместе с нами и отдохнули бы.

— Мы ночью отдохнем,— ответил Клим,— или когда работы не будет. Отдыхать мы мастера, но ведь и у вас вот надо закончить работу и в другом месте успеть...

— А в другом пускай другие.

— Пускай-то пускай, но других в вашем районе нет. Где свои кузнецы, а где мы должны...

— Ну, а вас как это,— спросил один из крестьян,— казна послала, чтобы мужику помочь, или как?

— Ага, а то ведь,— отозвался другой,— работают

люди, а мы и не знаем, может, заплатить что надо, так собрали бы... сообща, люди ведь столько работали...

Крестьяне насторожились, ждали, что ответят кузнецы. А может, и действительно надо платить? И многие уже прикидывали, сколько выпадет на их долю.

Над кузницей вьется, порхает клубками сизый дым. Возле самой кузницы, у стены, телеграфный столб, и от ветра провод на столбе непрестанно гудит: гу-у-у, гу-у-у, гу-у-у, гу-у-у... Не умолкает. Гул этот словно далекие-далекие гудки. Клим глянул на крестьян, сказал что-то Ицке и вышел из кузницы:

— Вот дядька спрашивает, как мы работаем? Я скажу и про это. А прежде немного правды вам скажу, так вы за нее не серчайте.

— Мы чего ж,— отозвалось несколько голосов,— мы правды не боимся. Правду говори...

— Так вот я и скажу,— начал Клим.— Мы знаем, как вы опасались, что не отдадут вам плуги, когда принесете ремонтировать, опасались и того, что много за работу платить придется. Поэтому никто из вас не хотел в хату пускать, говорили, что не нужна вам бригада. Но это ничего, это прошло. Мы, вот я и товарищи мои, понимаем, что вы не сами это, что вас запугали. Есть такие люди, враги ваши и наши, они против колхозов разные слухи пускают, они стращают крестьянина колхозом, как некогда попы стращали адом... Не надо верить этим людям. Мы не ради наживы к вам приехали. Нас сюда партия и рабочие прислали, чтобы помочь колхозу вашему подготовиться к севу, мы вашу жизнь за это время близко увидели, лучше познакомились с ней. Она нехорошая, надо жизнь другую, новую делать, не такую. Для этого вы объединились в колхоз. А строить новую жизнь будут помогать вам и партия, и власть, и рабочие. Хотите вы или нет,— говорил он, улыбаясь,— а рабочие будут приезжать, как и мы вот, и будут помогать вам, чтобы вы скорее вышли из этой тяжелой темной жизни, чтобы скорее позабыли про нее... А на вас мы не сердимся, мы знаем, что вас слухами разными запугали, что не сами вы это...

Крестьяне стояли молча. Когда Клим закончил, Ашурок Петров тихо сказал:

— Оно правильно, товарищи, что нас пугают, по-всякому пугают...

— А не надо верить всяким слухам,— ответил Клим. Ашурок не сказал больше ничего. А кто-то другой заметил:

— Мы темные, всего мы боимся, сами себя даже боимся иногда.

А еще через два дня кузнецы уехали из Терешкиного Брода.

* * *

Вечером, когда густые сумерки наступившей ночи окутали покоем и тишиной деревню и поле, на хутор к Мышкину пришло двое мужчин. Один из них подошел к окну и три раза стукнул в ставень. Вслед за этим звякнул засов двери, и на двор вышел хозяин.

Втроем они отошли под поветь и сели там на досках.

Все вокруг дышит глубоким покоем. В этом покое глохнут и пропадают все звуки, и тишина от этого кажется настороженной. Из-под повети плывет тихий, мягкий шепот трех голосов. Если бы их услышал кто-нибудь близко, он узнал бы знакомые голоса Мышкина и Горбуля Захара и отличил бы какой-то совсем чужой, которого не слышал ранее, голос. Все трое говорят по очереди.

Горбуль: — Я принес от батюшки евангелие. Старое, небольшое, в самый раз.

Мышкин: — Он ничего тебе не говорил?

Горбуль: — Ничего. Советовал остерегаться после этой бумажки.

Незнакомец: — Никто ничего не подумает, а то, что надо, мы сделаем.

Мышкин: — А с одеждой как?

Незнакомец: — Как раз под нищего.

Мышкин: — Надо сегодня же пойти и проситься к кому-нибудь на ночь. Ночью кое-что сказать.

Незнакомец: — Надо идти в хату, где старики.

Горбуль: — Я покажу, к кому идти.

Мышкин: — Только чтобы, не дай бог, не узнали, что вы нарочито. Надо не очень чтобы говорить, а лучше их расспросить о жизни и намекнуть на одно, на другое. Если спросят откуда, скажете, что из коммуны, и больше не говорите, а если приставать будут, скажете, что боитесь правду говорить, чтоб не посчитали плохим человеком.

Незнакомец: — Я это знаю, ты про это не говори. Я переночую и еще завтра утром пройдусь по хатам, просить буду. А вы утром приходите новости узнать и старайтесь, чтоб никто не пришел на собрание. Это если не выйдет дело с заявлениями.

Горбуль: — Я думаю, что выйдет. Уже некоторые говорили об этом.

Мышкин: — Обязательно говорите, что выселять будут, что выселять будут всех, кто хоть немножко хозяин.

Горбуль: — Евангелие батюшка советовал читать про себя, а им лишь тогда, когда попросят. А чтоб заинтересовались, читать так, чтоб не слышали и не разбирали слов, тихонько, тогда обязательно попросят.

Мышкин: — Как пойдете, я минут через десять буду звонить, словно на похоронах. Это как раз возле церкви. А вы, как услышите звон, сразу стучите в окно, будите, чтоб услышали. Спросите, почему ночью в церкви звонят...

Незнакомец: — Не догадаются, что в рельс это?

Мышкин: — Не бойтесь. Спросонья, да ночью, испугаются. А наши колокола как раз как рельс звонят.

Незнакомец: — Тогда хорошо. Ты только не звони долго, чтобы не проверили, а то побегут к церкви.

Горбуль: — Надо сказать, где будете, что перед войной колокола на звонницах сами, как на похоронах, звонили...

Незнакомец: — Это хорошо, удачно сказано.

Мышкин: — К церкви ночью не побегут, а вот утром надо намекнуть им, чтобы шли проверить, не звонил ли кто нарочно, нет ли свежих следов. Они пойдут, а следов не будет.

Незнакомец: — И это очень удачно. Пора идти.

Мышкин: — Пора. Как поступать — вы сами знаете. О бумажке только чтобы ни-ни-ни! Пускай они вам о ней расскажут.

Незнакомец: — Не бойтесь. Сделаю, что надо. После завтрака или где-то до полудня, я должен исчезнуть, так вы уж не прозевайте момента. Обо мне вы в деревне только узнаете, что был, что говорил, каков сам... идем...

Горбуль с незнакомым пошли через поле в деревню. Мышкин постоял немного на крыльце и вернулся в хату.

Спустя десять минут возле одной из хат стоял высокий человек в лохмотьях. По обе стороны у него висе-

ли, скрещенные на груди и плечах веревки, мешки. Он чего-то ждал. Вслушивался в тишину ночи и не двигался. Прошло еще две минуты. В поле за деревней ударил три раза подряд колокол. Тогда человек торопливо подошел к окну, крепко постучал в раму.

В хате к стеклу прилипло на мгновение чье-то лицо, и мужской голос спросил, кто стучится и что ему надо. Человек ответил, что он нищий и просится ночевать. Объяснил еще, что опоздал немного, потому что очень устал. Ни о чем больше не спрашивая, хозяин открыл дверь в сени и стал на пороге, чтобы рассмотреть нищего. Тот стоял перед крыльцом тонкий, высокий, с полупустыми мешками и дрожал от холода. Крестьянин хотел было шагнуть с порога и впустить в сени нищего, как услышал похоронный звон из церкви. Он встревоженно прислушался и тихим испуганным голосом обратился к нищему:

— Как будто в церкви звонят, как на похоронах...

— Может, кто умер у вас? — спросил нищий.

— Никто не умер, да и церковь закрыта. Не служат уже в ней...

Нищий снял шапку и начал торопливо креститься.

— Перед войной сами колокола похороны звонили,— сказал он,— не дай того, боже, опять, смилуйся, боже...

Колокол еще несколько раз позвонил и умолк. Наступила тишина. Нищий от холода и от перепуга, что ночью звонят колокола, задрожал еще пуще, застучал, словно от холода, зубами. Его испуг передался сразу хозяину. Глядя на нищего, он вздрогнул и перекрестился.

— Идем, братец, в хату, ты замерз очень, дрожишь.

— Замерз и напугался, когда ты сказал, что церковь закрыта, а в ней ночью звонят...

Тяжело вздыхая, все еще дрожа и стуча зубами, вошел нищий в сени и переступил порог небольшой освещенной хаты. С лавки и с полатей на него смотрели, удивленные его поздним появлением, дети. Крестьянин запер сени и торопливо вошел в хату.

В хате долго горела лампа. Еще долго не спали.

* * *

Соседка наклонилась, подняла на уровень лица руку и незаметно, кивая рукой, подозвала к колодцу жену Петра. У колодца стояли толпой женщины и, наклонив головы, о чем-то беседовали.

— Поди, послушай, что бают вон,— зашептала соседка Петрихе,— страх какой...

Петриха остановилась. А женщина, что была в центре, поправила съехавший на глаза платок, взяла за рукав кожуха Петриху и, привлекая ее ближе, заговорила:

— Сам он высокий, худой, стоит в пороге, крестится и просит во имя Христа ломтик хлеба, а потом молится по евангелии. Не молитвами, как мы, а по евангелии... Зашла, это, ко мне она,— женщина показала на соседку,— я и спрашиваю, не на погорелое ли он собирает, потому что и не слепой, и не калека, и не старый еще человек. Так он, голубки мои, пусть вот она скажет,— женщина опять показала на соседку, а та закачала в знак согласия головой,— закивал, что нет, вздохнул этак тяжело и говорит, что он из коммуны, что в соседнем районе. Было их аж тридцать две семьи в коммуне, шесть лет жили коммуной да горевали, бились, как рыба об лед, а теперь все пошли по миру.

— А у нас он ночевал,— сказала соседка.— Ужинали мы, как слышим, кто-то стучит в окно. Поглядел Сымон, человек стоит под окном, нищий. Он, это, и говорит. Я говорю пусти, пусть переночует, мы от этого не обеднеем, или лавку он откусит, что переспит. Вышел Сымон на крыльцо, а человек стоит и дрожит, аж зубы у него стучат. И слышит Сымон, что в церкви колокола звонят, как на похоронах. А нищий крестится и спрашивает, может, кто умер, говорит, или что? Долго колокола звонили, Сымон перепугался, аж побелел, как пришел в хату...

Как звонили колокола, слышали многие. Слышал и Клемс. И утром после завтрака он пошел к Ашурке Петру, чтобы посоветоваться, что делать. Когда Клемс сказал, что надо осмотреть церковь, кто там лазал ночью, Петриха попыталась было рассказать ему о нищем, но почему-то сдержалась. Петро надел армяк и пошел с Клемсом по улице, чтобы позвать мужчин и осмотреть церковь.

В хате, куда зашли Клемс с Ашуркой, сидели у стола мужчины и о чем-то советовались. Как только Клемс вошел, они смолкли, встали с лавок и хотели расходиться.

— Надо, хлопцы, возле церкви посмотреть,— предложил Клемс,— кто там ночью балует, потому что бабы вон пустили по селу — конец свету, дескать, пришел. А мы ведь не дети, сказки нам нечего рассказывать. Вот по-

смотрим и на собрании скажем все об этом... Мужчины молчали, что-то утаивая, и неохотно соглашались пойти к церкви.

— А чего ходить,— высказал мнение один из мужчин.— Может, ветер подул, вот колокол и брякнул несколько раз.

— Где ж оно, ветер,— заперечил другой,— когда звонило, как на похоронах, и долго. Ветер так не звонит. Я, это, стоял, пока не перестало...

— Кто же мог нарочито пойти звонить, что ты, сосед?

— Я не говорю, что кто-то пошел, но не мог так ветер...

Толпой обошли вокруг церковной ограды, посмотрели, есть ли где следы человеческие. На непросохшей земле весенней следы были бы видны отчетливо, и если бы кто-нибудь перелезал ограду, следы остались бы по обе стороны ее. Но следов никаких не нашли. Осмотрели внимательно землю у ворот и тропку, ведущую к церковному крыльцу. Не было следов и здесь.

Удивленные, молчаливые, мужчины стояли у церкви, смотрели на звонницу. Со звонницы свисала, покачиваясь, перевязанная узлами, веревка. С земли руками ее достать нельзя. Значит, надо было лезть на звонницу, но церковная дверь была заперта на тяжелый засов. На двери висел громадный тяжелый замок, ключ от которого хранился у сторожа. Не было следов и у крыльца.

Мужчины от церкви ушли молчаливыми и сразу разошлись по хатам. Пошел молчаливый и злой Клемс. Пошел, думая о том, что случилось. Он не знал еще, что надумали мужчины, но догадывался, что они что-то утаивают от него, что-то не хотят ему говорить.

А по деревне, вслед за слухом о колоколах, пошел другой о том, что искали мужчины следов у церкви и никаких следов не нашли. И тогда сразу и колокола, и нищий с евангелием, и бумажка, наклеенная на днях у колодца, и колхозная жизнь смешались в представлении многих в одно, а с этого началось самое главное, что случилось в этот день в Терешкином Броду.

Коров доить вышло всего три женщины. Остальные явились без доенок. А за ними пришли к коровникам почти все жители деревни. Когда ворота коровников раскрылись, женщины толпой бросились к загородкам, где стояли их коровы, торопливо разметали жерди, и с

бранью, с криком выгнали коров на двор. Там к женщинам присоединились мужчины.

Люди гонялись за перепуганными коровами, били их, удивленных, палками и гнали на улицу. А с улицы бежали к коровникам те, кто опоздал, кто узнал о случившемся позже. Коровы, привыкшие к стаду, бежали в сторону ручья, где их поили, и когда им преграждали путь, они крутили головами и опять удирали в коровники на свои места. Усталые женщины бежали за ними со слезами, спотыкались, падали, проклиная и коров, и того, кто надумал колхоз, и опять выгоняли коров на двор.

Хлева опустели и стояли молчаливые с широко раскрытыми воротами. Ждали. Казалось, скоро опять возвратятся коровы, и настывшие стены согреются теплом их глубокого дыхания.

Разлученные коровы неохотно шли, мыча, по улице и дворам.

Испуганный случившимся, Клемс сначала уговаривал мужчин загнать коров обратно, потом начал угрожать им законом, карающим самоуправство. Мужчины не слушали, бранились и расходились по хатам. Тогда Клемс решил идти в сельсовет к Камеке.

* * *

Уже смеркалось, но сходка собиралась медленно.

Перед сходкой Панас позвал в сторону от крыльца Галину и долго с ней беседовал, стоя посреди двора. Ему хотелось кое-что подробнее узнать еще до собрания. Хотелось ему сделать это еще и по той причине, что крестьяне, приходившие на собрание, держали себя так, словно в деревне ничего особенного не случилось, и в то же время каждый из них почему-то боялся встречи и разговора с Панасом, и всячески уклонялся от этого. Панас был удивлен.

После беседы с Галиной он, может быть, в сотый раз обдумывал смысл заявлений об исключении из колхозов. Все эти заявления, написанные на разных клочках бумаги и разными руками, говорили о том, что авторы их чего-то боятся и чего-то не знают. Потому в хате, перед началом сходки, Панас еще раз пересмотрел заявления и отложил наиболее характерные из них отдельно.

Несмотря на позднее время, сходка все еще не открывалась. Многих в хате не было. А те, что пришли раньше, не желали ждать и требовали начинать собрание.

Панас понимал, что сходка будет бурной и что переносить ее ни в коем случае нельзя. Потому он сразу, как только в хате наступила относительная тишина, посоветовал Клемсу объявить собрание открытым и сам взял слово.

— Сегодня нам бы с вами,— начал он,— решать уже хозяйственные вопросы, потому что скоро весна, но приходится заниматься другим, причинами, из-за которых распался колхоз.

Несколько голосов перебило его и предложило:

— Хватит уже говорить про колхозы, товарищи, может, о чем-нибудь новеньком поговорим?

— О новеньком в другой раз,— ответил Панас,— а сегодня давайте со старым разберемся.

— Давай и так,— согласились в зале. Панас продолжал.

— Некоторым кажется, что вот не пожелали они быть в колхозе, подали заявления об исключении, и все, а оно не так...

— А как же, как? — закричали из зала.

— Не так,— продолжал Панас,— не поверю я этому. Чья-то хитрая очень рука водила вашими руками, когда вы писали свои заявления...

— Свои головы имеем, никто нам не писал!..

— Может, и не писал, так показывал, диктовал и, может, не так, чтобы прийти, стать за плечами и говорить, что писать. Нет. Делали иначе. Вас просто пугали жизнью колхозной, слухи о ней распускали разные, и вы поверили...

— А как же не поверить? Разве неправда?

— Что разве неправда? — спросил Панас.

— А то, что написали в заявлениях.

— Заявления свидетельствуют о том, что многого вы о жизни колхозной не знаете, а еще больше о том, что вас напугали. Я вот перечитаю некоторые заявления. Вот хотя бы это:

«Так как я еще жизни колхозной не знаю, так прошу и мою семью, жену и детей, из колхоза исключить, как несогласных на колхозную жизнь. Поживем, может, тогда и вступим».

— Это Сватовский пишет, таких заявлений много. Вот другое:

«Как я и моя жена, и дети больные, и не работники в колхозе, так просим исключить».

— Это Обухович... На себя он работал, а как в колхоз, и сам, и жена, и дети больные уже...

— А разве здоровые?

— Может, и больные, я не спорю, но нигде ж не сказано, что больной не должен быть в колхозе, для того, у кого здоровье слабое, будет более легкая работа... Но об этом потом. Вот заявление тетки Урбан. Она пишет:

«Прошу исключить из колхоза, как я все время читаю газетки, а в них написано, что в колхозе религия не удержится, и это уже по нашей церкви видно, а я с этим не согласна, я хочу быть свободной и верить богу, и молиться».

— Как будто в колхозе кто-то не позволял бы тетке молиться. А, например, Адам Станкевич совсем о другом пишет.

«Прошу исключить меня из членов колхоза, так как я не имею понятия о колхозной жизни и не хочу быть под неволей, а желаю пожить на свободе, как за нее шесть лет боролся, а семья моя все терпела, а теперь дожилась свободы, а нам не хотят дать ни земли, ни коров — ничего».

— Станкевичу кто-то сказал, что в колхозе у него все отнимут.

— Никто мне не говорил...

— Если никто не говорил, так почему же ты, дядька, так думаешь?

Крестьянин не ответил. Панас продолжал:

— Интересное заявление и Шаболтаса:

«Прошу исключить из колхоза, потому я не по своей воле пошел, а меня загнали. Когда я спрашивал, что будет, если не пойду, мне Камека сказал, что кто не пойдет, тот, как плетень, будет сброшен с дороги, а теперь, как газетка пишет, что нет насилия, вот я и выписываюсь».

— Этот человек правду написал, что не хочет, а ему не объяснили хорошенько, не ответили на все его вопросы, и этим самым, действительно, могли, как он пишет, загнать в колхоз.

— Так и загнали ж...

— Никто вас не гнал. В колхозе не нужны те, кого загоняют, а те, кто сам идет, а мы не загоняли, а разъясняли вам, что в колхозе жить лучше будет...

— А церковь зачем отнимали? — выкрикнула женщина.

— Сами ж вы постановили забрать ее.

— Са-а-ми?

Потом поднялась с лавки женщина и, махая руками, заговорила:

— Ну, какая ж это жизнь? Отдай все свое, а как же сам тогда? Никто нигде не видел такой жизни, так как же он, который пойдет на такое...

Панас хочет перевести собрание в спокойное русло.

— Давайте по одному говорить будем, а не кричать. Вот, может, дядька что скажет, а потом другой...

— Я решил дома ничего не говорить и не буду,— ответил крестьянин.

— Так, может, вопросы будут? — вставил Камека.

— Моя голова уже не варит, какие я вам вопросы дам?

— Как сказали нам, что сметаны не дадут, вот и напугало нас это.

— А мы все больные, слабые. Сами еще своей семьей кое-как живем, а там кто нам поможет.

Не говорят — кричат. Каждому хочется сказать только свое, и, чтобы его услышали, он кричит, заглушая других. На собрании давно уже никто не сидит. Все поднялись с мест, все столпились впереди, ближе к столу, чтобы самим было слышно и чтобы услышали, когда скажешь сам. Панас понимает, что надо дать высказаться всем желающим, и он спокойно слушает, кое-что записывает на бумажку. В душе у него нарастает желание сказать им, и как можно быстрее о том, что говорят они, только поиному, так, чтобы достать до сердца и чтобы они сами сказали всю правду, обо всем.

Когда умолкли крики и на какую-то минуту в хате стало тихо, Панас заговорил.

— Не мы вам плохого желаем, а враги ваши и наши. Это они вас запугали, это дружки их вас научили, они вас отлучают от вашей лучшей доли. Я верю, что колхоз в Терешкином Броду будет жить и будет образцом того, как строить лучшую жизнь. Этот колхоз создадут те, кто не побоится вражеской лжи, кто не послушается кулаче-

ства. Не говорите, что вас не пугали! Я не поверю этому! Но мы хотим, чтобы вы нам сказали правду, открытую правду обо всем...

Возле печи стояла Галина и Палашка. Палашка смотрит на Панаса и волнуется, порывается что-то сказать и не решается. Галина шепчет ей что-то, толкает ее локтем под бок, чтоб говорила. И когда Панас произнес последнее слово, Палашка махнула рукой, словно что-то сбросила с себя, и пошла к столу, расталкивая женщин.

— Пугали нас! — крикнула она,— всех пугали, а мы верим вам, товарищ, да боимся...

И как только заговорила Палашка, по сторонам закричали, зашумели, застучали ногами, чтобы помешать ей. Кто-то в углу завыл по-волчьи, кто-то засвистел. Панас наблюдал за собранием. Он понимал, что слова Палашки будут решающими, и голосом, которым еще никогда не говорил здесь, в деревне, он крикнул:

— Правды испугались? Чтоб заглушить ее, по-волчьи воете? Этим не возьмете! За этим не пойдет собрание!

И собрание сразу притихло. В хате наступило полное молчание. Тогда опять заговорила Палашка:

— Я правду открытую, о которой просил ты, товарищ, скажу. Они нас коммуной стращали, что все там босые, что вши там по стенам ползают, что все голодные. Мы верили им. А поехала я туда с делегацией, посмотрела, так ли оно? Нет, не так! Хозяйство там, никогда никто у нас не жил так. Чистота там, дети в чулочках, в валеночках, все накормленные, досмотренные. А как сказала я по приезде об этом на улице при Мышкине, так он толкнул меня под бок и давай,— так твою и растак, не говори, приказывает, правды, а говори, что видела, как вши по стенам ползают, что видела, как с мякиной хлеб едят, что ничего нет у них... А не будешь так говорить, так пропустим тебя, говорит, в газетку... А я хочу быть в колхозе, я ночи плакала через их из-за этого.

Пока говорила Палашка, к столу подошла Галина, отбросила платок со лба.

— И я хочу сказать! Хочу и я об этом. Палашка правильно говорит! Они ходят, пугают, угрожают! И хоть муж мой и отец выписались, а я хочу в колхоз и другим говорю — в колхозе наше бабское счастье!

Тогда из угла по собранию хлестнули грязные обидные слова в адрес Галины.

— Шлюха ты! Мужниного мало, колхозного захотела!..

На мгновение замолчала Галина, подняла ко лбу руку, подержала ее так. Обида и слезы, подкатившие под горло, не давали говорить, но она проглотила сжатую в комочек обиду и, внешне спокойная, тихим голосом ответила:

— Пошляки вы. Плетите, болтайте, потому что нет у вас чем, так хоть этим пробуйте... Не боюсь я вас. Буду в колхозе...

За Галиной подошло несколько человек к столу.

— И мое заявление порви,— сказал один,— я хочу в колхоз.

— И мое...

Тогда опять сзади из углов заорали не своими голосами люди, завыли по-волчьи, пошли толпой с шумом и криком из хаты, чтобы как можно больше людей за собой повести.

Через минуту в хате остались только Клемс, Палашка, Галина, Петро Ашурка и еще девять человек. Они столпились у стола и молча стояли, поглядывая на дверь, куда только что ушло сто с лишним человек. Панас стоял неподвижно и тоже смотрел на дверь. В просторной хате стало сразу тихо и свободно, и это показалось странным. Петро Ашурка оглянулся на пустые лавки, на положенные поперек хаты доски, на заплеванный окурками и мусором пол, ощутил эту наступившую сразу пустоту и просторность и, словно про себя, сказал:

— Совсем мало нас, они нас убьют теперь, затукают...

Эти слова Ашурки пробудили у каждого сознание того, что только они вот, эти, которые в хате теперь, колхозники, а все остальные хозяева, сто с лишним, не в колхозе, и что из-за этого будет трудно строить колхоз. И слова Ашуркины всех немного смутили. А за Ашуркой заговорил Клемс:

— А по-моему,— сказал он,— так даже лучше. Мало, но все такие, кто сердцем за это стоит. Лишь бы дружба была.

— И я об этом говорю, о дружбе, а без нее затукают и разгонят нас они,— опять сказал Ашурка.

Тринадцать человек плотно сидели вокруг стола и тихими голосами советовались, что делать. Теперь все они, каждый в отдельности, чувствовали себя среди всех ста

тридцати семи хозяев Терешкиного Брода одной семьей. И каждый понимал, что в отрыве от этой семьи он беспомощен, и если отойдет от них, неминуемо очутится среди тех, кто сегодня оставил колхоз и собрание.

Во дворе под окнами слонялись люди и, заглядывая осторожно в хату, тихонько шептались между собой. Была поздняя ночь.

XIII

На двери сельсовета и кооперативного магазина было наклеено написанное чернилами объявление следующего содержания:

«Завтра, 18 апреля, в восемь часов утра в деревне Терешкин Брод состоится праздник первой коллективной пахоты колхоза «Парижская Коммуна». Колхозники просят всех желающих прийти на наш праздник. В поле будет митинг.

Правление колхоза «Парижская Коммуна».

Крестьяне, приходившие в сельсовет и в магазин, читали объявление и много о нем говорили. А в Терешкином Броду колхозники готовились к пахоте. Еще за несколько дней до восемнадцатого колхозники поставили в клети Клемса семь пароконных плугов. Четыре плуга были совсем новыми. Их колхозники привезли из района. На стене клети, на крюках висели хомуты для каждой лошади.

А накануне восемнадцатого, под вечер, когда собрались у Клемса на дворе колхозники, пришло несколько мужчин-односельчан. Они поздоровались и сразу заговорили, обратившись к Клемсу:

— Как же, сосед, будет, а? Ты ж сам хозяин. Неужго вы будете запахивать наше?

— Будем,— ответил Клемс.

— А если не дадим?

— Как это вы не дадите? Отмерили нам, мы и пахать будем, сеять пора, нечего ждать.

— Но вы ведь запахиваете наши два укоса! Ты ж подумай, сосед, что вы делаете? Весною в прошлом году посеяли клевер, еще два года косить его, а вы что ж это?

— Так ведь и наше в полосах осталось вам. Какая ж тут обида?

— Как же какая обида? Разве на «Дьяковом» выра-

стет такой клевер, как на усадьбах? Это ж надо бога иметь в сердце...

— Бог тут ваш ни при чем,— ответил Клемс.— Пахать мы будем, как наметили, весь этот кусок под овес, и лапик посреди поля оставлять не будем.

Мужчины замолчали. Молча стоял и Клемс, а колхозники сидели на бревне у клети и тоже молча ожидали, чем закончится разговор. Приближался вечер. И вечер этот весенний тоже был молчаливый, настороженный. Мужчины собрались домой. Перед уходом тот, который привел всех остальных, сказал:

— Значит, будете запахивать? По-соседски, значит, не хотите договориться?.. Что ж, работайте, пусть так будет, может, когда-нибудь придет коза до воза...

Клемс ничего не ответил, и мужчины пошли. У ворот их встретил Панас. Поздоровался. Мужчины ответили, но ничего не сказали ему, пошли на улицу. Панас прошел с улицы прямо в хату. В руках он принес небольшой фанерный ящик и поставил его на лавку.

— Вот я, тетенька, и совсем к вам,— сказал он, заметив в темноте женскую фигуру.— Работать в колхозе вместе с вами буду.

На его слова отозвалась Галина.

— Если бы навсегда к нам, вот хорошо было бы,— сказала она.

— А я и не узнал тебя, наверное, богатая будешь!

— Да уж буду и еще какая богатая... бросила я мужика своего,— сказала она, помолчав,— и живу теперь вдовой у дядьки Клемса. А мой из-за этого самый лютый враг колхоза будет. Он никогда не пойдет в колхоз... Мы с ним, бывало, каждый вечер об этом говорили и ссорились... А еще из-за тебя он жизни не давал, вот я и решила бросить его, все равно не было бы жизни: в колхоз бы он не пошел, а я из колхоза не ушла бы. А потом и тебя видеть хочется чаще...

В хате темно, и темноте этой радуются оба: и Панас, и Галина. Галина не хочет, чтобы Панас видел в этот момент ее лицо, а ему приятно сквозь сумрак ночи, вошедший в хату, смотреть на нее и незаметно любоваться ею. Но в то же время обоим хочется откровенного разговора, для которого надо быть ближе друг к другу. Они оба понимают это, и когда Панас предложил пойти прогуляться, Галина сразу согласилась.

Во дворе у клети все еще, несмотря на темень, советовались колхозники. Уже в который раз говорили они о том, какая пара в каком плугу пойдет и кто будет за плугом. И хоть пары давно уже были составлены, они все еще мотивировали для себя необходимость, чтобы буланый Клемса шел обязательно с кобылой Ашурки, а не с каким-нибудь другим конем, и что плуг поведет за этой парой сам Клемс, а не кто-нибудь другой, и что эта пара должна идти самой первой. Говорили и о том, что впереди всех в поле, когда будут выезжать и класть первую борозду, будет идти со знаменем Галина. Знамя сама Галина пошила и сама вышила на нем лозунг, который придумали все вместе вот тут на бревнах у клети.

У каждого из этих людей, как никогда прежде, бьется сердце, взволнованное приближением нового, взволнованное тем, что завтрашний день узаконит, закрепит, проведет навеки борозду между этим новым и старым, в котором жили десятки лет.

Панас с Галиной постояли немного возле клети вместе со всеми и пошли на улицу. Шли молча, думали каждый о своем. А возле бани Ашуркиной свернули в переулок, чтобы выйти за деревню, в поле. Тогда первой заговорила Галина.

— Я всегда,— сказала она,— с первых дней почти была согласна пойти в колхоз, но молчала, потому что боялась, но зато баб своих уговаривала. Послушаю на собрании тебя, а потом им то же самое говорю. Ну и споров было, ну и побранили они меня за это. А ты думаешь Макару не они сказали о нас? Они нарочито следили, высматривали, и все ему наговаривали... А вот на собраниях я не умею говорить, может, и тогда бы не сказала, но вижу — обман сплошной подстраивают, и Палашку уговорила сказать, и сама сказала. А Палашка, если бы ты знал, как она боялась, насилу уговорила я ее. Хочет сказать, но боится, что ж она, вдова, а они вокруг, как звери, заели бы, если б могли, если бы не колхоз... А теперь я и сама удивляюсь, как это все вышло. Это, если бы прежде кто сказал у нас, что я в колхоз пойду и мужа брошу, никто бы не поверил. И я не поверила бы этому, а теперь вот бросила мужа и хоть бы что... А от родителей что досталось мне! Отец прислал мать, чтобы привела меня. Прихожу я, а он как набросится, а мама в слезы, такой шум подняли, что я даже испугалась. И проклина-

ла меня мама, и упрашивала, она представить себе не может, как это я от всего отказалась — и от мужа, и от хозяйства, и пошла на такое неизвестное, где ничего моего... Она не знает, что оно все мое здесь теперь... Разве бы я так хорошо в семье с мужчинами жила, как теперь... Все, словно братья они, а Клемс, как родной отец, еще и лучше...

С левой стороны улочки длинный сарай Ашурки. Проходя мимо, Галина вздрогнула и прислушалась. Ей показалось, что кто-то спрятался за угол сарая. Она дернула Панаса за рукав, хотела сказать ему об этом, но не успела. Из-за сарая раздался пронзительный свист, а за ним полетели липкие грязные оскорбительные слова:

— Эй ты, шлюха! В открытую гуляешь уже? Дуй, дуй, по-колхозному!

Больно ударили Галину эти слова. Она сразу замолчала, выпустила руку Панаса и пошла вперед. Сказала:

— Опять, опять они меня... Следят, куда ни пойду... А это он, мой...

— Глупые они. А ты не обращай внимания. Поболтают и перестанут, что ж они еще могут? Будут оскорблять, и не только, наверное, тебя одну, будут бранить, а разве это пристанет? Переживать из-за этого у нас и сил не хватит... Оставь.

Панас взял ее за руку.

— Оставь. Пускай помозолят языки, все равно не запретишь им браниться.

— И правда,— согласилась Галина,— стань на все обращать внимание, так хоть не живи, а мне хорошо, хоть и ругают, я счастливая. Бабы наши слезами горе свое замывают, и я так делала, а за это время я ни разу не плакала, а радовалась вон сколько раз... Мне хорошо, что про нас с тобой говорят... ты такой добрый. Они и то о тебе не так, как о других коммунистах говорят...

Помолчав, она предложила:

— Поздно уже, а завтра раненько надо вставать, в поле ведь... Идем домой.

По пути домой говорили о другом. Гадали, как будет завтра, придут ли на праздник крестьяне соседних деревень. А дома Клемс пошутил:

— А разрешение почему не брали на гулянье? А? Как же это, что и правление не знает?

— Мы недалеко ходили,— ответила с улыбкой Галина,— думали, что на близкое не надо разрешения.

— Пусть будет по-твоему. Что с вами сделаешь,— согласился Клемс и сказал: — Может, ты нам приготовила б ужин, а то где-то старуха моя пропала. Она вот,— сказал он Панасу,— мужика своего из-за колхоза бросила, а я боюсь, что от меня из-за колхоза старуха моя уйдет. Никак согласиться со мною не хочет, все ворчит еще... А я привык уже, весь век так ворчим друг на дружку...

* * *

Чуть показалось на горизонте солнце, Клемс оделся и пошел будить колхозников. Но те, как и Клемс, давно уж не спали, торопились с завтраком, чтобы не опоздать с выездом в поле. А еще через некоторое время на двор Клемса привели коней и дали им овса. Кони жевали овес, переглядываясь, ожидали, когда подведут их к плугам, поставят в упряжку. Клемс с хлопцами выносил из клети плуги, ставил их на дворе в ряд, чтобы все было наготове.

В седьмом часу начали запрягать. Запрягали каждый свою пару. У клети сошлись семьи колхозников. Женщины пришли с малыми детьми, пришли, как на праздник, нарядно одетые, пришли, чтобы за пахарями выйти в поле. Группами приходили крестьяне соседних деревень. Несколько человек приехало издалека верхом на лошадях. Но никто не пришел из односельчан.

Через час Клемс стал со своей парой и подал знак становиться за плуги. Галина вынесла из клети знамя. Дети бросились к воротам, широко распахнули их, дали дорогу Галине. Она, горделивая и красивая, смотрела на людей и шла, высоко подняв знамя. Косые лучи весеннего солнца золотили багрянец знамени. Легкий ветер качал его, распрямлял, и тогда на полотно выплывали короткие простые слова:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИЗМ!

За Галиной пошла пара Клемса, а за ней по очереди все. Клемс без фуражки, и он, как и Галина, горделивый и радостный, степенно идет за плугом. Ветер игриво шевелит серебристые густые волосы на его голове. Солнце

светит прямо в лицо. А вслед за ними пошли гости, женщины и дети.

Рядом с деревней, как раз против солнца, высится холм прошлогоднего ржища, опоясанный узкими полосками. Полосы отрезаны друг от друга твердыми высокими межами. На межах сухая прошлогодняя дикая трава.

Галина взошла на холм и ждала. Клемс остановил лошадей на дороге, завернул их напротив прошлогодней борозды, снял плуг с деревянного полозка.

— Отсюда начнем,— сказал он. —Будем в разгон пахать, а не загонами.

Еще выше подняла Галина знамя и пошла впереди по старой борозде. Ветер в поле сильнее. Ветер разворачивает флаг, разглаживает его. За Галиной погнал свою пару Клемс и, когда врезался плуг во ржище, отвернул и положил первый ломоть сырой весенней земли; он повернулся к людям и радостно сказал:

— Начинаем, значит, жизнь колхозную на земле.

Шла все выше и выше на холм Галина, на самую вершину его, прямо к солнцу. Быстро шли за ней кони Клемсовой пары, а за ней еще шесть пар, и одна за одной ровно и плотно клались темно-серые ленты сырой поднятой земли. Люди прошли за пахарями до самой вершины холма и остановились там, молча поглядывая вслед удаляющимся пахарям. Они видели, как дошла до конца полосы Галина и завернула назад, как прогнал вхолостую поперек поля свою пару Клемс и, повернув ее, повел вторую борозду вслед за Галиной. Галина, поравнявшись с людьми, подошла к ним и стала немножко в стороне.

Прошли кони с плугами, и две широкие, по семь борозд, темно-серые полосы поднятой земли легли на ржище, а между ними стала еще более выпуклой высокая межа. В стороне стоят кучкой семьи колхозников и гости. Гости стоят молчаливые, серьезные. У каждого из них свои мысли о колхозе, о том, что так вот сообща хорошо пахать. Все они думают о людях, осмелившихся сойтись в колхоз. Некоторые жалеют колхозников немного, что вот они навсегда уже отреклись от своего собственного коня, от своей земли, своей клети, своей усадьбы и пошли в новую, нигде никогда не виденную, никогда не узнанную жизнь. Жалеют и немного рады, что эти люди уже никогда не будут иметь свое собственное хозяйство и не смогут хвастать в городе или на ярмарке своей собственной повоз-

кой, своим конем. Рады были, предполагая, что эти люди некогда пожалеют о том, что сделали сегодня. А другие стоят взволнованные. Им больно и обидно. Они завидуют колхозникам, завидуют, и обидно им, что не они, а вот эти первыми пошли, и что им придется быть лишь последующими. Завидуют, что не они, а вот эти имеют возможность хвалиться, что первыми организовали колхоз, что не про них, а про этих будут говорить в городе на рынке и на ярмарках люди.

Неожиданно до холма долетели звуки колоколов.

Прислушался к колоколам Клемс и придержал на минуту коней. Не понял он, в чем дело, почему звонят.

По второму разу шли уже плуги по ржищу. Уже обтерлись лемехи о жесткую сырую землю и заблестели на солнце. Уже близко подошли к меже.

Из-за холма, где церковь, вышла большая толпа людей. Впереди шел батюшка и, макая кисть в воду, которую нес в посудине церковный сторож, брызгал водой на поле. За батюшкой мужчины несли иконы. В толпе пели какую-то молитву, нельзя было разобрать ее. Пение заглушали колокола. Когда вышла толпа на поле, они затанцевали в какой-то бешеной радости, загудели на разные голоса.

— Блям-блям-блям-бом, блям-блям-блям-блям-бом, блям-блям-блям-бом...

Гудели колокола, а плуги поднимали землю. Земля легко распрямляла грудь, раскрывала нутро свое людям, радостная от того, что пришли к ней с весенним солнцем, чтобы разорвать на ней вековые цепи меж.

Ближе и ближе подходили к меже плуги. Межа насторожилась, ощетинилась прошлогодней сухой травой.

По полю, вдоль межи колхозной и деревенской земли, идет с иконами толпа крестьян. Мужчины без головных уборов, женщины в белых праздничных платках. Идет впереди батюшка и орошает поле священной водою. За батюшкой поют, и ветер доносит к колхозникам слова:

О-о-отче на-а-аш,
Иже еси на небеси-и-и!..

Клемс остановил коня как раз на холме, улыбнулся.

— Межи наши они обходят, священной водой поливают свое поле, чтоб зараза наша не переползла туда.

Улыбнулся, дернул вожжи и повел плуг дальше.

И всем сразу понятным стало, почему ходит по полю процессия.

Отдаляется от холма в поле процессия. Ближе и ближе подбираются к меже острые сверкающие лемеха плугов, вот-вот зацепят ее и срежут, повалят. Межа выпрямилась, выгнулась на середине, подняла ощетинившуюся свою спину. Клемс завернул коней. Кони пошли по обе стороны межи. Направленный плуг подцепил снизу конец межи, оторвал его, отбросил комком вместе с запаханным, потом выскользнул из-под нее. Возле межи глубокая прошлогодняя борозда. Она мешает, и плуг то выскакивает из-под межи, то опять подползает под нее и острым носом отрывает от нее куски и отбрасывает в сторону на пахоту, то выползает и, усталый, срывает носом траву в прошлогодние борозды. Злится Клемс. Межа выгибается, не хочет сдаваться.

— Ишь ты, межа не сдается! — кричит кто-то с холма.

Но другая пара коней подмяла ногами межу. Панас сильными молодыми руками направил плуг и держит его. Плуг подрезает межу и отвалом медленно кладет ее набок. Третий пахарь плугом подбирает оставленные куски межи, подчищает новую борозду на месте, где только что была межа. А на пахоте, порванное на куски, лежало через весь холм тело бывшей межи.

— Митинг давайте теперь,— говорит Панас Клемсу,— заворачивай коней и начнем.

— Начнем,— отвечает Клемс,— я скажу немного и тебе слово дам.

Когда доехали до конца и завернули коней, молодой хлопец, идущий с третьей парой, поставил плуг и побежал к людям на вершину холма. На бегу крикнул:

— Товарищи! Да когда же такое было у нас! Ура!..

Взмахнул двумя руками, подбросил вверх фуражку. А Галина с холма замахала ему флагом. И тогда горячим комочком подкатились к горлу Панаса слова, продуманные еще за плугом, и хотят вырваться все сразу и как можно быстрее на волю.

По полю, недалеко от холма, с молитвенной мелодией и иконами проходила процессия. И лишь только собрались пахари на холм рядом с гостями, Клемс показал на процессию рукой.

— С богом уже против нас пошли,— сказал он. И начал за этим свою речь: — Они с иконами, с крестами про-

тив нас идут, а что мы? Разве на худое мы что пошли? Мы из страданий вылезти хотим, счастья хотим себе и другим, хотим, чтобы немного хоть радостней жить. Так почему же это их богу не нравится? Почему ему хочется, чтобы век весь мы свой горевали, как отцы, как деды наши?..

Говорит Клемс, держится правой рукой за рубашку на груди. Рука дрожит, дрожат и ноги, на ногах дрожат белые домотканые штаны.

— Так не надо и бога нам! — говорит Клемс.— Они священной водой орошают свое поле от нас, чтобы не пошла хотя заразой от нас жизнь колхозная и на их поле, но не открестятся, пойдет она, по всему полю пойдет, по всей земле пойдет, потому что захотел человек лучшего, которого веками не видел... Пойдет она по всей земле!.. А теперь запоем «Интернационал».

И слабым хриплым голосом один пропел первые слова гимна. А за ним вздохнули все и дружно подхватили крепкими голосами:

Это есть наш последний
И решительный бой!..

С холма неслись навстречу солнцу слова гимна, стлались над тоскливыми полевыми просторами, призывали. Далеко в поле шел человек. Он услышал песню, остановился, прислушался и через поле, по прошлогодней осенней пахоте, побежал навстречу песне.

Еще никогда, никогда в жизни Панас не знал такой радости. Он не понимал, то ли говорил, то ли думал такое, только казалось, что все вокруг вторит его взбудораженным мыслям.

«Я радуюсь,— говорило все существо Панаса,— что осуществляются мечты самых великих людей земли. Человек и древние века пришел к земле, чтобы кормиться ею. Земля тогда давала человеку самую малость. Человек боролся с природой, боролся за то, чтобы поесть и вырастить детей. В этой борьбе очень часто побеждала человека природа, но упрямый, боясь голодной смерти, человек собирался с силами, и природа покорялась ему. Человек научился брать богатства земли, научился делать машины, овладел морями, реками, воздухом. Да только никак не мог человек сделать такое, чтобы не было на земле между людьми неравенства. Есть люди голодные и сытые,

есть такие, что ничего не делают, и такие, которые гибнут в вечном труде из-за куска хлеба.

Поэтому еще задолго до наших дней лучшие из людей начертали на своем знамени одно великое слово. Слово это — коммунизм. И во имя его эти люди пошли бороться против тех, кто, не работая, жил, кто жил результатами труда других. Сотни, тысячи шли за ними, а царь и его слуги именем бога хватали их, заковывали в цепи и бросали за решетки тюрем, ссылали на каторгу в далекие таежные места, вешали, расстреливали, отнимали у этих людей самое дорогое, что было у них, жизнь. Но жизнь их не прекращалась, она пылала все ярче, и на их место пришли миллионы людей, прежде угнетенных, обиженных, и ценою жизни лучших из лучших отвоевали право на строительство коммунизма.

Мы хотим, чтобы на земле была жизнь радостная, светлая, умная. А они и вот этот поп, ведущий за собой толпу несознательных людей, хотят для человека бесконечных страданий.

Мы запахали только одну межу. Но у кого не билось сильнее чем обычно в этот раз сердце? Вековую межу мы запахали, межу, что не давала вам назвать друг дружку братом, что вызывала ссоры и драки и делала нас врагами.

Веками был скован человек цепями неволи. И века межами, как цепями, была скована земля. Человек освободил себя, а теперь рвет цепи на земле, чтоб богаче были ее сокровища, которыми живет человек».

Люди стояли беспокойные, смотрели то в землю, то куда-то в сторону, в поле. Женщины вытирали уголками платков глаза. Ветер разглаживал над людьми флаг.

Молодой парень, шедший с третьей парой за плугом, не двигаясь, долго смотрел на флаг, составлял буквы в слова, мелькающие под ветром и крикнул, подняв вверх руки.

— Да здравствует коммунизм!

Опять пошли цепочкой пары коней. Темно-серая полоса свежей пашни ширилась, занимала все больший и больший простор холма, приближалась туда, где за лугом стоит молодой зеленый ольшаник.

С поля расходились люди и на прощанье говорили друг другу радостные слова. Через поле в деревню возвращалась молчаливая процессия с иконами, предостерегала.

* * *

Когда Клемс, напоив коней, возвращался в хату, на двери сеней заметил приклеенную хлебом бумажку. Он осторожно оторвал ее и принес в хату. На бумажке было написано: «В восемнадцатом году тем, кто взыскивал разверстку, мы в живот сыпали гречку и ячмень, а тебе, если не уберешься немедленно отсюда, насыплем сырой земли».

Панас прочитал написанное, и хоть там не говорилось, к кому обращаются авторы угрозы, он, как и все, бывшие в хате, сразу понял, что речь идет о нем. И сразу испуганная Галина предупредила:

— Не надо тебе никуда вечером ходить, остерегаться надо.

— Осторожнее надо,— добавил Клемс,— кто их тут разберет.

Панас улыбнулся, спрятал бумажку в карман и ответил:

— Хорошо, что предупредили письменно. Буду теперь осторожнее.

Пошли запрягать коней.

А в это время в соседней деревне, в трех километрах от Терешкиного Брода, крестьяне сами созывали собрание. На собрание приглашали только некоторых, заранее намеченных.

Панас и еще два молодых хлопца выехали допахивать кусок ржища. Было еще совсем рано.

Недалеко от места, где начинали пахать, густой молодой ольшаник. Ветви молодой ольхи обсыпаны зелеными почками. Они блестят росою. В каплях росы искрится солнце. Почки под солнцем полнеют, наливаются липким соком. На пашню садятся и ходят важные грачи. Над полем поднимаются и падают на землю, рассыпаясь песнями, жаворонки.

Панас прогнал одну борозду и сбросил пиджак, положил его на пашню. Было душно.

В соседней деревне, в самой первой хате по улице, сошлось тридцать два человека. Тот, кто созывал собрание, вынул осторожно из-за пазухи лист чистой бумаги и положил ее на стол.

— Давайте начинать,— сказал он.

— А кто ж нам напишет?— спросил второй.

— Сами, я думаю, напишем. Что ж тут не написать? Напишем...

. . . .

В Терешкином Броду по дворам торопливо бегали женщины. Забегая во двор, они стучали в окно соседа, звали хозяйку и шли дальше. Скоро возле церкви собралась толпа женщин. Некоторые из них держали в руках палки, другие пришли с лопатами, третьи так, с пустыми руками.

Явился сторож и открыл дверь церкви. За ним пришел высокий, тощий мужчина в старой черной рясе. Человек этот вошел в церковь, прошел к аналою и там остановился. Сторож принес ему с алтаря икону распятого Христа. В церковь заходили женщины и крестились. Человек в рясе поднял над головой икону, благословил ею женщин и начал говорить. Женщины стояли молча и слушали проповедь незнакомого человека...

. . . .

Сытые лошади идут быстро, и пашня все ближе и ближе подстилается к ольшанику.

— За час допашем,— говорит Панас.

— Захотим, так и раньше еще,— отвечает второй пахарь.

— Раньше нет, коням отдохнуть надо.

Легкий ветер прилетает с поля, приносит приятную прохладу, и от этого легко идти вдоль загона, подставлять ветру вспотевшее лицо...

. . . .

— Начинаем писать,— говорит крестьянин,— надо ж управиться к вечеру сходить в Терешкин Брод и условиться.

— Начинаем.

Люди разных возрастов, разные сами, столпились у стола, смотрят на чистый лист белой бумаги. Тот, который вынул бумагу из-за пазухи, сел за стол, взял в руки карандаш.

— Как это начинать вот только? Мне бы только начать, а там уже напишу.

— А что начинать? Куда пишешь? В колхоз. Вот и начинай с этого, что пишешь в колхоз «Парижскую Коммуну» такому-то...

— Правильно, так и буду писать. В колхоз «Парижскую Коммуну» от бедноты и середняков деревни Цингели в числе тридцати двух человек...

Крестьянин склонил набок низко над столом голову и большой морщинистой рукой водит по бумаге карандаш. Из-под карандаша выходят неровные буквы, и неровно кладутся на белый лист друг за другом слова...

. . . .

Из церкви вышел и направился в поле, впереди толпы женщин, высокий худой человек в рясе. В руках он несет, держа перед собою, икону распятого Христа. Христос на кресте склонил мертвую голову. С его рук и ног, прибитых к кресту гвоздями, капает кровь. Вокруг головы Христа круг желтой позолоченной бумаги. Стекло иконы и вся она, сделанная из жести и меди, и позолоченный круг сверкают на солнце. Человек в рясе машет иконой и поет. А за ним через поле туда, где ольшаник, идут женщины, пьяные от слов этого человека, от песен его молитвенных и запахов весенней земли...

. . . .

Кладутся друг за дружкой слова на чистой бумаге, и лист этот перестает быть только бумагой, он становится частью всех этих людей, плотно сошедшихся вокруг стола. Устами этих людей говорит бумага:

«...Мы почти все были на фронтах, воевали в старой армии, воевали с белыми, походили по белому свету, насмотрелись всякой жизни, свое видели, чужое, всего натерпелись от панов разных и офицеров, да только нигде мы не видели жизни такой, о которой говорили нам на фронте, за которую мы боролись против белых. Слова те в груди нашей, и будут они жить пока не высохнет грудь наша, потому что кровью восприняты эти слова. Мы не должны так оставить то, за что шли на фронтах...»

. . . .

Панас увидел толпу и впереди человека с иконою, оглянулся на товарищей.

— Опять к нам с иконою идут,— сказал он.

Товарищ сразу остановил коня, глянул на толпу.

— Чтобы худого ничего не было,— испуганно сказал он.— У тебя ничего нету на случай, если драться начнут?

— Ничего. А ты думаешь, они драться начнут?

— А чего ж они?

— Пугают. Зацепить — не зацепят.

Опять погнали коней.

Махая перед собой иконой, идет впереди женщин человек в черной старой рясе. За ним в рестрепанных под ветром одеждах идут женщины. Панас правит плугом и посматривает на женщин, хочет угадать, зачем идут они...

. . . .

«... Мы много думали, беседовали между собой и теперь убедились, что только этим путем мы придем к лучшей жизни, к счастью своему. Мы, тридцать два бедняка и середняка, собрали всех наших коней, коров, инвентарь и семена, и другое свое имущество...»

. . . .

У женщин, видит Панас, лица возбужденные, озверелые. В руках они несут палки, лопаты. Уже совсем они близко. Человек в рясе махнул иконою накрест и закричал:

— Пусть исчезнут с лица земли твоей нечестивцы!..

Грубый крикливый голос его нарушил покой поля. За ним разными голосами закричали женщины.

Взметнулись с пашни, закружились над полем испуганные грачи. К Панасу подошли оба хлопца. Один — бледный, испугался, дергает Панаса за рукав рубашки.

— Убежим, они бить будут.

— Может, и правда,— говорит второй,— чтоб не случилось чего?

А Панас не понимает, что страшного может быть в том, что вот идут толпой женщины и какой-то странный монах с иконою. Он улыбается и успокаивает товарищей:

— Оставьте вы, глупость какая, покричат, и все.

Толпа расходится полукругом. По свежей пашне идет монах, высоко поднял икону и поет. За ним поет вся толпа. У женщин глаза страшные, сверкают дикими огоньками. Панас видит это и уже не может сдвинуться с места. Перед самым лицом его взмахнул иконой монах и остановился. Оба товарища отошли от Панаса к своим

коням. Подошли женщины. Близки их морщинистые вспотевшие и злые лица. Они что-то кричат, а может, поют вслед за монахом, Панас уже не может разобрать. Перед его лицом подняла старая женщина ржавое железо лопаты. А он выставил вперед руки, закрывает растопыренными пальцами лицо...

. . . .

Медленно ходит по бумаге карандаш, выводит неровные буквы, и каждое слово, составленное из этих букв,— человек.

«...И со всем этим добром мы решили пойти в колхоз и просим правление принять нас всех, тридцать двух бедняков и середняков деревни Цингели, в колхоз «Парижскую коммуну», чтоб могли мы вместе с вами добывать себе лучшую долю, чтоб могли избавиться от горя и страданий, с которыми жили весь свой век, аж до этой поры».

— А теперь подпишем все,— говорит тот, кто водил карандашом,— и занесем, а завтра выедем и мы в поле.

Он медленно, ровно, но так, чтобы отличалась подпись от всех ранее написанных в заявлении слов, вывел буквы своей фамилии и за твердым знаком, написанным в фамилии, загнул вниз под слово крючок. Потом передал заявление и карандаш другим, чтоб подписали...

. . . .

Ржавое железо лопаты наплыло, заслонило собою солнце, выросло в большое и тяжелое, опустилось на голову и прижало Панаса к земле. И тогда вокруг него в каком-то диком хороводе закружились, запрыгали с искривленными злыми лицами женщины. И среди них, смешно поднимая высоко вверх ноги, держа над головой икону Христа, который за стеклом окрашенных рам копировал монаха, прыгал сам монах. Потом все пропало.

Откуда-то с поля прилетел ветер. Он задержался, закружился над лицом Панаса, отвернул со лба у него небольшой локон волос, заслонявший ему глаза.

С поля от оставленных коней бежали в разные стороны два человека без фуражек. За одним из них, бежавшим в деревню, гнался, высоко поднимая ноги, человек в рясе и махал иконой, а за ним почти бегом с криками шли женщины.

Панас лежал поперек загона плечами на мягкой свежей пашне. Он далеко закинул голову, вытянулся во весь загон и, раскинув руки, закрыл собою землю.

* * *

Над землею медленно поднималось и плыло вверх, в безграничный голубой простор, горячее весеннее солнце.

Под солнцем в бороздах на пашне стояли запряженные в плуги кони, ждали пахарей.

Бигосово — Минск, 1930 год

Две повести Платона Головача

Впервые русский читатель получил возможность познакомиться с творчеством Платона Головача еще в 1933 г., когда в Гослитиздате вышла отдельным изданием его повесть «Переполох на загонах», а в 1935 г.— роман «Сквозь годы». Уровень перевода этих произведений был, к сожалению, невысоким. Вторая встреча произошла лишь спустя четверть века. В 1958 г. в издательстве «Советский писатель» вышли «Повести», куда кроме «Переполоха на загонах» входили также «Носители ненависти» и «Они не пройдут». В 1960 г. в Гослитиздате издан роман «Сквозь годы».

Настоящее издание предлагает вниманию читателя повесть «Переполох на загонах» в новом переводе, а повесть «Виноватый» переведена на русский язык впервые.

Интерес к творчеству П. Головача не случаен. Головач — заметная фигура в белорусской советской литературе, общественно-культурной жизни и литературном движении 20—30-х гг. Его личная биография неотделима от биографии поколения, судьбы которого предопределила Октябрьская революция.

Родился Платон Головач на Бобруйщине в 1903 г., в бедной крестьянской семье. Оставшись сиротой, он рано познал трагическую неустроенность мира, разделенного на бедных и богатых. Жизнь уготовила ему трудное, скупое на радости детство. Учиться по-настоящему у крестьянского сына не было возможности и, как свидетельствут сам писатель, все его общеобразовательные университеты закончились церковно-приходской школой. Вот почему так восторженно приветствовал деревенский юноша события и перемены в жизни, рожденные Октябрем. Несмотря на молодость он активно включается в общественную работу на селе, в 1920 г. вступает в комсомол, организует комсомольскую ячейку. Окончив партийную школу первого созыва в Минске, П. Головач работает инструктором Борисовского комитета комсомола, ведет большую агитационную, пропагандистскую работу, а затем на протяжении 1923—1926 гг. учится в Минской центральной партийно-советской школе (Комвуз). В 1924 г. П. Головач вступает в коммунистическую партию, а вскоре становится руководителем белорусской комсомольской организации: в 1928 г. на IX съезде комсомола его избирают первым секретарем ЦК ЛКСМБ, а также редактором белорусской молодежной газеты «Чырвоная змена». Непродолжительное время П. Головач работает заместителем наркома просвещения, а затем целиком переключается на литературно-творческую и организационную работу: был ответственным секретарем правления БелАПП, редактировал старейший белорусский журнал «Полымя», журнал «Маладняк», избирался членом ЦИК БССР, входил в состав Оргкомитета ССП Белоруссии.

Литературную деятельность П. Головач всегда рассматривал как форму активного вторжения в жизнь, как средство утверждения новых идеалов. Социально-общественная действенность художественного произведения имела для него первостепенное значение. Как и многие его сверстники, что пришли в белорусскую литературу из народных низов, П. Головач начинал с корреспонденций и небольших заметок в газету, пытаясь осмыслить события, которые в те годы происходили в белорусской деревне, в жизни города. Газета как раз и явилась той школой, где молодой прозаик делал свои первые шаги в литературе, познавал тайны писательского ремесла.

Первые литературные опыты П. Головача относятся к 1920 г., а первый крупный рассказ — «Загубленная жизнь» — опубликован в 1925 г. в газете «Советская Белоруссия». С этого времени рассказы молодого писателя все чаще появляются на страницах белорусских газет и журналов, а вскоре выходят и отдельными сборниками — «Мелочи жизни» (1927), «Хочется жить» (1930). Правда, особенно заметных успехов в жанре рассказа у прозаика на первых порах не было. Скорее имели место разведка, поиски новых тем, нового героя. Постепенно П. Головачу удается найти свою тему, наиболее соответствующую его жизненному и нравственному опыту. Ею становится тема земли, тема старого мира, уходящего в прошлое, и рождение мира нового, жизнь белорусской деревни, быт, психология крестьянина. Успешное художественное решение этих тем предусматривало не только глубокое творческое усвоение опыта прошлого, национальных традиций в изображении крестьянской жизни, но и поиски нового, рожденного революцией. Это новое и нашло воплощение в повестях «Виноватый» (1930) и «Переполох на загонах» (1930), а также «Доллары» (1931). Затем писатель переходит к более сложным, синтетическим формам прозы.

Логическим завершением поисков писателя в области эпического жанра явился роман «Сквозь годы» (1933—1934) — широкое художественное полотно об исторических судьбах крестьянства и интеллигенции, о народе как главной силе исторического прогресса. Роман охватывает события от кануна империалистической войны до начала 30-х годов.

Роман «Сквозь годы» и повесть «Переполох на загонах» принесли П. Головачу широкую известность среди читательских масс и признание критики. О популярности этих произведений свидетельствуют их неоднократные переиздания. Этот успех не случаен. Повесть «Переполох на загонах» создана по горячим следам событий начала 30-х годов. «Весна 1930 г. была для меня как писателя,— говорил позднее П. Головач,— чрезвычайно большой практической школой в деле изучения, познания крестьянства... В процессе практической работы я собирал материалы, обдумывал их и предполагал написать повесть». Вначале появился эскиз «Неудержимое», жизненная достоверность которого была проверена на многочисленных собраниях. «Крестьяне внимательно слушали и говорили, что написано правильно, как раз так, как было оно и в их деревне». Поддержка массовой аудитории явилась хорошим стимулом в работе, и вскоре П. Головач написал повесть. Организация колхоза в Терешковом Броду, столкновение противоборствующих социальных сил, борьба за влияние на середняка, первые успехи, первые неудачи — вот сюжетный костяк повести «Переполох

на загонах». Находясь в гуще событий, писатель видел, с какими трудностями идет в деревне процесс становления нового, как мучительно переживает трудовое крестьянство ломку веками сложившегося социально-бытового и хозяйственного уклада, старых привычек, взглядов, представлений. «Я был твердо убежден, что произведение будет наиболее действенным тогда, когда мне удастся с максимальной правдивостью показать сам процесс коллективизации деревни со всеми трудностями, со всей сложностью классовой борьбы, в условиях которого этот процесс происходил»,— писал П. Головач.

Наиболее удались автору образ рабочего-коммуниста Панаса, молодой крестьянки Галины, крестьянина-середняка Клемса. Выразительно нарисованы также многие массовые сцены, крестьянские сходки, хорошо раскрыты бытовые взаимоотношения в деревне.

Повесть «Виноватый» привлекает гуманистическим пафосом защиты человека, как величайшей ценности на земле. Доверие к человеку, уважение к человеческой личности, как определяющий принцип взаимоотношений в социалистическом обществе — вот главная мысль произведения.

Сегодняшнему читателю, воспитанному на лучших образцах советской литературы, не трудно увидеть и недостатки повестей П. Головача, обусловленные молодостью тогдашней литературы, трудностями художественного освоения новых пластов действительности. Говоря об этих недостатках, мы имеем в виду и определенный схематизм в обрисовке героев, в раскрытии их характера и встречающуюся кое-где подмену художественного изображения авторским пересказом. И с точки зрения внутренней структуры, сюжетно-композиционного построения повести имеют некоторые изъяны — эскизность, фрагментарность, не совсем целесообразное распределение материала.

П. Головач видел недостатки своих произведений. Он прилагал немало усилий, чтобы оперативность не вступала в противоречие с художественной ценностью. В результате повесть «Переполох на загонах» подверглась существенному пересмотру для второго издания. По свидетельству писателя, он как раз и стремился в процессе работы над новой редакцией избавиться от схематизма, оголенной публицистичности, упрощенной трактовки темы. Обогатилась и палитра красок, убедительнее и многограннее стали характеры героев, более полной их внутренняя жизнь, острее конфликт. Строже стал писатель и в отборе языковых средств.

Говоря о повестях П. Головача, следует еще раз подчеркнуть, что это были первые попытки художественно осмыслить эпоху величайших социальных преобразований. П. Головач и другие белорусские писатели 20—30-х годов — Я. Колас, К. Чорный, С. Барановых, М. Зарецкий, Б. Микулич, Л. Калюга, В. Сташевский, Т. Гартный, З. Бядуля, К. Крапива, М. Лыньков, Я. Скрыган, Р. Мурашка, Э. Самуйленок, Н. Никанович — выступили здесь как первооткрыватели. В соответствии со своими творческими возможностями и индивидуальными склонностями они закладывали основы белорусской советской прозы, осваивали принципы народности, подлинной социальности, принципы литературы социалистического реализма. Недостатки, имевшие место в их произведениях, во многом компенсировались пафосом новизны, глубокой искренностью, непосредственностью в изображении реальных конфликтов и

человеческих судеб, жизненной достоверностью картин, невыдуманностью героев. Высокая гражданственность, активность писательской позиции, ощущение личной сопричастности и ответственности художника за судьбы народа и революции — вот что предопределило художественную долговечность лучших произведений, созданных белорусскими писателями в это время. Надлежащее место среди них занимают и повести П. Головача.

Перу П. Головача принадлежит немало рассказов, очерков, критических и публицистических статей, а также повести «Носители ненависти» (1936) и «Они не пройдут» (1937), посвященные событиям гражданской войны, героической борьбе белорусского народа и польских солдат-интернационалистов с оккупантами.

Известен П. Головач и как переводчик.

К сожалению, не всем творческим планам писателя было суждено осуществиться. Рукописи ряда произведений, над которыми прозаик работал,— остросатирический роман «Он», роман «Большой Днепр»,— в 30-е годы исчезли, и судьба их неизвестна. Жизнь П. Головача оборвалась рано. Многое он не успел написать, талант его полностью не раскрылся. Однако лучшие произведения писателя не утратили своего художественного значения по сей день.

М. Мушинский

СОДЕРЖАНИЕ

Платон Романович Головач

Виноватый. Переполох на загонах.

Издательство «Мастацкая літаратура» Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Советская, 19.

Редактор В. Е. Бурносов. Художник А. Т. Сальков. Художественный редактор Л. Я. Прагин. Технический редактор С. А. Абрамчук. Корректор А. Т. Глущенко.

Сдано в набор 14/III 1973 г. Подп. к печати 30/VIII 1973 г. Тираж 100 000 экз. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 3. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 13,65. Зак. 140. Цена 50 коп.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23.

Головач П.

Виноватый. Переполох на загонах. Мн., «Маст. літ.», 1973.

240 с. (Библиотека белорусской повести).

Включенные в книгу две повести — наиболее значительные произведения писателя. В них нашли отражение сложная обстановка в Белоруссии после социалистической революции, особенности жизни и борьбы белорусского народа в период становления советской действительности.

Г $\frac{0733\text{-}170}{М\ 302(05)\text{-}73}$ 40-73

Бел 2
Г 15

50 к.

МИНСК
„МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА“
1973